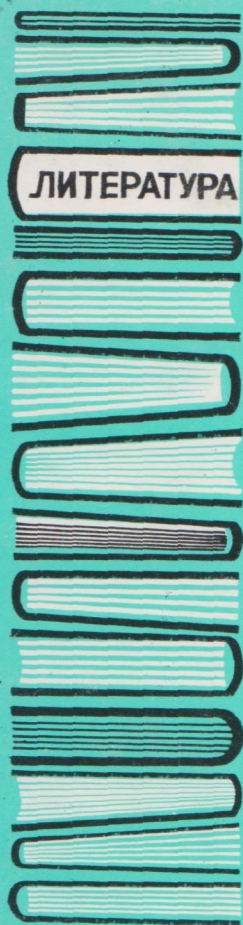


МАКС БРОД РЕУБЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ



МАКС
БРОД

РЕУБЕНИ,
КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ

7

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

МАКС БРОД

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

*РЕУБЕНИ,
КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ*

П Е Р Е В О Д
Б. ЖУХОВЕЦКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ

И. НУСИНОВА

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

МАКС БРОД

*РЕУБЕНИ,
КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ*

П Е Р Е В О Д
Б. ЖУХОВЕЦКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ
И. НУСИНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1927 ☆ ЛЕНИНГРАД

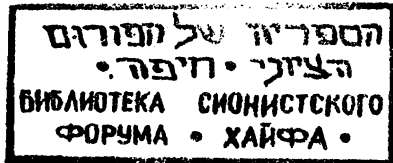
מכס ברוד

ראובני

שר היהודים

עיריית חיפה
בסרכת תרבות הפנאי
מדכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

382



2739

ציור העטיפה: שרה ברקאי

©

כל הזכויות שמורות

לספריה עליה — ת"ד 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

נדפס בישראל

דפוס מל"ן

1974

ПРЕДИСЛОВИЕ

I

Начало XX века. Расцвет модернизма с его индивидуалистическим пессимизмом. Популярнейшие писатели Европы в то время: Петр Альтенберг, Шницлер, Пшибышевский. В центре их творческого внимания стоят: смерть, одиночество и любовь как единственная иллюзия, дающая забвение ужаса смерти и одиночества.

В этой насыщенной эгоцентризмом литературной атмосфере начинает работать Макс Брод. Пражский еврей, воспитанный, как большинство чешской интеллигенции довоенной Австро-Венгрии, на немецкой культуре, М. Брод в начале своей литературной деятельности чужд как национальных еврейских или чешских интересов, так и социальных конфликтов Чехии.

Индивидуалистическая интеллигенция с ее эгоцентрическими проблемами, с ее безразличием «избранников духа» к земной суете—вот то единственное, что М. Брод видит вокруг себя и что его творчески интересует.

Он начинает серией новелл и романов, объединенных под общим заголовком: «Новеллы и романы равно-

душных». «Равнодушные» к суетам толпы, творческие личности волнуются «последними вопросами бытия», самонаблюдают и самоанализируют свое пребывание в «духовном мире избранных». М. Брод вживается в этот мир и раскрывает его.

Не столь тонкий, сколь тщательный наблюдатель, скрупулезно отмечающий нюансы переживаний ушедшей в себя личности, М. Брод своим творчеством чрезвычайно отвечал индивидуалистическому настроению немецкого читателя и критики десятих годов. Он скоро обратил на себя внимание. Его стали переиздавать и даже переводить на другие языки.

II

Война, заставившая европейскую интеллигенцию выйти на время из своих эгоцентрических скорлуп и задуматься над большими социальными проблемами, выдвинутыми ею, положила конец индивидуализму М. Брода. Он сам выбит из своего «равнодушия». Он становится общественником, руководителем еврейского буржуазно-демократического национального движения Чехии. Он свое творческое внимание от «равнодушных» переносит на созидателей, на бунтарей.

Но ни в современной Чехии, ни, в частности, в современном чешском еврействе, судьбы которого его сейчас волнуют, он этих созидателей не видит. Он видит их в прошлом, он мечтает об их грядущем приходе. Он пишет утопический роман «Великое дерзновение» («Das grosse Wagnis»). Это—мечта о царстве великих. Его взор обращен в прошлое, там он ищет те одинокие умы, которые, презрев суету жизни, стремились постичь великие тайны мироздания. Его внимание привлекает эпоха Ренессанса—эта творческая

страница юной буржуазии, разорвавшей оковы католицизма, низвергшей хозяйку—богословие и поставившей на ее место вековую слугу—науку.

М. Брод пишет свой роман «Путь Тихо-Браге к богу» (1916).

В этом романе, переведенном на ряд европейских языков, путь великого астронома показан как раскрытие пантеистического единства мироздания, законов мироздания и самого Тихо-Браге, стремящегося познать и раскрыть эти законы. Тихо-Браге опять-таки великий равнодушный, которому безразличны небольшие горести и радости средних людей, его окружающих. Он весь во власти своей великой идеи.

III

«Тихо-Браге» олицетворяет равнодушие к суете жизни во имя великих идей науки и философии. Давид Реубени—герой предлагаемого романа олицетворяет презрение к страданиям родного народа во имя идеи его физического и морального освобождения.

Чехия, столетиями поработенная Габсбургами, Чехия, которая упорно боролась против австрийской германизации, Чехия, с ее традициями национальной грезни, способна была в значительной мере породить у радикальной буржуазно-демократической интеллигенции представление, что история человечества—это история борьбы наций, а не классов.

Среди буржуазной интеллигенции всех народностей, живущих в Чехии, могло особенно укрепиться убеждение, что причина войны 1914—1918 г. г. лежит в борьбе наций и что поэтому разрешение национальной проблемы является основной задачей, вставшей перед человечеством в результате войны. И если у чешской бур-

жуазной интеллигенции распад Габсбургской монархии и создание Чехо-Словацкой республики создает иллюзию, что эта проблема разрешена, то перед еврейской буржуазной интеллигенцией она именно сейчас требует своего разрешения.

До войны еврейская интеллигенция Праги, воспитанная большей частью на немецкой культуре, была поставщицей интеллектуальных товаров для венского рынка. Сейчас она этого рынка лишилась, а к чешскому рынку она не особенно приспособлена,— всю жизнь она пользовалась немецким языком, а, главное, чешская интеллигенция отнюдь не склонна делить с нею этот рынок.

Былой немецкий космополитизм ассимилированной еврейской буржуазной интеллигенции уступает место еврейскому национализму.

Некогда «равнодушный», М. Брод становится его теоретическим идеологом, политическим руководителем и художественным оформителем.

Он пишет двухтомный труд: «Язычество, христианство и иудаизм» («Heidentum, Christentum und Judentum») — апологетику еврейской избранности. Он становится одним из основателей еврейского национального совета — органа еврейской автономии.

Он в романе «Давид Реубени» раскрывает и стремится преодолеть накипь угодливости, приспособления к господствующим, рабского примирения с унижением и горем, всю ту рабью психику, которая создавалась веками в еврейском средневековом гетто и которая в обновленном, модернизированном виде культивируется еврейской буржуазией, еврейской буржуазной интеллигенцией, приспособившейся к требованиям господствующей государственной буржуазии.

Благо, М. Брод — сын Праги, этого города с богатым еврейским прошлым. В еврейских анналах этого го-

рода, где хранятся памятники средневекового еврейского гетто, слишком много прообразов и для покорных и приспособляющихся, и для бунтующих против покорности и приспособления.

С другой стороны, в прошлом и настоящем среды М. Брода, раньше приспособлявшейся к немецкому господству и теперь бунтующей и приспособляющейся к господству чешской буржуазии, слишком много родственного с покорными и бунтарями Старой Праги.

И, как всегда в историческом романе, живая действительность диктует оформление и претворение исторической были.

IV

О «Давиде Реубени» еврейские историки говорят как об авантюристе. Известно о нем следующее.

Давид Реубени—выходец из Аравии—явился в феврале 1524 г. в Италию. Рядом смелых шагов ему удалось убедить итальянских евреев, папские круги и, наконец, самого папу Климента VII, что он—еврейский принц, прибывший в Европу будто бы с миссией от своего брата еврейского царя Иосифа, чье царство находится в землях Хайбара (Аравия), на берегах легендарной реки Самбатлон. Царь Иосиф, под знаменем которого находятся 300.000 отборных воинов, желает вступить в союз с христианскими царями для совместного изгнания турок.

Папа направил Реубени к португальскому королю Иоанну II, который тоже заинтересовался предложением Реубени и даже на время прекратил преследования обращенных огнем инквизиции в христианство евреев, так называемых моранов. Мораны Португалии и Испании, да и евреи других стран увидели в Реубени освободителя. Вокруг него началось мессианское движение.

Мораны подняли бунт против инквизиции и насильно освободили из тюрем инквизиции своих заключенных единоверцев.

Король Иоанн II выслал тогда из Португалии Реубени, и это было началом его падения. После нескольких лет странствования по Европе он в 1532 г. явился вместе со своим восторженным последователем, португальским мораном, перешедшим обратно в еврейство, религиозным энтузиастом Соломонов Мохло в Ревенсбург на имперский сейм с целью предложить императору Карлу V союз. Там Давид Реубени и Соломон Молхо были арестованы и отправлены в Мантую, где они были духовным судом осуждены. Соломон Молхо был сожжен, а Давид Реубени отправлен в Испанию и брошен в темницу инквизиции, где он через три года умер. (Д-р Генрих Грец. «История евреев». Перевод с 3-го немецкого издания, том X, стр. 189—213, Одесса 1908 г.).

V

Этот исторический факт М. Брод положил в основу своего романа.

Ряд еврейских историков считает Давида Реубени авантюристом. Г. Грец в свое время считал не установленным, чем был Реубени: «шарлатан или безумно-смелый фантаст, и хотел ли он сыграть роль Мессии, политика или авантюриста».

М. Брод объявляет его великим религиозным реформатором иудаизма, чья реформа не удалась главным образом из-за духовного рабства самого еврейства.

По М. Броду, Давид Реубени родился и вырос в пражском гетто, в семье богобоязненного руководителя еврейской общины. Аскетизм, униженность, вечный плач, трусость еврейского гетто, столь контрастирую-

щие с весельем, самоуверенностью, пышностью жизни христиан, живущих за пределами гетто, заставляют юношу Давида задуматься над тем, верны ли пути, по которым еврейство идет.

Приобщившись при посредстве тайного еврейского гуманиста к премудростям Ренессанса, он задумывается над вопросом о том, как это случилось, что народы, которым чужда вера в Иегову—свободны, между тем как Израиль претерпевает такие горести и унижения,

Полный этими мыслями, он однажды наталкивается в священной книге на предписание, гласящее, что «богу должно служить всем существом: как хорошими, так и дурными побуждениями». В этой сентенции он находит разрешение всем своим сомнениям. Израиль служил всегда творцу лишь добром, между тем как должно ему служить и злом: греховными радостями тела, мечом, мирскими знаниями. Надо покончить с аскетизмом, с самоунижением и непротивлением злу. Грех и меч возвеличат Израиля.

Вся дальнейшая жизнь и деятельность Давида Реубени—утверждение этой его новой догмы. Всем средневековым чаяниям чудесного прихода Мессии он противопоставляет мысль об освобождении Израиля при помощи греха: меча, политических интриг, лжи.

С этой мыслью он оставляет отцов дом, Прагу, Европу. Он отправляется в Аравию, в Палестину, откуда через несколько лет возвращается под видом еврейского принца с своей выдуманной миссией. Эта мнимая миссия должна помочь ему вооружить еврейских юношей Европы, превратить их из аскетов гетто в воинов. Союз с королями и папой, созданный в результате этой миссии, заставит сильных мира отказаться от унижения евреев и научит самих евреев не давать себя унижать. Грех лжи, грех насилия приведет к великому

освобождению. Реубени не думает выступать в роли ходатая за евреев. Моранам Португалии угрожает введение инквизиции. Он отказывается просить у папы или у португальского короля пощады для них. Он равнодушен к их страданиям. Он доведет свою миссию до конца, и тогда все бедствия Израиля прекратятся не в результате усилий слезливых ходатаев, а в результате силы, которую Израиль будет собой представлять.

Историки и писатели в скорбных еврейских анналах XVI в. обычно останавливали свое внимание на двух других современниках Давида Реубени: на Соломоне Молхо и на Иосифе Каро. Первый представляет собой красочную фигуру религиозного энтузиаста, чающего близкий приход Мессии. Сын португальского морана, занявший под именем Диго Ниреса высокий государственный пост при португальском дворе, он, под влиянием мессианских идей своего времени, вернулся в иудейство, уверовав в то, что Давид Реубени предтеча Мессии, и принял мученический венец: погиб на костре инквизиции за прославление величия Иеговы.

Другой современник Давида Реубени, Иосиф Каро, посвятил ряд десятилетий тому, что создал «Шилхон-арах»—свод религиозных установлений многих веков деятельности еврейских религиозных законодателей, раввинов, комментаторов священных книг.

Историки и писатели не уставали славить первого за утверждение религиозной жертвенности, второго—за то, что в век грозной гибели народа он создал книгу, служившую народу в течение последующих веков щитом для сохранения своей религиозной чистоты.

Макс Бруд поставил в тень Соломона Молхо как продолжателя идей мессианизма и пассивности народа, идеи освобождения в результате божьей милости.

Он отвернулся от образа Иосифа Каро, труд кото-

рого стал тисками еврейского духа в течение ряда поколений. Он вознес Давида Реубени, сделав его протестантом против самоунижения, трусости, против рабского приспособления родного народа.

Бунтарский ревизионизм Давида Реубени привел к уничтожению традиционной апологетики мученика — Израиля. Перед нами разворачивается картина не великого народа, а несчастного.

М. Брод дает Давида Реубени на фоне широкой картины еврейской и не-еврейской жизни эпохи расцвета Ренессанса.

Микель Анджело, Маккиавелли—единственные люди, в разговорах с которыми Реубени перестает играть роль, встают в новом свете, освещенные доктриной Реубени о служении грехом, злом.

Идеолог хитрости и лжи, Маккиавелли на минуту выступает как великий искатель правды, путь к которой для него лежит через ложь.

Творческий критицизм в освещении драматической страницы еврейской истории, вплетенной в яркие страницы мировой истории, новизна в раскрытии некоторых больших фигур Ренессанса делают роман М. Брода ярким и волнующим. Тем более, что за ним слышны отзвуки той национальной борьбы, которая происходит в современной Европе.

Там деятелям буржуазных националистических партий, в частности сионистической партии, к которой М. Брод принадлежит, приходится из двух греховных методов борьбы, которые Реубени провозглашал: меча и лжи, пользоваться последним: лживым приспособлением и лицемерным политиканством. Меч—в руках того буржуазного хозяина, к которому эти партии, в особенности партия сионистов, приспособляются.

И. Нусинов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Светает.

Дымчатые утренние сумерки зимнего дня.

Ласковыми словами мать уговаривает маленького Давида проснуться. Еще совершенно темно и холодно. Но нельзя же спать так долго: перед уходом в школу на целый день нужно еще посидеть час дома за ученьем.

... Не для всех детей это обязательно. Другим, может быть, достаточно и одной только школы. Но тебе, сыну такого ученого и святого человека...

И вот нежный бледненький десятилетний мальчик сидит, ежится от холода, жуткий, как сами сумерки. Сидит и учится.

Он забрался коленками на кресло,—иначе ему не достать высокого стола. Обоими локтями он уперся о стол, кулачки прижал к щекам—так ему удобнее.

«И ты должен любить всевечного господа твоего всем твоим сердцем и всею душою, и всеми силами».

К этому примечание: «всем твоим сердцем—значит обоими побуждениями—хорошим и дурным».

Мальчик прерывает чтение.

Он не понимает. Снова читает громко, нараспев, подчеркивая отдельные слова, как это делают взрослые,

когда спорят из-за какой-нибудь фразы в мишне: «Ты должен любить всевечного... и дурным побуждением»...

Он не понимает.

Голова его пылает. Громко растягивает он последнюю ноту и громко спрашивает еще раз: «А также и дурным побуждением?»

Но едва умолкает звук его голоса, как внезапно его охватывает страх. Тихое эхо пронесется по пустой комнате. Мальчик боится ночных призраков. Правда, он знает, что они бессильны над ним, пока он занимается священным учением.

Но вот он остановился, он не в состоянии дальше думать.

Разве не прозвучали его слова, как формула заклинания?

Темные силы надвигаются на него... мальчик пугливо озирается на косяк двери: там в серебряной капсуле прибит «мезузе» — пергамент со стихами из писания. Мимо него не может пройти ни один призрак. Но что, если в «мезузе» ошибка? Если там не хватает хотя бы одной только буквы или даже маленькой частицы буквы? Это ведь может случиться, а тогда вся формула ничего не стоит, тогда злые духи смеются над ней.

Ребенок делает резкое движение рукой, словно обороняясь.

Свечка на деревянном столе мигает.

Давид вздрагивает: рядом совершенно отчетливо раздался стук.

Рядом сидит отец и занимается учением. Отец постоянно сидит за учением. С пяти часов утра он сидит за книгами и засыпает только после полуночи. Он засыпает за тем же столом, за которым занимается. Одну руку он кладет на книгу, другой рукой подпирает

голову: так он спит каждую ночь и бранится, если его не разбудят через три часа.

Ведь каждые шестьдесят дыханий сна есть предвкушение смерти, и благочестивые не должны этого испытывать. Только по пятницам, в ночь на субботу, отец ложится в постель, но и этим он исполняет завет религии,—отец ничего не делает иначе как во исполнение заветов религии.

Мальчик боится Лилит, царицы всех ночных призраков, Лилит—жены Самоэля. Лилит подвергает испытанию души самых возвышенных людей. Даже Адам некоторое время жил с ней, когда после грехопадения он отвратился от Евы, но потом он вернулся к Еве, и с тех пор Лилит ненавидит всех детей Евы, людей же с возвышенной душой она особенно ненавидит...

Давид совсем не удивится, если огненная женщина Лилит проникнет в комнату отца.

Снова шум.

Мальчик не в состоянии дольше оставаться один. Он открывает дверь в комнату отца и молча останавливается на пороге. Так делает мать. Никто в доме не решается заговорить с отцом первый, обыкновенно ждут у двери, пока отец не заметит вошедшего.

Но отец совсем не сидит за столом. Он вскочил и отодвинул кресло. Одной рукой он обхватил длинную серебристую бороду, которая доходит у него до пояса, другую, с растопыренными пальцами, поднял вверх. Губы у него побелели, как борода, хотят что-то сказать, но не могут.

Мальчик подбегает к окну, на которое обращены широко раскрытые глаза старца.

Внизу, на дворе, занесенном снегом, лежат дрова. Темная фигура крадется между штабелями дров и перелезает через стену.

Вдруг оцепеневшее от ужаса тело отца оживает. Он стремительно открывает окно, высовывается в него и кричит изо всех сил в догонку исчезающей фигуре: — Гефкер!

Давид понял: «гефкер»—это значит бесхозяйное имущество. Отец объявил дрова, лежащие на дворе, бесхозяйным имуществом, для того, чтобы предупредить грех, связанный с кражей. Не вор испугал его, а отвратительный грех, который должен был совершиться. Вор убегает, но это уже не вор, а простой бедный еврей, который взял из бесхозяйного имущества ровно столько, сколько нужно для его потребностей.

И снова отец сидит за столом; красивое лицо с правильными чертами приняло свое обычное спокойное выражение. Давид хочет спросить объяснения трудного места. Но разве можно мешать отцу? И он снова тихонько, на-цыпочках возвращается в свою комнату.

Но он не может забыть побледневшие губы, с которых сорвалось слово «гефкер». Самое происшествие не производит на него особенного впечатления. Да он и никогда не задумывается над тем, что делает отец. Ведь все, что он делает, безусловно правильно! Но в течение целого дня он не может забыть ужасное выражение лица, растерянные глаза благочестивого старца, в которых отражается злое дело. Не может забыть и в школе, где он менее внимателен, чем обычно, за что несколько раз его наказывают розгой.

II

Отец—ученый. Средства к существованию добывает мать. У нее в первом этаже лавка, где продается железный лом. Лавка приносит хороший доход.

Симсон Лемель—писец, так зовут отца в еврейском городе. Он пишет свитки торы. Но особенно охотно

пишет он священные стихи для «тфилен»—кубиков, которые прикрепляются ко лбу и рукам на ремнях во время утренней молитвы. Он пишет это потому, что ему доставляет удовольствие помогать людям в исполнении божьих заповедей.

Вся его жизнь посвящена хвале создателю. Он ни на одну минуту не забывает, что стоит перед царем всех царей, чьим величием полна земля.

По утрам он «подымается—как лев на службу господину своему». Так велят мудрецы. Надо вставать с терпением, полным огня и силы. Словно желаешь разбудить утреннюю зарю.

Весь распорядок дня точно указан в священных книгах. Симсон Лемель знает, чему должен быть посвящен каждый час. Нет такой вещи, для которой не было бы своего времени в смысле запрета или разрешения. Тем самым все поставлено в связь с повелителем мира.

Когда Симсон Лемель приступает к своему ежедневному занятию—к писанию стихов для тфилен, он руководствуется множеством правил, установленных на сей предмет. Ни одна буква не должна касаться другой. Каждая должна быть окружена свободным пространством. И хотя более снисходительные авторитеты разрешают пользоваться черными чернилами, приготовленными и без чернильного орешка, но Симсон Лемель всегда старается держаться правила писать только чернилами из горького орешка, смешанного с древесной или масляной сажой. Кожа, из которой выделяется пергамент, должна быть выдублена горьким орешком или кальком и выделана специально для изготовления тфилен. Симсон пишет с крайним старанием. Ибо если в тфилен будет хотя бы ничтожная ошибка, то тот, кто накладывает их, окажется не вы-

полнившим заповедь, велящую накладывать тфилен, и грех падет на писавшего. Поэтому писец должен быть очень богобоязненным человеком и строго соблюдать все заповеди. Каждый раз, когда упоминается имя божье, он должен показать, что пишет это имя с благим намерением, как имя бога. Симсон следит также особенно за тем, чтобы все строчки были ровные и чтобы всякая буква выходила отчетливо, одним росчерком, ибо сказано: вещи, которые нужны для исполнения заповеди, должны быть сделаны красиво.

Когда он не занят писанием тфилен, он изучает священные книги. После обеда у него собираются его ученики. Некоторые из них старше его, ибо все ценят его глубокомысленные комментарии. А между тем, нет человека скромнее его. Только в пятьдесят лет он начал записывать результаты своих исследований. До тех пор он изучал только писание «ранних», т.-е. комментаторов, которые жили до Маймонида. Он работал очень основательно и методично, как оно и соответствовало столь возвышенному предмету. В течение некоторого времени он усердно писал; но написанным оказалось многое такое, что давно уже имелось в писаниях «позднейших» комментаторов, которых он еще не знал. Друзья и ученики, из уважения к нему, не решались обратить на это его внимания. Но когда однажды это все же было сделано, Симсон Лемель спокойно зачеркнул написанное и положил в ящик. И ни минуты не раскаивался, что напрасно трудился так долго. Разве он знал, что такое слава? И разве не заключает в себе всякое занятие учением самоудовлетворяющее высшее счастье и подлинное назначение человека?

Так живет Симсон Лемель уже шестьдесят лет своей простой жизнью в непоколебимом покое. Он знает, в

чем смысл его жизни и смысл мира: в служении богу. Знает также, что существует бесконечное множество тайн, и уважает эти тайны, принимая на себя ярмо небесного господства. В своей умеренности и даже воздержанности он уравновешен и весел, но, празднуя субботу или радостные праздники, он может веселиться, как ребенок, и часы его веселья исполнены такого же мира, как часы серьезных занятий. Пятерых детей унесла у него болезнь, только самый младший остался в живых. Но никогда никто не слышал из уст его слова возмущения, а тем паче отчаяния.

Никогда он не пошатнулся на своем пути, никогда не проявил хотя бы колебания или возбуждения.

Поэтому Давид не может забыть, как отец сегодня смотрел широко раскрытыми, безумными глазами. Что же он увидел там, во дворе? Само зло, Лилит. Как ужасен должен быть грех, если даже такой благочестивый человек, как отец, окаменел перед ним.

И все же сказано, что бога надо любить «также и дурным побуждением».

Мальчик никак не может этого понять. И ему не к кому обратиться с расспросами.

III

Однако это неверно,— есть такой человек. Только с ним запрещено говорить. Уже полгода как Давид ведет знакомство с человеком, у которого можно получить ответы на самые разнообразные вопросы. Это Гиршль, по прозвищу Голодный Учитель.

Не то что бы считали Гиршля еретиком, но он пользуется плохой славой в общине. Поэтому к нему в школу посылают только самых нестоющих детей, детей бедных родителей, да и то не всех, потому что для

одаренных детей из бедных семейств всегда найдется зажиточный покровитель. Не заботятся только о тех, у кого нет ни богатого отца, ни дарования. Имея таких бедных клиентов, ему приходится маяться вдвойне и ходить в лохмотьях. Это, конечно, не способствует его авторитету у пражских евреев.

Ходят слухи, что он читает светские книги на латинском языке. В точности никто этого не знает, но уже одних слухов достаточно для матери Давида. Как испуганно завопила она, когда увидела, что Голодный Учитель прохаживается перед ее домом вместе с ее единственным ребенком. Дело в том, что если уж Гиршль начинает говорить — то говорит без конца. Когда Давид приходит к нему, он идет потом провожать его до дому и все время не перестает говорить. Впрочем, так было только в первое время этой странной дружбы, завязавшейся между пятидесятилетним человеком и рано созревшим десятилетним мальчиком. После истории с матерью Давид лишь тайком пробирался к Голодному Учителю.

Мальчик изобрел способ искусственно вызывать кровотечение из носу. Это—его первая ложь. Дрожа и краснея, он преподносит ее. Но зато велика и награда. Ему разрешают уйти из школы еще днем, сейчас же после обеда, который варит жена его учителя. И тогда он может до вечера сидеть в комнате у Гиршля. Это—маленькая грязная комната, неуютная и какая-то не защищенная, потому что она расположена у самой стены, отделяющей еврейский квартал от запретной христианской улицы старого города. За стеной виден портал церкви. О, какое это жуткое зрелище! Мальчик любит заглядывать в таинственные темные впадины между статуями, в которых иногда вздрагивает резкий свет, словно от множества субботних свечей.

У Давида очень часто теперь приключается кровотечение из носа. Ему стыдно, он презирает себя, но не может устоять.

— Где ты пропадал столько времени?—встречает его Гиршль, который немедленно бросает своих учеников, громко читающих по складам, и запирает за собою дверь, ведущую в комнату, где происходит ученье.— Уже четыре дня как ты пропадаешь бог знает где.

— Всего лишь три дня,—жалобно возражает ребенок.

— А тем временем старшина снова отклонил мое ходатайство. Большая школа получает дрова от общины, а я ничего не получаю. Ровно ничего. Хоть замерзни в эту жестокую зиму. Но, погоди, я когда-нибудь выступлю и разоблачу все злоупотребления. Разумеется, все двадцать семь старост голосовали, как стадо баранов, и даже твой великий отец, этот безупречный ученый, покривил душой в деле бедняка.

«Не лучше ли мне уйти отсюда?—думает мальчик.— Нехорошее говорят здесь».

Но маленький прихрамывающий человек не выпускает своей добычи. Он схватил Давида за воротник и втиснул его в кресло. У него голова безумца, с вьющимися поседевшими черными волосами. Один глаз побольше, другой поменьше, и смотрят они пристальным, неподвижным взглядом.

— Как они пыжаты, эти старейшины. Можно подумать, что они не такие люди, как я или ты. Такое же самомнение, такие же страсти, такие же разочарования. Попробуй уколоть их, и они закричат. А потом будут утверждать, что пели великолепно, чем наш кантор поет в день всепрощения. Суeta суeta, говорит мудрец. Моль, летящая на свет. Если бы можно было слышать, как кричит моль, то раздавался бы

великий вопль. Вот так вопят и люди. А назавтра все миновало, как будто никогда и не было. Но сегодня всякий считает свою судьбу столь важной, словно он один существует на свете.

У Давида мелькает мысль: а ведь Голодный Учитель говорит против самого себя. Но он не прерывает его. Стоит только вставить малейшее замечание, как Гиршль топает ногою и кричит: «Ты душишь мои мысли. Дай мне выговорить!» Давид восхищается этим неистовым человеком и боится его. Но своим детским умом он уже постиг, что маленькими и небрежно брошенными замечаниями Гиршля можно направить в любую сторону. Следует только выжидать, тихонько сидеть и ждать с широко раскрытыми глазами—потому что пока еще Гиршль говорит не о том, что надо. Правда, на молодой ум опьяняюще действуют уже одни его сравнения и его рассуждения, а еще больше—тот пыл, с которым все это выбрасывается наружу, в полном противоречии к спокойному достоинству, к которому Давид привык у отца. Но не ради этих ораторских приемов пришел он сюда. Он выжидает. Спокойно слушает возбужденного человека, которому не перед кем свободно излить накопившуюся годами желчь и который счастлив, что нашел, наконец, слушателя.

— А наш рабби, этот знаменитый человек!—кричит Гиршль.—А чем, спрашивается, он знаменит? Ты знаешь, чем?

— Да, вы мне уже часто рассказывали про это.

Но Гиршль не обращает внимания на его ответ.

Такая уж у него особенность, что он постоянно повторяет одни и те же истории, одни и те же остроты. И совершенно не обращает внимания, когда ему говорят, что уже слышали это.

«Он готов, говорить со стеной,—думает ребенок.— А разве я для него больше значу, чем стена?» И хотя он еще не в состоянии разобраться в этом ощущении, но все же он чувствует, как тягостно и непристойно такое унижение слушателя, которое позволяет себе его слишком говорливый собеседник.

— Наш рабби Исаак Марголиот известен как сын великого Якова Марголиота из Нюрнберга. А почему считался тот, да будет благословенна его память, великим во Израиле, столпом изгнания? Потому что он однажды получил письмо от Рейхлина. Рейхлин просил его прислать ему кабалистические сочинения, а старик отказался, на том основании, что нехорошо глазу смотреть на яркое сияющее солнце. По-моему, это грубость. Но, тем не менее, наш рабби сын знаменитого отца—правильнее бы сказать, сын знаменитого письма.

Гиршль не смеется, но тяжело дышит через ноздри. Теперь Давид пользуется благоприятным случаем.

— Всего одно только письмо. Да разве это так много. Ведь, вы же сами...

— Одно письмо! Я получил двадцать, даже тридцать писем от христиан. Разве не переписывается со мной г-н Венцель Альбус фон-Урац, старший шефен старого города и магистр высшей школы, разве не советовался со мной его светлость Богуслав Лобковиц фон-Гасистейн по поводу еврейского слова, которое он хотел вставить в один из своих дистихов? Да, там, за стеной меня знают, а собственные сограждане смотрят на меня, словно перед ними осколок стекла. А в свободной прекрасной Италии обо мне говорят у тех евреев, которые являются подлинными гуманистами, а не такими темными людьми, как старшины совета. Ты ведь видел у меня копию географии Абрагама Фарисоля? Этот ученый человек, пользующийся

милостью герцога д'Эстэ, послал мне ее по моей просьбе. А вот я покажу тебе, когда ты будешь постарше, мою корреспонденцию с Иозефом бен Иосуа Гакоген, лейб-медиком дожа Генуи. Он обещал мне также прислать свою историю правителей Франции и Турции. А также свою книгу «Долина слез». И, наверно, пришлет, когда закончит это произведение.

— А что в этой «Долине»? Об этом вы еще никогда не рассказывали,—спрашивает Давид, который, наконец, привел возбужденного человека туда, куда хотел.

Дело в том, что при всей своей раздражительности и мелочности Гиршль—ученый, сведущий человек. Он много знает о новых странах и островах, которые были открыты другими народами в их морских путешествиях, о которых в гетто проникали только смутные, непонятные легенды. Он рассказывает также о грандиозных происшествиях из прошлого этих народов, он знает их жизнь, их нравы. Вот это именно и влечет мальчика в полуразвалившуюся жалкую хижину на окраине еврейского города. Здесь он наостряет ушки и часами с радостью слушает всеми преследуемого мудреца, который тоже часами готов рассказывать без умолку.

«Сократ,—думает мальчик.—Таким был Сократ». Дело в том, что Гиршль как-то рассказал ему о Сократе, жившем среди народа «евоним», т. е. греков. А разве Гиршль не так же мужествен и непоколебим, как древний философ? Он остался независимым, никогда не поддавался соблазну со стороны общинного старшины, который требовал от него отказа от грешных занятий и взамен обещал хорошее место. Нет, Гиршль предпочел остаться холостым, отказался от хорошей невесты. Он часто рассказывает об этом мальчику, не обращая внимания на то, что тому мало понятны такие лишения и что его больше интересуют другие подро-

ности борьбы, например, отлучение, которое было произнесено над Гиршлем в синагоге, при погашенных свечах. Потом это отлучение пришлось снять без его просьбы, ибо его добродетельный образ жизни выяснился для всех. После этого Голодный Учитель много лет под-ряд питался только хлебом и яблоками. Но не пал духом, несмотря на кличку, которую ему дали, и несмотря на свою тяжелую бесплодную профессию. А когда у него дела шли хоть немножко лучше, он только и знал, что покупал книги и копии документов... Все исключительно по собственному вкусу. Эта твердость пленяет мальчика не меньше, чем пестрое знание, которое его так манит в этом человеке.

— «Долина слез»,—говорит Гиршль,—как я уже сказал тебе, еще не закончена моим другом. Он описывает там все преследования, которым подвергались евреи, начиная с разрушения храма и кончая преступным изгнанием их из королевства Арагонии и Кастилии десять лет тому назад,—изгнанием, которое коснулось самого великого человека, а вместе с ним и многих тысяч наших братьев. Всякий, кто прочтет это произведение,—пишет он мне, будет поражен, и слезы польются из глаз его. И, положив руку на чресла, он воскликнет: «Доколе же, господи?» Но Израиль говорит вместе с псалмопевцем: «Я не умираю, я живу и во все времена прославляю чудесные подвиги».—А я, реб Гиршль из Тахау, добавляю еще: и во все времена провозглашаю о деяниях тех диких зверей, тех народов, которые грешили своей кровожадностью в отношении меня.

Его сероватые глаза затуманиваются выражением ненависти.

— Разве они не поступали с ним, как звери? Но у нас остается одно утешение: они и между собой вели себя как дикие звери. Разве они люди? Поди сюда, дитя

мое, я прочту тебе еще из этой хроники о французских правителях. Поди и посмотри, какие это звери. Я расскажу тебе о Хлодвиге и Фредегунде или прочту тебе о войне Алой и Белой Розы и о всех тех позорных деяниях, от которых стынет кровь.

— Не надо читать, рассказывай, рассказывай. Я прочту потом сам, когда ты будешь заниматься с учениками,—умоляет Давид и садится на скамеечку для ног в самом темном уголке комнаты. При чем тут же, немедленно, словно про запас, забирает как можно больше книг и рукописей, которые пачками лежат на ящиках и досках во всех углах комнаты. Большинство этих книг Давид уже успел проглотить в своей неутолимой жажде чтения, потому что под руководством Гиршля он научился разбирать языки христиан. Но он не может достаточно ими насладиться. И пока Гиршль говорит,— а Давид слушает его внимательно,—его глаза уже блуждают по драгоценным вещам, которыми он овладел. Это гравюры на дереве—на одних изображены люди с собачьими головами, торгующие перцем и мускатными орехами, на других одноногие люди, которых путешественник видел у африканских берегов, или вот листовка, принесшая первую весть о Колумбе: как король испанский снаряжает два корабля для Христофора Колумба, чтобы отправиться в восточные страны. У мальчика закипает кровь. Почему он не мог отправиться с этим героем, почему он не присутствовал, когда корабли застряли на отмелях или когда на утреннем рассвете с вершины мачты раздался крик: «Земля, земля!» и вслед за этим было заряжено орудие и загрохотало над холодными одинокими гребнями волн, устремлявшихся к берегам острова. А времени так мало. Уже становится темно, вечером надо быть дома, в спокойном чистеньком жилище отца. А здесь, где так много

можно услышать, где так много есть чего почитать и увидеть, здесь двумя, самое большое — тремя часами исчерпывается его время на целую неделю. Чтобы использовать его, он готов одновременно и читать и слушать рассказы Гиршля. Напряжение огромное, маленькая головка работает сотней тысяч колесиков. Он прислушивается—и если он при этом может прочесть хотя бы только начальные слова главы, он уже вспоминает все ее содержание. Иногда он улыбается, когда учитель, бурно шагая по комнате, громовым голосом описывает ужасные пытки. Но улыбка относится к той паре кроликов, которых португальцы привезли на остров Мадеру, и из-за которых они вскоре должны были очистить недавно основанную колонию,—потому что бесчисленное потомство одной этой парочки пожирает все, что люди сеют и сажают. И среди этой зародившейся улыбки мальчика охватывает холодящий ужас. Гиршль доказывает неизменность «этих властелинов», цитируя наизусть распоряжение о пытках миланца Бернабо Висконти: «...в течение сорока одного дня надлежит постепенно усиливать муки, начинать надо с пяти ударов, а кончать распиливанием отдельных членов тела и осторожным раздроблением всего тела снизу доверху, при помощи колеса. После нескольких дней пытки надлежит пропускать один день, для того, чтобы жертва не умерла преждевременно». Этим законом тиран принуждал своих граждан к спокойствию и повиновению.

— Вот каковы эти правители, в распоряжение которых мы отданы, как беззащитные овечки!—воскликает Гиршль голосом, которого никак нельзя предполагать в его изможденном маленьком теле.—Нет такого порока, которому они не предавались. Праведник и пророк, появившийся среди них по имени Савонарола,

осыпал их проклятиями и жалобами, прежде чем они его сожгли. Книгами дьявола называет он их священников, книгами, в которые дьявол вписал всю свою злобу. Да, все ужасы Вавилона, распутство, жестокость процветают там. Убийства остаются безнаказанными, яд и кинжал вершат все дела, уста полны сладких, соблазнительных речей, а рука жадно хватается за все злое.

— И все-таки они... эти народы,—мучительно сознает ребенок,—и все-таки эти народы именно теперь совершили великие открытия. Почему же это так: мы, евреи—ничего, а они—все?

— Не прерывай меня, дай мне закончить хоть одну фразу!—кричит на него учитель.

Мальчик немедленно умолкает, но с самим собою он продолжает говорить: «Они отправляются в Новую Испанию, в страну Ципангу, они привозят золото, пряности, они расширяют свои владения, они отдают приказы самым отдаленным нациям, они сооружают грандиозные здания, возвещающие их славу и блеск, они счастливые, их любит бог, а не нас, не нас. Мы остаемся пленниками римского императора, слугами его налоговой палаты, а жилища наши черны и крохотны, мрачны, как темницы и пещеры».

Маленький Давид плачет. Уже не впервые случается, что он доходит до такого возбуждения. Он почти всегда возвращается от Гиршля в лихорадочном состоянии.

Но Гиршль ничего не замечает. Охваченный пылом, он красноречиво громит христианство, а также заодно—богачей из еврейской общины, которые его преследуют. Ничто не может устоять перед его гневом. Он единственный человек, который никогда не совершил ничего дурного, никогда мухи не обидел. Он человеколюбив и ко всем приветлив.

Гиршль тяжело переводит дыхание и опирается о полку своей библиотеки, он кажется большой мухой, усевшейся на корешках книг. И в то же время кажется этими книгами как бы охватывает весь мир, для которого издает законы и правила нравственности.

— Может быть, те народы оттого так могущественны и любимы богом, что они служат богу также и дурным побуждением?— тихо говорит Давид дрожащим голосом.

Гиршль его не слушает. Он повернулся лицом к окну и смотрит в пространство. Лицо его исказилось, он подымает палец, прикладывает его к уху... Да, действительно так,— там, перед домом, где отпущенные из школы дети шумно играли, у городских ворот и у начала чужой улицы сразу все стихло, так жутко стихло. Уже слышно, как дети бегут по лестнице в соседнюю комнату, а издали с улицы доносится тихое пение.

— Окна закрыты?!— кричит Гиршль, шумно распахивая двери в комнату, где сидят школьники.

И он ковыляет туда — и не только смотрит, хорошо ли закрыты окна, но еще заставляет ребятишек встать у стены, противоположной окнам, тихонько в ряд и не шевелиться.

С улицы раздается хорал. Развсвоятся церковные хоругви, мальчики идут с зажженными свечами и кадилницами, а за ними большая толпа народа. И среди нее священник, несущий святыне дары. После того как однажды при таких обстоятельствах возник слух, что еврейские дети осыпали песком святыне дары, когда их несли мимо стены к тяжело больному,— этот слух вызвал нападение на гетто, при чем было убито несколько тысяч евреев,— с тех пор по строгому приказу еврейского общинного совета все окна, выходящие в христианский город, должны запираться, и все прилегаю-

щие улицы и ворота должны быть очищены, как только к ним приближается священник с процессией.

Гиршль, который только что был судьей всего мира, дрожа всем телом, присоединяется к своим ребяташкам,—делает знаки Давиду, не ушедшему от окна, прислушивается к пению хора, к перезвону серебряных колокольчиков, к постепенно затихающему звону колоколов.

Он так запуган, что пинками заставляет детей стоять у стены, хотя уже на улице давно все затихло.

Давид смотрит на него широко раскрытыми глазами, ему стыдно за учителя. Ах, если бы у него была хоть одна капля крови этого Хлодвига, этой Фредегунды, хотя бы одна вспышка упорства Висконти! Как бы это украшало учителя. А тут такая трусость!

С покрасневшими от стыда щеками, со слезами на глазах, Давид убегает домой. Гиршль совсем ослаб, против обыкновения он даже не удерживает гостя за рукав.

IV

Давид возвращается домой в необычное время. Еще светло. Лавка еще открыта.

В лавке нет никого, кроме глухонемого приказчика. Давида охватывает страх. Где же мать? Она такая усердная и никогда даже на минуту не покидает лавки. Трудится там до полного изнеможения с утра до позднего вечера. А теперь ее нет. Давид кричит на глухонемого парня, но тот ничего не в состоянии объяснить. Странное впечатление производит этот безмолвный человек среди огромного погреба, в котором каждый шаг отзывается звоном сваленного в кучу ржавого железа, старых изогнутых инструментов, обломков металла, нагроможденных до потолка. И мальчику кажется, что он слышит какие-то жалобные голоса, старчески брюзжа-

щие, как раньше в церковной процессии. Жутким кажется ему весь мир, но этот темный погреб, наполненный всяким скарбом, всегда ему казался страшной всего.

Он быстро взбегаёт по узенькой невысокой лестнице и врывается в горницу. Мать здесь. И с нею отец. На этот раз он не у себя в комнате за книгами.

Отец сидит в кресле, и мать почему-то приложила руку к его уху. Давид замечает, что при его входе родители смутились.

— Почему так рано?—спрашивает отец.

Но Давид не в состоянии отвечать. Он следит за рукою матери; у нее в руке воск.

И какое испуганное лицо у этой доброй женщины!

Давиду хочется закричать: «Разве я тебя испугал?» Но он не в состоянии произнести ни слова. Теперь мать раскрывает рот, но Давид не хочет, чтобы она говорила, у него такое ощущение, что он услышит что-то ужасное, нечто более страшное, чем все, что случилось за этот день, более страшное, чем то, что случилось тогда утром, когда он наткнулся на непонятное место в Талмуде и видел испуганный взор отца, более ужасное, нежели эта процессия со свечами и с колокольным звоном...

— Отец простудился на сквозняке,—тихим шопотом говорит мать,—так вот я ему смазываю ухо воском.

Отец сердито поворачивается в ее сторону:

— Добра, зачем ты это говоришь? Разве ты не знаешь, что сказано: «Не должны лгать остатки Израиля, и нет места обману в устах их».—Нет, дитя мое, это не так...

Мать умоляющим жестом поднимает руки.

— Дело в том, что король отдал через бургграфа распоряжение, чтобы каждую неделю трое из нашей общины ходили в церковь св. Валентина.

Мать заливается слезами.

— Это тяжкое испытание за грехи наши,—три человека из общины должны слушать проповедь, предназначенную для нашего обращения. На этот раз жребий пал на меня. Не полагается уклоняться от общинных обязанностей. Но мы,—и здесь, по лицу отца пробегает хитрая усмешка, какой Давид у него никогда не видел,—мы устроили так, что при помощи воска преграждаем доступ богохульственным словам к ушам нашим. Раньше пытались спать, но тогда они поставили сторожей, которые будили нас. О воске они еще не знают... Но я не думаю, что это будет долго продолжаться,—говорит он, заметив мучительно-жалобное выражение на личике Давида,—мы отправили депутацию к князю, который к нам благосклонен, и будем ходатайствовать перед ним, будем просить его...

Мальчик сжимает кулаки и кричит:

— Но зачем же просить, почему мы всегда должны только просить!

— Давид!

— Пусть другие просят, а мы будем им приказывать и награждать своими милостями!

Отец долго не произносит ни слова. Он только взглядывает на мать, которая продолжает плакать.

— Чем согрешил я, что сын мой исполнился высокомерия?—И, обращаясь к Давиду, он говорит:—Я отвечаю тебе, почему мы должны всегда просить и почему приказывают другие. Но только не сегодня. Сегодня солнце заходит рано. Когда дни станут долгими, ты получишь ответ.

— Почему не сегодня?

Отец улыбается.

— Ты не должен быть таким нетерпеливым, Давид. Ты должен научиться ждать. Скоро минет тысяча пятьсот

лет как наш народ ждет избавления, а ты не хочешь подождать еще полгода?

— Дорогой отец, так долго—так бесконечно долго.

— Не наказывай его,—просит мать. Но отец благословляющим жестом кладет руки ему на голову.

— Это хорошо, когда благочестивый нетерпелив в деле избавления. Будь благочестив и нетерпелив, сын мой.



Мальчик давно уже забыл об этой беседе и обо всем, что ей предшествовало, когда семь месяцев спустя в раскаленный, душный летний вечер отец кивком головы приказывает ему сопровождать его в синагогу.

Уже в течение всего дня в доме траурное настроение. Никто не обедает за столом, каждый стыдится показать другим, что он удовлетворяет свой голод. Поэтому каждый забирает еду к себе в угол, как собака кость, и там проглатывает ее, сидя на скамеечке. Хлеб посыпан пылью, к хлебу полагаются только яйца, потому что они выражают собою траур: они закрыты со всех сторон, так же, как у истинно опечаленного человека рот закрыт для жалоб.

С наступлением вечерних сумерок отправляются в синагогу в туфлях и в поношенном платье. Не глядят по сторонам, не приветствуют друг друга. Люди словно не знакомы между собой или стыдятся друг друга за какие-то позорные деяния. Никто, конечно, не произносит ни слова.

Это вечер накануне девятого авва—дня сожжения храма и разрушения Иерусалима.

В старой синагоге темно. На молящихся нет белых мантий, напоминающих крылья ангелов. Крылья сброшены, все тускло. Черное платье сливается с мрачным

холодным залом. Бронзовые канделябры не зажжены. У каждого из молящихся в руках маленькая сальная свечка. В этот вечер нельзя зажигать света больше, чем необходимо для чтения молитв.

Тусклые огоньки отдельными группами блуждают по залу. Но все они спрятались глубоко вниз, почти на полу. Люди сидят не на скамейках, как обычно, а на опрокинутых молитвенных столиках. Молящиеся устроились на обломках священного порядка, на низвергнутом великолепии. Даже красивый занавес у скинии завета убран. Голо смотрит серая свинцовая дверь у стены. Никаких красочных пятен. Только старые следы от крови мучеников выделяются на черных стенах.

Как часто этот приплюснутый молитвенный дом казался Давиду крепостью, созданной, чтобы противостоять набегу врагов. Огромные черные каменные стены, толстые, мощные, как скалы, напоминающие собой стены цитадели, несколько узеньких окон вроде бойниц. Здесь будут защищаться, когда все уже будет потеряно, будут стрелять сквозь узкие окна из ружей. А если враг ворвется, то остается еще последнее убежище—возвышение посреди храма, на котором читают Тору. Оно окружено железной решеткой. Но сегодня Давид не решается предаться таким воинственным фантазиям. Молящиеся в отчаянии сидят на земле, никто не проявляет мужества.

«Если ворвутся сейчас, то нас перебьют, как куриц,—пронизывает его негодующая мысль.—Или, в лучшем случае, у нас хватит мужества покончить самоубийством, как это сделали мученики, следы крови которых не смываются уже сотни лет для того, чтобы мы поступали так же, как они».

У колонны, прикрепленное множеством обручей, возвышается огромное знамя. Давид любит знамена. Ко-

гда ему попадает в руки бумага, он заполняет целые листы рисунками знамен. Он уже готов приободриться, глядя на знамя, но в это время голос кантора пригибает его к земле. Тихо и надрывно раздаются слова:

Одиноким стал город, некогда полный народа,
Как вдовица он, а был велик среди народов.
Царица городов стала рабыней.
Плачет по ночам и слезы орошают щеки ее.

При этих словах кантор громко вскрикивает.

В ответ раздается общий плач, никто не может произнести ни слова, только плачут и плачут. У его отца слезы текут по щекам, потом он обнимает мальчика и прячет его под своим широким плащом, где так тепло и спокойно.

Вдруг отец трогает его за плечо. Тихий голос, словно издалека, говорит:

— В этот день господь низверг красоту Израиля с небес на землю, с высокой горы в темную могилу.

Давид понимает, что отец хочет обратить его внимание на это место в молитве, но в то же время не хочет говорить о нем, ибо в этот вечер разрушения храма запрещена всякая радость. А высшая радость заключается в размышлении над словами учения.

И только после полуночи, когда все уходят из синагоги, отец говорит:

— Ну, теперь ты понимаешь, почему мы должны просить и почему другие приказывают?

— Все из-за этого дня?

— Конечно.

— Но ведь это же не может продолжаться всегда, отец. Ведь не может это оставаться на вечные времена.

— Разве ты не слышал? «В этот день господь низверг красоту Израиля с небес».

— Но разве навсегда, отец?

И он вспоминает тот серый зимний день и заданный тогда вопрос, на который отец дает теперь ответ.

— Молчи!

Мальчик снова вспыхивает, глядит недоверчиво сердитым взором: «А не было ли ошибкой, что мы крикнули «гефкер»? Мы позволяем отнимать у нас власть и честь и еще даем свое благословение на это, объявляем наше имущество бесхозным».—Но этого мальчик не решается добавить; перед угрожающим взором отца он умолкает.

Так отец никогда еще не смотрел на него, так враждебно и пронизывающе.

Неужели отец до такой степени понимает, что таится в глубине его души, неужели он чувствует, что в этот момент Давид вспомнил зимний день, когда крали дрова, а он объявил их бесхозным имуществом... Тогда дело плохо, тогда он понимает все значение бунта, происходящего в Давиде.

Но ведь не может взрослый человек так отчетливо помнить все это... И все-таки... Ведь отец мудр и проныцателен. Давид видит по его глазам, как в них пробуждается воспоминание и как отец постигает все значение его дерзкого ответа. Вдруг отец поднимает кулак. Да, он все знает, знает с убийственной точностью. Ни разу еще этот кроткий человек не ударил сына. Но на этот раз, когда перед ним богохульник, критикующий древние законы... Ведь о них сказано: «Обломай острия их зубов».

И Давид ждет, что отец ударит его. Но отец опускает руку. В этот траурный день воспрещается бить детей. Девятое авва—несчастный день. В этот день все плохо кончается. Рука может сорваться, и удар может оказаться смертельным.

Давид знает: карающая длань отца опустилась не по ошибке и не из любви к нему, а во исполнение древнего обычая.

В ужасе смотрит он на отца,—чужое лицо, которое, как каменной стеной, обволакивается гневом.

В эту жаркую ночь не спят, отец молится, плачет, не смотрит на сына. Вдруг Давид тоже начинает плакать. Его охватывает страх, что он никогда не сумеет забыть этого удара, который предназначался ему и не был нанесен.

V

Неудивительно, что Давид, к великому огорчению отца, делает слабые успехи в учении.

Мальчик постылся, подражая отцу, он отказывается спать в постели. Засыпает на полу, и мать потом перетаскивает его сонного в постель. Он худеет, начинает покашливать. От этого страдает правильное учение.

Он просиживает за книгами дни и ночи. Но на еженедельных проверках каждый раз отвечает все хуже и хуже. Большие черные глаза утрачивают свой блеск. В них засел испуг с того раза—после девятого авва. Мальчик боится отца. Он как бы все время ждет удара, который заслужил и которого не получил. Ведь отец всегда безусловно прав. Мальчик пытается усиленным рвением вернуть себе его благосклонность, но каждый раз повторяется то же самое, что произошло в ту душную ночь, отец совершенно не видит его, не интересуется им.

И с сокрушением Давид изо дня в день твердит: «За грехи наши посланы мы в изгнание».

Он часто перечитывает трактат «Гитин», «Мидраш—эхо рабба», «Иудейскую войну» Иосифана. Эти писания, в которых, в числе прочего, имеются сведения о защите

и падении Иерусалима, интересуют его больше, чем отрывки, которые предписывается изучать для планомерного постижения учения и воспитания себя в страхе божьем. Мальчик допытывается, не было ли сделано какого упущения в борьбе. Ему становится несколько легче на душе, когда он узнает, что боролись до последней крайности, до последнего изнеможения. Он всецело на стороне партии zelотов, Гориона и Абба Сикра, он одобряет, что при сдаче крепости Бетар учителя в школах закутывали своих учеников в свитки Торы и сжигали их. И так как он находит, что самопожертвование защитников было превыше всякой меры, а военное искусство их не оставляло желать ничего большего, то он ломает себе голову над вопросом, чем же вызван неблагоприятный исход борьбы. Из многих предположений, которые он находит в древних писаниях, наиболее глубокое впечатление производит на него повесть о мастере и ученике. «Жил в Иерусалиме мастер-ремесленник, который однажды был вынужден взять займы деньги у своего ученика и послал за ними свою жену. Ученик оставил красивую женщину у себя и при помощи всевозможных хитростей заставил мастера развестись с нею. Когда затем мастер не сумел заплатить долг, разбогатевший ученик сказал ему: приходи и отработай у меня твой долг. Ученик и жена сидят за обедом, а мастер прислуживает им обоим, и, когда он им наливает вино, слезы льются из глаз его и падают в их бокалы. В тот час совершился суд над евреями».

Сердце мальчика сокрушенно сжимается от грехов прошлого. О, если бы он мог молитвами и постами искупить все грехи, стать воистину добрым, благочестивым и милосердным! Одного только он не может — того, что требует от него школа: толкования во все

стороны затруднительных правил, изучения исключений, остроумного комбинирования противоположных мнений разных древних учителей. Зато он часто видит во сне историю жестокого тирана Тита. После опустошения священного города Тит святотатственно вызвал самого бога на бой: «Ты утопил в море фараона, я же разбил детей твоих на суше, и ты был бессилен передо мной». Тогда бог послал маленькое презренное существо — муху. Она через нос проникла в мозг цезаря. Семь лет высасывала она его мозг. Говорят, что после смерти Титу раскрыли голову и увидели ее. Она была величиною с ласточку, клюв у нее был бронзовый, а когти железные. Чтобы заглушить сверлящую боль, император приглашал кузнецов и заставлял их стучать молотами в своей комнате. Не-евреям он платил за это четыре суса, а если кузнец был еврей, то он ничего не давал и говорил: «Хватит с тебя и того, что ты видел, как страдает твой враг». В течение тридцати дней поступал он таким образом, но потом муха привыкла к шуму, и средство это перестало действовать.

Давид злобно хохочет, когда представляет себе эти жестокие картины, и все меньше он интересуется правилами древнего гражданского и уголовного процесса.

Ах, неудивительно, что учение плохо подвигается вперед. Сладки мечты мягкого сердца, сладки также мечты кровавой мести. И годы проходят в мечтах.

Старый Симсон Лемель давно уже утратил надежду, что сын его будет ученым, будет членом общинного суда. Год за годом проходит и не приносит с собой перемены к лучшему.

Мальчик превратился в юношу, бледного, но сильного, и хотя маленького роста, но широкоплечего, с выпуклой грудью. Все лишения, которым он себя подвергал, несколько не повредили его здоровью. Но он ходит с со-

крушенным видом, покорно опустив голову, как подобает еврейскому юноше. При этом он не умеет медленно ходить, шаги его всегда суетливы. Неумеренно большие шаги его так стремительны, что все тело с тяжелой головою, ушедшей в плечи, как мешок, валится вперед при каждом движении.

Куда спешит он? Зачем ему так торопиться? Он сам этого не знает. И не знает также, что этими чрезмерно большими шагами он примыкает к сонму всех остальных пражских евреев и всех евреев вообще от Ливантийского до Балтийского моря. Они все постоянно куда-то стремятся, бегут, суетятся, громоздят, улаживают, высчитывают и, видимо, мало заботятся о том, что ежедневно над их головами висят изгнание, разграбление, а может быть, даже худшее.

Недавно в Энсе жена псаломщика под пыткой показала, что она продала священные дары каким-то подозрительным людям, которые разослали их по кусочкам в семь общин. Схваченные наспех евреи признались тоже под пыткой, что они купили частицы св. даров за гульден, что они кололи их иголками, пока не выступила кровь и на умученном кусочке хлеба не показался лик младенца. Тогда они быстро бросили окровавленные остатки в горящую печь, но из нее со страшной бурей вылетели два ангела и два голубя. На допросе с пристрастием были названы имена соучастников, столько имен, сколько нужно было следователям. Дело кончается тем, что несколько дюжин евреев посылают на костер. Дикий ужас охватывает тогда соседние общины. Назначают пост, молятся, вызывают к богу о спасении, или, по крайней мере, об отсрочке бедствия. Но уже на другой вечер после поста с железной энергией берутся за новые дела, стараются использовать привилегии, разрешение владетельных князей брать проценты, принимать

залогам по займам, что запрещается купцам христианского исповедания, с целью оградить последних от презрения. Презренный еврей может заниматься ростовщичеством, может собирать богатства, шелка и золото в своих черных грязных переулочках,—пока злоба народная не прорвется и с ломами и мечами не ринется во все закоулки. В течение ста лет пять раз производились нападения на еврейскую улицу в Праге. Жгли и убивали, растаскивали все, что попадалось под руки. Но на другой день после боя снова начиналась прилежная, муравьиная работа. Надо жить, жить во что бы то ни стало. Это жалкая жизнь, но от нее нельзя отказаться хотя бы ради детей и внуков.

Достаточно, чтобы несколько лет прошли спокойно, как появляются слухи о выселении. Существуют, правда, старинные привилегии, дарованные евреям. Но кто с ними серьезно считается? Короля никогда нет в стране; шефены трех пражских городов ссорятся с бургграфами и другими знатными дворянами, но насчет того, что следует изгнать евреев, между ними полное единодушие. Есть такие осторожные люди, которые за большие суммы хороших дукатов покупают себе королевскую охранную грамоту. Тогда они на целый год защищены от всяких утеснений. Эти счастливицы называются «охранными» евреями.

Давида охватывает испуг, когда однажды мать с гордостью показывает ему такую грамоту. «Мы живем грешной жизнью,—думает он,—и эта жизнь не может дать ничего лучшего, чем наши страдания и вот такую защиту от них, вроде тонкого, шелестящего от ветра, измятого, исписанного корючками пергамента».

Он озирается по сторонам. Что творится кругом? Одни контрабандой увозят серебро из страны, другие примешивают легкую силезскую монету к хорошим деньгам.

В специально для этого приспособленных потайных мастерских золотые и серебряные монеты срезаются на ребрах и потом порченные деньги снова пускаются в оборот. Евреям воспрещается изготавливать новые ремесленные изделия. И, тем не менее, еврейские портные, сапожники, шорники умудряются продавать свои изделия в пражских городах. Но цехи ревниво следят за тем, чтобы евреи на рынке в еврейском городе торговали только старыми меховыми вещами и старым платьем. И так все, что делают евреи, они делают с опасностью для жизни, делают нечестно и противозаконно. Но кто же подчинил евреев таким законам, что для них считается грехом снискивать себе пропитание? Даже те, кто честно добывает свой хлеб, кто в качестве мясников или благочестивых и веселых музыкантов или в качестве ученых трудится для своей общины—даже они едят хлеб за счет тех, кто за пределами гетто идет путями обмана и греха и не дает остыть ненависти против всех евреев.

Давид доискивается, где расставил грех свои капканы, и вскоре он видит одни только капканы. Все ему кажется недостаточно чистым, все люди недостаточно благочестивыми. Отец, ну, конечно, отец и другие ученые, а также ученики, которые посещают отца, они благочестивы,—думает Давид. Он боится осуждать, ибо осуждение также является грехом. Но он не может заглушить в своем сердце чувства, что даже благочестивые все же не делают того, что надо. Он не понимает их самодовольных лиц, он не понимает, почему они предаются печали только несколько раз в году в дни траура, почему вся жизнь не проходит в слезах и покаянии, как его собственная жизнь. Им овладевает горячее желание поговорить с отцом об этом хотя бы один только раз. Но это совершенно невозможно. Отец

еще подумает, что он стремится к новшествам, а это уже сделает его совсем непомерным грешником.

Давид готов непрерывно молиться. Пока он молится, он спокоен, но уже заключительные слова молитвы снова вызывают в нем тревогу. Всякое прекращение молитвы кажется ему грехом, хотя он нигде не слышал и не читал об этом. Кажется ему даже первородным грехом, самым скверным из всех прегрешений. Если бы люди непрерывно молились, то на земле не могло бы совершаться ничего злого. Его горячее желание—чтобы смерть застигла его за хорошим делом. Но вместо безмятежного спокойствия души он всегда испытывает страх, который настигает с особенной силой как раз когда он этого совсем не ожидает. Правда, он знает молитву и против такого состояния ужаса, но так как в этой молитве упоминается имя бога, то ее нельзя произносить в нечистых местах. И вскоре всякое место, куда бы он ни попал, кажется ему нечистым. Поэтому он прибегает к формуле заклинания, которая заменяет собой молитву против страха и должна отвлекать сатану куда-нибудь подальше: «Уходи, сатана! Козы на бойне жирней меня».

С этой формулой, которую он часто вынужден повторять, он безрадостно плетется по пути жизни.

VI

С каждым годом Давид все сильнее привязывается к матери. Отец, с его неизменным спокойствием и молитвенным настроением, все больше вызывает его восхищение, но, вместе с тем, кажется все более далеким и недоступным. Мать же трудится и брюзжит с утра до вечера. Никогда улыбка не озаряет ее маленького, изборозжденного морщинами лица. Ей всегда кажется, что она недостаточно потрудилась. Давид весь в мать.

Он теперь часто ходит с матерью в христианский город. Хотя евреям строго запрещено посещать христианские рынки и хотя запрет этот постоянно подтверждается новыми городскими декретами, тем не менее при помощи каких-то уловок евреи сумели поставить несколько будочек перед церковью Сант-Галли, в самом центре старого города. В несколько приемов они удачно расширили эту площадь, скупили через подставных лиц дома, находящиеся в окрестности, и, при помощи таких, частью явных и никем не санкционированных правонарушений, частью пользуясь молчаливым попустительством городского управления, они создали новый рынок, где старьевщикам выгодней продавать свои вещи, чем на еврейской улице, но где они всегда находятся под угрозой насилия и изгнания.

Мать Давида тоже от поры до времени носит на этот рынок вещи, которые выуживает из своего хлама. Она мастерски умеет подбирать к старой металлической кастрюле без доньшка другие куски металла, например, изогнутый шлем, и заказывает из этого новую посудину, почти пригодную для употребления. Давид всегда боится за нее. Он не хочет отпускать ее одну в сопровождении глухонемого приказчика.

Он усвоил привычку каждый раз отпраиваться с нею и сторожить около ее лотка. Друзья его издеваются над ним, они считают такую работу презренной и не достойной молодого человека, изучающего талмуд. Давид, однако, не в силах отказаться от этого, но в то же время считает для себя обязательным предаваться размышлениям, в какой мере поведение его вызывается не любовью к матери, обязательной для сына, а только его грешной ленью.

Со стороны кажется, что женщина взяла робкого юношу под свою защиту, а не наоборот.

Такая вылазка в христианский город — дело нешуточное. В стенах гетто евреи могут одеваться так же, как и все граждане, а богатые евреи щеголяют, подражая помещикам и дворянам, в шляпах с перьями, в меховых плащах и драгоценных воротниках. Давид, как сын уважаемых родителей, носит модный берет и шелковый камзол. Это в стенах гетто. Но когда он идет с матерью, он должен надевать высокую желтую остроконечную шапку, которая смешно колышется на голове, обращая на него всеобщее внимание. Вместо изящного воротника он надевает узенький воротничок, предписанный законом, а поверх платья из простого сукна красуется маленькая желтая тряпка, презренное еврейское колесико. В таком виде его можно распознать издали. Как только он выходит из ворот, уличные мальчишки бросаются на него со свистом, награждают его пинками. Но мать быстро выходит вперед и, при помощи шуток и пряников, успокаивает эту ораву.

Сзади шагает глухой полоумный приказчик с корзинами в руках и на спине. Его красноватые глаза выражают немую ярость, и горе тому из маленьких крикунов, который попадется ему под руку в глухом переулке. Давид бежит, как безумный. От возбуждения он не смотрит по сторонам. И тем не менее, у него получается впечатление чего-то белого, широкого, грандиозного. А позади его с грохотом опускается в землю что-то черное—это грязные деревянные дома еврейского города.

Стоять до вечера около лотка—мучительная пытка. Давид храбро выносит ее.

Он уже раз десять или двадцать побывал на рынке. Мать считает, что он приобрел достаточный опыт, а тут к началу весны она схватила жестокий кашель. Поэтому она посылает сына одного к кузнецу Пертшицу, про-

живающему у ворот старого города. От поры до времени она покупает у него за богемские пол-гроша железные отбросы и всякий ненужный хлам.

Слуга сначала остается с матерью в лавке. Она поставила в соседнем помещении кровать и, несмотря на болезнь, наблюдает за делом.

Итак, Давиду на этот раз приходится шествовать одному; через ворота, что у площади Трех фонтанов, он выходит из гетто. На огромной каменной равнине, перед ратушей старого города, он беспомощно озирается по сторонам. Широкая площадь, с домами, расположенными в отдалении по берегу реки, начинает кружиться перед глазами, как сверкающее водяное зеркало. Он соображает, что ни разу не поднял глаз на этом месте, ни разу не осмотрелся по сторонам.

Он едва решается дышать на свежем воздухе, пронизанном мартовским солнцем, едва решается шевельнуть рукой. Перед ним высится высокий дворец из белого камня. Между блестящими окнами красуются гербы, балкончики, пестрая резьба. Если не смотреть на них, то нельзя найти дороги. Юбки матери, за которой можно было бы следовать, сегодня нет.

За этой юбкой он шел, пока ему не стукнуло восемнадцать лет, все время шел наощупь, ни разу не поднял взора.

Огромная толпа собралась перед новыми часами на ратуше. Люди любят пестрыми фигурками, которые проходят через две маленькие дверцы. Скелет отзванивает часы. Тут же стоит кукла, изображающая еврея, который подымает и опускает кошелек с деньгами. Давид припоминает, что он недавно в одной листовке читал описание этого весьма искусного произведения.

Но неужели такая вещь имеется в Праге, у самого порога гетто? Значит, не надо даже ездить в далгие

страны, чтобы увидеть чудеса, которые он знает только по гравюрам Гиршля. А в украшениях, наклепленных над порталом среди каменных гроздьев винограда и удивительных плодов с толстыми листьями, резвятся обезьяны из далеких стран.

Он вспоминает, что король Владислав из дома Ягеллонов пользуется славой великого строителя, как Лоренцо Медичи и другие владетельные князья—в Италии. Когда он читал об этом, все казалось ему находящимся где-то в недостижимой дали. А между тем, все это великолепие имеется здесь, у самых ворот его гетто.

Из окон ратуши несколько лет тому назад бурные чашники выбросили бургомистра Клобоука. Несчастный ухватился за оконную раму и повис снаружи на стене, пока ему кто-то не раздробил молотком руку.

Среди прочих ужасов Гиршль рассказывал и об этом. Вот он, ряд окон, таких молчаливых и больших. В одном из них это и приключилось! Непонятна ему эта чужая жизнь, такая блестящая, выложенная и грешная. До сих пор ему казалось, что она где-то бесконечно далеко.

И вдруг все это так близко придвинулось к нему, что ему становится страшно.

Давид бежит дальше: спокойно стоять и созерцать красивые здания—не еврейское это дело.

Ему давно уже известно, что евреи не знают покоя за грехи свои. Христианам, правда, их злые деяния сходят легче. Очевидно, так надо, и Давид против этого не возражает... Другие народы сильнее нас. Нас ослабили грехи отцов, и теперь мы особенно нежный музыкальный инструмент в руках господ бога, который легкими перстами едва касаясь струн, наигрывает на нас грозные песни страшного суда. Тем больше оснований у нас быть ему признательным. Ибо это только побуждает нас проверить наше сердце и приобщиться

к святыне. Давид недавно поссорился со своим другом Ароном Просницем только из-за того, что Просниц, который хорошо знает историю, утверждает, будто испанская королева Изабелла наказана за изгнание евреев ранней кончиной своих детей... Вздор! Как раз в самый день изгнания Колумб, состоявший на службе у этой самой Изабеллы, отправился из гавани Палос и, с благословения божьего, открыл для богохульной королевы необозримые земли и богатейшие сокровища. Разве это не доказывает, что грехи народов измеряются совсем другою меркою, нежели наши грехи! Давид любит истину и не позволяет прикрашивать ее. И в конце концов какое нам дело до грехов других народов,—мы должны заботиться о своих собственных!

Давид еще охотнее продлил бы эти размышления—они его самые любимые, если бы на этот раз ему не надо было напрягать свое внимание.

Он уже трижды сбился с пути, и теперь он внимательно идет вдоль стен королевского двора. Какая громадная мощь в этих стенах, окрашенных в желтый и белый цвета! Настоящая вавилонская башня! А рядом огромные новые ворота, еще не достроенные, в лесах. Два мастера спорят из-за того, кому их строить, и потому пришлось приостановить постройку. Всюду ссоры, дикое упрямство, сила, неистовство, ненависть, борьба.

Идет смена караула. Шаги гулко отдаются на каменной мостовой. Дрожат круглые железные шлемы,—это все чудовища, людѣды. Давид знает из Талмуда, что оружие не украшает, а оскверняет мужчину. Но здоровый смех озаряет молодые загоревшие лица. Зло таит в себе этот мир, чужой мир—не наш,—но как он прекрасен, как прекрасен!

С этими мыслями Давид дошел до городского вала. Он обогнул со стороны старого города городскую стену,

которая затем снова исчезла за садами, штабелями дров и домами.

Дом, именуемый «У лягушки на болоте», и есть та самая кузница, куда он идет.

Робко подходит он к кузнецу. Кузнец крепко держит щипцами на наковальне раскаленный кусок железа, а двое помощников обрабатывают его тяжелыми молотками.

— Подожди минутку, еврей.

Эти черные люди с размашистыми сильными движениями, может быть, и не хотят толкать его. Но тут так тесно.

Простояв с четверть часа, Давид пробирается мимо пыхтящих мехов из своего уголка, где пламя и грохот производят впечатление ада.

Через маленькую дверцу он выходит во двор. Он может подождать и на дворе. Звук молотов едва доносится сюда, кажется здесь приятной мелодией. В голове становится спокойно, он даже ощущает какой-то холодок. Он наслаждается запахом деревьев и земли. Давид видел деревья только на кладбище. Но здесь они выше и ветвистей. В черной земле стоят совсем тонкие стволы, у которых жестоко срезаны все ветки. Белые заросли блестят, как раны, на черном дереве. Что это? Тоже одно из злодеяний чужих народов? Разве они любят мучить деревья так же, как мучают людей и животных?

— Еврей, помоги мне.

Он, оказывается, здесь не один. Его окликнул ребенок, который возится в углу двора, около сарая. Христианский ребенок. Только обернувшись, Давид замечает, что это девушка.

Он отворачивается, помня завет: «Не затягивай разговора с женою твоею»,—старый запрет, который ис-

толкователи, старавшиеся «затруднить» учение, распространили на всех женщин вообще, и не только на продолжение разговора, но и на его начало. Давид всегда держался этого правила. Но девушка проворней его, она схватила его за рукав.

— Не беги, и еврей может разок потрудиться.

— А в чем дело?—с удивлением спрашивает Давид.

— Я не могу открыть двери сарая.

И, держа его за рукав, она подводит его к деревянной двери, у которой в старом заржавленном замке торчит ключ. Замок такой старый и заржавленный, что никакие силы мира не в состоянии повернуть ключ. Давид уже издали видит это...

— Ну, поверни!—властно кричит девушка, топая ногой.

— Зачем?

Он с возмущением делает шаг назад. Такого тона по отношению к себе он никогда не допустит.

Девушка улыбается.

— Ну, пожалуйста, я сама не могу справиться с ним. Смотри, что я себе наделала с рукой.

Он пугается, когда видит ее руку. Еще никогда в жизни он не видел таких розовых блестящих ногтей, похожих на когти. Евреи не носят таких ногтей. Они обрезают ногти совсем коротко, а есть такие благочестивые люди, которые плачут, когда видят, как растут их ногти. Ногти безжизненны, они представляют собой часть тела, которой нельзя служить богу. Так же, как и волосы. В ногтях гнездятся злые духи. Давид, перед глазами которого блещут ногти девушки, ничего, кроме ногтей, не видит, Давид боится ее.

Но у него нет времени, чтобы опомниться. Они уже подошли к сараю. Он готов оказать ей услугу. «Для поддержания мирных отношений» принято оказывать

услуги и христианам. Но не повинуется ли он какому-то внушению, без разумного основания? Он не может дать себе отчета, почему он так старательно вертит ключ, почему он так напрягается. Никогда он не занимался такими вещами, никогда не прикасался даже руками к товару своей матери. Но, тем не менее, ему внезапно становится ясно, что он должен сделать вид, будто это для него пустяки, будто он одним взмахом может открыть еще более искусные и тяжелые замки, даже может открыть городские ворота. И удивительно: действительно, одним взмахом, напрягши все свои силы, он открывает замок.

Давид глубоко переводит дыхание.

Девушка, не поблагодарив его, скользнула в сарай, вытащила ящик, из которого вынула разные вещи.

Давид задумчиво ушел в свои мечты.

— Что это такое?—спрашивает он, не замечая, что задает вопрос.

— Ты хочешь знать, что это такое?—Девушка высокомерно оглядывает его, словно он позволил себе какую-то неуместную шутку.—Разве ты не знаешь, что это лопата?

— Нет,—печально отвечает он.

Но ведь это не был настоящий вопрос. Давид слишком поздно заметил это и смущенно смотрит в землю. Из-под лопаты выходит темная разрыхленная земля, а трава и гнилой кустарник вырываются и отбрасываются в сторону. Но некоторые цветы лопата щадит. Может быть, она очищает место для молодых ростков, отбрасывает то, что осталось с осени? Давид ничего в этом не понимает.

Ему хотелось бы знать, как называются эти желтые цветы. Его никогда этому не учили. Но девушка слишком неласкова. Только от одного вопроса не может он

удержаться. Для чего нарезаны раны на деревьях, которые его мучают, словно это его собственные раны?

Он несколько раз пытается задать этот вопрос и наконец, задает его.

Девушка не отвечает.

Она работает, наклонившись над грядкой.

Таинственная работа,—и сама она таинственное существо, от которого Давид не может оторвать глаз. При этом в голове его глухо раздаются слова: «Следуй за львом, но не следуй за женщиной». Так вот она, эта тайна, от которой предостерегают мудрецы. Белокурые волосы, которые ничем не прикрыты, развеваются по плечам густым золотом своих нитей, узкое белое плечо выглядывает из платья. «Ну, конечно... это Лилит»... Девушка выпрямилась и, не обращая на него внимания, на некоторое время прекратила работу.

Вдруг раздается ее голос, очень высокий и звонкий. Она не говорит, она делает то, что разрешается делать только мужчинам, чего нельзя слушать, если это делают женщины: она поет.

Он впитывает в себя нежные звуки,—у него такое ощущение, словно каждый из них проникает ему через горло в пылающие внутренности. Ароматный мартовский воздух обвеваает его тело, которое болит внутри.

Вдруг на него обращается стальной луч ее глаз:

— Ах, ты ждешь награды? Еврей ведь ничего не делает даром!

В этот момент лицо его, повидимому, исказилось выражением стыда и злобы, потому что девушка хватается его за руку, словно желая его успокоить. Он старается вырваться. «Если держишься за руку, не уйдешь от зла».

А она ласково говорит ему:

— Ты, должно быть, большой упрямец,—и показывает ему, как подрезывают ножницами кусты (это не

деревья, а кусты) для того, чтобы они росли свободней и правильней. Вдоль всей городской стены, которой заканчивается двор, насажены такие кусты. Но он уже не слушает ее. Его давит ее рука, она сжимает ему сердце. «Кто отсчитывает деньги из своей руки в руку женщины для того, чтобы взглянуть на нее, тот не уйдет от адского суда, если даже своим знанием учения и добрыми делами уподобится пророкам».

И, хотя он шопотом припоминает эти слова, он внешне до такой степени слабеет, что не в состоянии вытащить руку.

— Знаешь что, ты поможешь мне вытащить ящик из сарая и тогда получишь награду.

Он счастлив, что она отпустила его. Бежит к сараю с еще большей услужливостью, чем раньше, тащит тяжелый ящик к грядке; он рад, что эта смертоносная рука отпустила его руку, его сердце.

Когда он подходит, едва переводя дыхание, красивая девушка дерзко обнимает его.

— Теперь в награду я тебя поцелую.

Неужели она это говорит серьезно? Но он все-таки хочет еще поставить ящик на землю, тогда он убежит.

Тем временем девушка схватила его за голову, сорвала с него остроконечную шляпу... С шумом падает у него из рук ящик со всеми вещами. Его спасает только случай. Как все благочестивые евреи, Давид под шляпой, чтобы ни в коем случае не обнажилась голова, носит черную шелковую ермолку. Когда девушка видит этот второй головной убор, она не может удержаться от смеха. Давид вырывает у нее из рук свою шляпу и убегает.

Он вбегает в кузницу, бросается к кузнецу.

— Где моя корзинка, давайте ее сюда.

— Уже заполнена, уже готова.

Кузнец с большим изумлением оглядывает рассерженного юношу.

— Давайте ее сюда.

Давид приказывает, Давид пылает. Он швыряет монету, вырывает из рук подмастерья тяжелую корзину с железным ломом.

Перед кузницей его поджидает глухонемой слуга, который пришел, чтобы помочь ему. Давид передает ношу и мчится в еврейский город, словно его преследуют по пятам.

VII

Давид всегда боялся греха. А теперь он познал его—этот великий грех.

Все, что было до сих пор, было детской игрой. Запретные книги, которые он читает у Гиршля, искусственно вызванное кровотечение из носа, бунтарские мысли против отца,—все это—детская игра.

У него появилась болезнь, которой он не знал даже при самой ожесточенной учебе—головная боль. До сих пор голова у него была наиболее здоровой частью его тела—неутомимая, настоящая «железная голова», какую должен иметь юноша, изучающий Талмуд. А теперь Давид сидит с утомленной, пылающей головой в своей комнате, в которой с его детства ничего не изменилось. Рядом сидит отец. Как тихо в соседней комнате! Давид все меньше понимает эту тишину, и взор его устремляется на заостренные черепичные крыши, виднеющиеся вдали.

Возможность пойти туда, куда влекли его взоры—на кузницу, на большой двор с ароматными цветами, явилась скорее, нежели он ожидал. Давид не искал этой возможности, считая ее далекой. Если бы она не воз-

никла так неожиданно, он, может быть, стал бы сопротивляться и с мучительной болью отклонил бы ее. Но он не был подготовлен к этому и, прежде чем он успевает опомниться, он, повинувшись матери, уже бодро шагает мимо новых городских ворот...

Все совершается так быстро, что ему не удается даже осознать это.

Никогда так быстро не двигалась его жизнь. Казалось, теперь впервые она пришла в движение.

И, как только он приходит на кузницу, он наталкивается на чужую девушку. Ему не приходится даже идти на двор.

— Я сам соберу лом!—испуганно кричит он, словно спасаясь от преследования, бегом спускается по лестнице в глубокую нишу погреба, расположенную непосредственно под кузницей и соединенную с нею дырою в стене. Туда бросают всякий ненужный хлам. Ему передают свечу. Он с шумом перебирает старые полосы железа, не поднимая головы. Он знает, что девушка преследует его, что она подошла к краю отверстия и смотрит вниз.

Это продолжается некоторое время. Он ничего не соображает и без разбора откладывает в сторону несколько цепей и кусков железа. Теперь он хочет подняться наверх. Но лестница убрана, а девушка наверху дико хохочет.

— Что ты дашь мне, если я тебе помогу взобраться наверх?—издевается она над ним.

Давид делает вид, что он ничего не слышит.

Он снова оборачивается к своим сокровищам. Торопиться ему некуда.

Но он слышит, как подмастерье недовольно кричит:

— Барышня Моника!—и обращает внимание кузнеца на то, что его дочка заигрывает с грязным евреем.

«Моника!» Давид впервые слышит это имя. Значит, Моника—дочь кузнеца. До сих пор он даже не подумал, кто она такая.

— Что ты мне дашь, если я помогу взобраться наверх!—снова кричит она ему, но на этот раз почти со слезами в голосе.

Он рад, что она собирается заплакать. Это дает ему возможность ясно соображать. Впервые за все это долгое время:

— Я недавно помог вам, барышня, даром, но если вы требуете награды, то вот вам два пфеннига и подайте мне лестницу.

— Нет,—тихо говорит она,—вы должны мне дать то же самое, что я обещала вам тогда.

Тем временем он нашел в стене погребка кольцо. Кровь бросается ему в голову. Не задумываясь, он хватается за кольцо и поднимается на мускулах. Он разбил себе колено до крови, ноги в ссадинах, но другая рука уже держится за раму ниши. Еще прыжок—и, шатаясь, он ударяется головой об край стены у самого отверстия дыры... А пока он шатается, его обхватывают две сильных руки, как будто хотят помочь ему встать, но в то время, пока он еще не в состоянии сопротивляться, они на минуту прижимают его к мягкому телу. У него такое ощущение, словно его кладут в пылающую печь. И явственно, хотя и на мгновение, уста горячим дыханием касаются его щеки.

— Я об этом расскажу господину фон-Розмиталь!—сердито кричит подмастерье.

— Что ты расскажешь?

Подмастерье, понурив голову, отходит к стене, а кузнец весело хохочет:

— Какой ты ревнивый жених, Каспар!

— Господин фон-Розмиталь скорее уже может называться моим женихом, чем такой закоптевший Каспар,—кричит девушка.

Тем временем Давид подошел уже к двери, ведущей из кузницы на улицу.

— А где же твой лом?—останавливает его кузнец.

— Уже все готово,—спокойно отвечает вместо него девушка.

Он взглядывает на нее. Ведь это могло быть сказано только с дружескими намерениями; она хочет помочь ему. Значит, раньше она не желала опозорить его? Он с благодарностью смотрит на нее. Из темной кузницы на него светятся ее светло-серые глаза. Теперь она складывает руку трубочкой, она что-то хочет крикнуть ему вдогонку, может быть, ласковое слово. Но он с ужасом видит, как между ее губ вытягивается красный язык.

Заплаканный, приходит он домой, оскорбленный, униженный. Глухого парня, которого мать послала в догонку, он не стал поджидать. Объяснений у него добиться нельзя. На другой день он вообще больше не хочет идти туда.

Он твердо решил больше никогда не думать о злой девушке. Он награждает Монику самыми отвратительными прозвищами и, хотя ему никакого до этого дела нет, он попрекает ее тем, что она обручена, да еще, кажется, сразу с двумя. Ведь это совершенно безразлично, но тем не менее он не может забыть эту взбалмошную уличную девчонку. Да, она—взбалмошная, она—Лилит. Безумная огненная фея: по-пояс человек, а ниже—пылающий огонь. Он ясно почувствовал этот огонь, когда она схватила его и прижала к себе. И, горе ему, он вскоре начинает чувствовать это еще сильнее. Его молодая кровь взбуждена.

Днем он еще в силах сопротивляться царице демонов, но по ночам она стоит у его постели, когда ее прислужница Бат-Хорин держит его, как в оковах, своими костлявыми пальцами. А с нею еще и другая ее прислужница, ведьма, вызывающая позорное бедствие, которого он раньше не знал. «Узрение семени» — «рейат кери» — таково малопонятное название этого бедствия. Когда он лежит бессильный во сне, это чудовище обрушивается на него с трепетным жаром, с нежным поцелуем, едва дотрагивающимся до его щек. Ложится рядом с ним, прижимается к нему так ласково, что ему хочется, чтобы оно никогда не покидало его, а прижималось к нему все сильнее и ближе. И чем больше оно льнет к нему, тем сильнее он себя чувствует, чувствует в себе способность сопротивляться, одержать верх, но в тот момент, когда сила его становится почти невыносимой и готова, как молния, сверкнуть из его тела, — в этот полный блаженства момент он просыпается, леденея от ужаса, и, охваченный отвращением, дрожит и не в силах заснуть до самого утра.

VIII

Несколько недель спустя мать ему говорит:

— Только что была здесь дочь кузнеца, — сказала, чтобы ты пришел сегодня после обеда. Заказанная работа готова.

Шутит мать, что ли? Но она совершенно спокойно, с улыбкой, добавляет:

— Вот как ты стал интересоваться делом. С чего это вдруг?

Давид хочет убежать к отцу в его комнату, где тот сидит за учением. Неужели мать в союзе с его врагами? Но когда она бросает на него ласковый взгляд:

«Какой ты стал приткий», ему становится ясно, что она сама стала жертвой обмана. Ее обмануло это хитрое, злое дитя, которое заманивает его на кузницу, чтобы снова сыграть с ним злую шутку.

— Хорошо, я пойду.

Ему стыдно говорить об этой хитрости и обо всем, что ей предшествовало. В сущности, следовало бы раскрыть перед матерью всю эту ложь. Но ему уже некогда. И он старается успокоить себя: ведь не я же все это затеял.

— Ты пойди в кузницу «У лягушки на болоте»,— говорит ему мать вдогонку.

Так, значит, она все-таки шутит! Правда, мать ведет дело с несколькими кузнецами. Но разве можно сомневаться, о ком идет речь?

Но стоило ему только двинуться в путь на свидание с коварной дочерью кузнеца, пройти несколько переулков от дома, как он почувствовал, что его ничто уже не может задержать в пути, и на душе у него стало легко и весело.

Падает легкий и теплый дождь. Может быть, это дождь гонит его так, что он еле переводит дыхание. Ему хочется скорей обсушиться где-нибудь под кровом. Улицы за воротами гетто пустынные,—они сегодня еще чище подметены, чем всегда. Лавки закрыты. Кое-где расфранченные люди забегают под деревья, чтобы укрыться от дождя. Деревья аллеями расположены вокруг площади старого города. Всюду раздается смех, пестрят яркие одежды с разрезами и фижмами. Сегодня воскресенье—день отдыха у христиан.

Большие ворота на кузнице также закрыты. На мгновение его охватывает разочарование. Но в это время в верхнем этаже приотворяется окошко, в которое кто-то смотрел. Это она сама.

— Я сейчас открою.

Моника впускает его в кузницу, которая совершенно пуста.

— Никого нет?—задает он глупый вопрос.

Девушка молча идет по двору. Ему остается только следовать за нею. К кому обратиться? Всюду кругом молчание, тишина. Неужели это тот же самый дом, тот же двор? В этом безмолвии все кажется иным, чем в шумные будни.

Под серым небом шевелятся от дождя деревья, покрытые, словно каплями, маленькими зелеными почками. Одно дерево уже все в белых цветах.

— Эта лестница ведет в мою комнату. Она как раз над кузницей.—Девушка указывает на витую лестницу.— Я провожу обыкновенно все время днем и ночью здесь. А теперь мы пойдем в другое здание—там мы все обедаем и живем. Только сегодня отец и мать ушли на церковный праздник в Порич, в деревню, и оба подмастерья пошли с ними.

Давид пересекает двор вслед за болтающей девушкой.

Почему она стала вдруг так болтлива, а раньше не ответила на его вопрос? Это один из ее секретов: иногда она почему-то так странно умолкает и только потом, некоторое время спустя, когда ей вздумается, отвечает на вопрос. Так было и при первой их встрече.

Он вспоминает об этом. И вдруг ему начинает казаться, что он уже знает ее очень давно и бесчисленное множество раз говорил с нею о самых важных предметах. Это смущает его, потому что в то же самое время она кажется ему какой-то чуждой. Она непонятна ему—и вместе с тем вот сейчас, например, она очень приветлива. В комнатке она усаживает его за стол у очага, в котором разводит огонь, со словами:

— Скверная сегодня погода.

Она подает на стол хлеб и масло. Он отказывается.

— Я могу у вас есть только яйца,—робко говорит он, не желая ее обидеть.

Но она снова оставляет его слова без внимания. Она, повидимому, совсем не собирается во что бы то ни стало угощать его. С напряженным ожиданием смотрит она ему в лицо. Еду она подала только потому, что так делает ее мать, из подражания старшим. Дитя! Но нет, она совсем не ребенок, почему она кажется ему ребенком? Правда, на лице у нее детская улыбка с четким рядом зубов под полными изогнутыми губами. И личико у нее такое маленькое и узенькое, какое он видел только у детей. У матери его тоже такое маленькое лицо, только оно сморщено от старости. Но ростом девушка выше его на голову. И какой она кажется ему стройной и тонкой, когда она приносит из угла комнаты два кувшина и ставит их на пол около стола.

— Вот твои кувшины,—говорит она. И снова ждет, так как он не произносит ни слова.

Слышен треск поленьев в печи. И другой, более слабый звук. Это дождь стучит в окно.

Девушка одета по-праздничному. Волосы у нее сегодня не распущены, а спрятаны под белым чепцом с золотой тесьмой. Только у ушей видны блестящие шелковые пряди туго заплетенных кос. Он задумчиво смотрит на ее белую шею, изящный платочек на груди.

Может быть, она заметила, что он стыдится своего грубого плаща. Она играет пальчиками по желтому кружочку, что у него на плече:

— Ты совсем промок, сними плащ.

Он закутывается плотнее.

— Ну, так возьми, по крайней мере, свои кувшины.

Он все еще боится, что она сыграет с ним какую-нибудь шутку, и боится также рассердить ее своими

постоянными отказами. Поэтому он и не расспрашивает, в чем дело с этими кувшинами. Сейчас он даже не совсем уверен, что он их заказывал. Главное, он боится рассердить ее. Поэтому он придвигает ногою кувшины ближе к себе, словно об этом не стоит говорить даже.

— Ну, как, доволен ты?—спрашивает Моника совершенно естественным тоном.

Его бросает в жар от ее упорства и лжи.

— Доволен ты работой?—Она обернулась к нему и выражение лица у нее ласковое,—незаметно, чтобы она издевалась над ним.

У него такое ощущение, точно его поймали, уличили в уговоре с ней. Но он ни за что не хочет отказаться от этого безмолвного уговора—хотя и стыдится, так стыдится, что даже не может говорить. Глаза его теплятся благодарностью, которая давит его, не позволяет ему поднять глаз.

— А я недовольна тобой,—продолжает девушка легкомысленным тоном.—Ты остался мне должен. Во-первых, два поцелуя.

— Два?—вырывается у него.

— Значит, об одном ты знаешь?—Это тот, который ты не принял, когда открыл мне замок и принес ящик.

Ему передается ее веселый тон. Вдруг все начинает казаться не таким опасным.

— Нет,—говорит он,—уже если кто остался должен этот поцелуй, так это ты, а не я.

— Это все равно. Если женщина остается должна поцелуи, значит мужчина упустил их. А потом тут еще есть второй поцелуй, насчет которого не может быть никакого спора. Я должна была его получить от тебя, когда помогла тебе вылезть из подвала. Помнишь? А вместо того я тебе его дала и ты даже не принял его. Значит, ты мне должен еще этот второй поцелуй.

«Как это все туманно—очень сложный казус»,—мелькает у него насмешливая мысль. Никогда ему не приходило в голову, что о такой шалости, как поцелуй, можно размышлять и говорить с таким же глубокомыслием, как о каком-нибудь изречении в Талмуде. А ведь по этой части он силен.

Девушка перенесла борьбу в такую область, где он сильнее ее. И вдруг он чувствует, что он в состоянии справиться с ней. В сознании, что она ничего не может ему сделать, он даже решается на ироническое замечание:

— Во всяком случае, речь может идти только об одном поцелуе.

— Почему?

— Потому что все поцелуи одинаковы.

И гордый своим превосходством, он смело и спокойно рассказывает ей историю о бедняке, который принес сыну своему одну вишенку и сказал: «Все остальные имеют такой же вкус». Он рассказывает так, как рассказывают у него дома. Весело покачивая головой, нараспев и растопырив пальцы: это подчеркивает острые словечки.

Когда он кончает свой рассказ, она щелкает его по носу.

«Вот тебе и похвала»,—с изумлением думает он. Дома говорят обыкновенно в таких случаях «очень хорошо» или, что является еще лучшим знаком одобрения, сейчас же рассказывают другую подобного рода историю.

А эта дикая девчонка просто сует ему под нос два пальца—два ужасных пальца с когтями.

— Насчет вишен,—смеется она,—это, может быть, и так, но с поцелуями дело обстоит иначе, и это я тебе сейчас докажу.

— Каким образом?—неосторожно говорит он.

— Вот, например, первый поцелуй, который ты остался должен.

Она обхватила его. Он терпеливо принимает это как

урож., Да, вот так целует мать вечером, когда он ложится спать.

— А вот второй поцелуй.

Он такой неожиданный, что Давид почти теряет сознание. Этому второму поцелую нет конца. Все тело ее устремилось к нему и целует его. Она сидит у него на коленях, прижалась к груди. Ему кажется, что она растекается по его лбу, по щекам. Нет возможности уйти от ее дыхания, которое, как аромат цветов, сливается с его собственным. И лицо ее вдруг стало таким бледным, торжественным, серьезным. Он едва узнает ее, когда она, наконец, отводит губы от его рта и снова начинает осыпать его бесчисленными поцелуями.

— Тебя лихорадит,—шепчет она ему в ухо,—ты дрожишь от холода. Подойди ближе ко мне!

Он уже не может, не хочет бежать. Он совсем обесилел. На глазах его выступили слезы, которые она стирает быстрыми поцелуями. Слезы снова появляются, и снова она их снимает своими поцелуями, словно прикладывает лекарство.

В течение нескольких минут она не произносит ни слова.

И вдруг, продолжая сидеть у него на коленях, она ударяет острым носком башмачка по кувшинам и говорит:

— Я выбрала кувшины, чтобы тебе не тяжело было нести.

Вот их молчаливый уговор!

У нее нет злых замыслов против него, слова ее звучат так тихо и так мелодично, как песня, которую она пела, когда он увидел ее в первый раз. У нее нет никаких дурных мыслей. Она подумала даже о том, чтобы ему не пришлось нести тяжелой ноши, если ее умно задуманный план увенчается успехом.

— Ты хорошая,—тихо говорит он. Он перестал бояться ее, впервые он отвечает на пожатие ее руки, которой она его обнимает. Он целует полуоткрытые мягкие губы, которые она ему подносит.

«Неужели я попался в западню? Вот сейчас она засмеется».—Но она не смеется. И он уже не думает, что она может засмеяться. Когда впервые их губы встречаются добровольно, они сливаются в первый настоящий поцелуй, первый, который требует больше, чем может дать, указывает путь пылкой крови.

— Что ты делаешь, Моника?

— Снимаю с тебя плащ, лихорадку.

И снова ее загадочное молчание, которое он не может понять.

Но это уже не коварное молчание, а мудрое и кроткое. Против кротости ее он так же бессилен, как и против того видения, которое посещает его во сне все эти ночи. Оно похоже на Монику, только чересчур суетливо и не такое прекрасное, серьезное и святое, как она.

IX

Грех был чудовищен. Сколько он ни пытался в последующие дни, он не в состоянии был охватить его пределов. Грех был так огромен, как его счастье, и столь же многообразен, как это счастье. Клубок счастья и клубок грехов. О существовании некоторых из них он только догадывался, потому что никогда не слышал о них, несмотря на тщательное изучение своих собственных грехов. За то, что он утратил собственную чистоту, он заслуживал наказания. Это он знал. Но за то, что он посягнул на чистоту другого существа, он заслуживал проклятия. Еще ребенком он изучал трактаты о браке и разводе, разбирал самые сложные случаи, совершенно

не понимая сути того, о чем там говорилось. Но во всяком случае в этих пределах он понимал свои ошибки. Но к кому ему было обратиться за советом, когда он задавал себе вопрос, в какой мере порочно любить христианку? Не только спать с нею, но любить, вопреки всем законам и обычаям, любить, как любит жених невесту, благородной страстью, которую нельзя утолить иначе как длительной связью. И это невзирая на то, что ее нельзя было назвать своей невестой и притом не столько по еврейскому закону, сколько еще больше по законам страны. Мудрецы совсем не предусмотрели такого случая. Он был настолько исключительным, невозможным, что никто не подумал привести его хотя бы в виде учебного примера.

Но странно, чем больше казался Давиду его грех, тем меньше он его мучил. Словно он был слишком велик, чтобы можно было его почувствовать. Ему казалось, что он должен испытывать угрызения совести и что угрызения эти должны быть жгучими, невыносимыми. Но их не было! Он не понимал этого, возмущался их отсутствием. Но ничего не помогало. Факт остается фактом. Это была новая загадка в дополнение ко всему непостижимому, что внесла в его жизнь Моника.

Они не могли встречаться иначе как по вечерам на берегу Молдавы, у рыбацких хижин. Здесь можно было, по крайней мере, поболтать некоторое время, не опасаясь, что дома заметят его отсутствие или что прохожие увидят их и начнут кричать, что еврей заигрывает с христианкой.

— Нельзя ли мне снова притти к тебе?

— Невозможно.

— Вот так, как тогда?

— Но ведь тогда был церковный праздник, это бывает раз в году, глупенький.

— Так, значит, ты выбрала как раз этот день?

— А ты сердишься на меня за это?

— Моника!

Она любила, когда он смотрел на нее жалобными глазами. Она называла их верными песьими глазами, и чем грустней они смотрели, тем нежнее она их ласкала.

— Неужели ты не понимаешь, что я рада была бы снова быть твоей—совсем твоей.

Он пугался, когда она открыто называла вещи своими именами. Ему было непонятно, почему она совсем не стеснялась! Это очаровывало его и в то же время заставляло особенно остро сознавать свой грех.

В те короткие мгновения, которые они проводили, сидя обнявшись на берегу реки, перед наступлением сумерок, она иногда рассказывала о своем детстве, о своем отце, который был родом из Франконии. Уже несколько раз было близко к тому, чтобы его изгнали из Праги из-за религиозных распрей; как немец он остался добрым католиком и не хотел ничего знать о новой форме причастия с чашей. Но с тех пор как город и окрестности успокоились под властью польского принца, который был католиком, дела отца пошли лучше. Придворные бывают теперь у отца,—особенно усердно посещает его сам бургграф, который подковыывает у него в кузнице всех своих лошадей и заказывает ему оружие, при чем постоянно заигрывает с красоткой Моникой.

— А отец это терпит?

— Он дорожит хорошими заказчиками.

— А ты?

— Я прошу графа фон-Розмиталя приходить к нам когда ему угодно. Он красивый господин. И он отваживает от меня Каспара, который втюрился в меня, как дьявол.

— А отец все это видит и не запрещает?

— Отец! Да он только смеется, когда они безобразничают.

Еще раньше чем он успевает уяснить себе это, закрываются ворота в городской стене, которая тянется по берегу Молдавы вокруг гетто. Ему нужно пройти в ворота, прежде чем стемнеет. А Моника должна особенно спешить, потому что ей нужно пробежать через всю еврейскую улицу и выйти в старые ворота на противоположном конце.

Однажды она ему рассказывает случай, который она сама называет началом всех ужасов ее жизни. Она впервые говорит таким тоном обвинения.

Слышал ли он что-нибудь о гильдии молодых живописцев в Праге? О необузданных художниках, которые собираются у мастера Матвея Райзека, бакалавра школы Тейна и строителя новых ворот? Все они хорошие рисовальщики и резчики по камню, но и большие повесы, особенно те, что рисуют на полотнах не святых, а разных языческих богов и богинь по итальянскому образцу. Один такой чужестранец, родом из Ломбардии, очень важный, в длинном бархатном плаще, пришел однажды к ее отцу и попросил отпустить ее на службу к нему. У отца дела тогда были очень плохи. И он отдал ее на службу важному иностранцу, разумеется, на честную службу. Ни о чем другом не было и речи, хотя ей, несмотря на ее молодые годы, сразу показалось странным, что чужеземец слишком внимательно осматривал ее фигуру и шепнул своему спутнику что-то вроде похвалы ее «божественному телу».

— А сколько лет тебе было тогда?

— Пятнадцать.

Давид соображает, что она, пожалуй, старше его, потому что она говорит об этом, как о чем-то давно

минувшем. А тем временем она продолжает рассказ о том, как она прослужила несколько дней в доме господина Бальбо, как сначала все шло по-хорошему. Она носила воду, помогала кухарке, прибирала комнаты, словом, делала все, что полагается прислуге. Но однажды вечером она еще за ужином почувствовала, что к пище примешан какой-то дурман. Страшно сонная, и в предчувствии чего-то плохого, она улеглась в постель. А потом настало ужасное пробуждение.

— Какое пробуждение, Моника?

Она запинаясь. Не упрямство мешает ей окончить рассказ. Она бледнеет, закусывает верхнюю губу. Давид упрощает ее. Все, что говорится только намеками, кажется ему ужасным, усиливает в нем страх, который его никогда окончательно не покидает. Наконец, она уступает его настояниям:

— Я проснулась на постели, которая была покрыта черным бархатом, таким же черным и тяжелым, как тот, из которого был сделан плащ моего хозяина. Я лежала привязанная—и вся нагая, даже без рубашки. А вокруг меня, при свете множества ламп, сидели мужчины, молодые и старые, пред каждым стоял стонок, и все рисовали меня. Они не заметили даже, что я уже проснулась, потому что сначала я не могла произнести ни слова, точно мне залепили рот глиной. Вот эту минуту я не могу забыть: как они рисовали меня и как глаза их, двадцать или сорок глаз, ходили по мне, жадные, холодные, как хищники. Глаза у них были такие напряженные, широко раскрытые и в то же время усталые, словно они нагляделись на меня досыта, до пресыщения.

— А потом?

— Наконец, я могла закричать, стала дергать обручи, которыми были прикреплены мои руки и ноги.

— Ну, и что тогда?

— Тогда все они так скверно захохотали.

Больше Давиду не удастся ничего узнать, сколько он ни расспрашивал. Обидели ли ее, убежала ли она, осталась ли она после служить? На все эти вопросы она не отвечает. Она плачет, склоняясь к его плечу, и руки ее, которые он держит в своих руках, дрожат. И, сочувствуя ей, он видит себя на ее месте, на ложе пыток, обнаженным при ярком свете, и в то время как его тело ощупывают холодные паучие глаза, он почти физически ощущает, как при этом в глубине ее сердца что-то треснуло, чего нельзя поправить. Сколько может вырасти из такой трещины в сердце! Может быть, потому она и захотела завладеть им, потому бросилась на его стыдливую грудь, что грубые люди поранили ее стыдливость. И он готов окутать ее раннее чувство всей своей жизнью, своим тихим нетронутым прошлым.

Для него остается загадкой, как она может перестать плакать, словно проснуться от слез. Она взглядывает на него ясными светлыми глазами:

— Говорят, что в Италии в этом не видят ничего необыкновенного.

— В чем именно?

— Да вот в том, что рассматривают раздетых женщин, изучают их телосложение, рисуют их. Даже очень порядочные женщины не стесняются показывать свое тело художникам.

— Кто это сказал тебе? Может быть, господин Бальбо?

— Он и господин фон-Розмитель. Но у нас это было тогда непривычно и ново. Так осталось и по сие время. Потому что мы—варвары.

— Потому, что варвары?

Давид чувствует, что книги, которые он читал у Гиршля, не в состоянии помочь ему. В действительности все происходит иначе. Он читал латинские стихотворения, посвященные знаменитым художникам и скульпторам, он знает, что эта странная порода людей «любит красоту». Но что это делается именно таким образом и что Моника имеет какое-то отношение к красоте, этого он не знал. Но разве он не знал, что она красива? Ах, что он знал вообще до этого времени!

О бургграфе, например, он знал, что тот требует именем короля много денег у евреев, и что его приходится уговаривать, и что он собирается прогнать нас, если мы не будем платить. И это тот самый бургграф, который подковывает своих лошадей в кузнице «У лягушки на болоте», который ведет с Моникой шуточные разговоры об итальянских нравах. Несколько недель тому назад ему не пришло бы и в голову, что он может расспрашивать об этом бургграфе совершенно по-иному, без страха, но с лихорадочной злобой.

Он крепко жмет руку Монике:

— Что общего у господина фон-Розмиталя с господином Бальбо? Чего они от тебя добиваются? Скажи!

И она, которая только что искала у него поддержки, становится господином положения. Серые глаза светятся как бы отблеском ее ноготков.

— Добиваются того же, чего и все мужчины.

— Моника, скажи еще что-нибудь, прошу тебя, только не молчи.

— Он приглашает меня к себе в гости, в замок на Градшине.

— И ты была там?

— Да.

— Часто?

— Да.

— И ты любишь его?

— Глупенький мальчик,—ласково говорит она,—лучше бы ты думал о том, как ты был у меня в гостях. Я знаю дверцу в городской стене, как раз под башней в нашем дворе. У отца есть ключ от нее, но он хорошо хранит его.

Она раскрывает руку, и на ладони у нее ключ.

— Ты откроешь ночью ворота в городской стене?

Она недовольно качает головою и делает несколько шагов вперед.

Огромный еврей-привратник, сумасшедший Герзон, стоит у воды, смотрит на ребятишек, пускающих плоские камни по воде, так что они несколько раз подпрыгивают. Он бормочет по древне-еврейски: «Рукоятка копья его как ткацкий станок, а острие копья его—шестьсот шекелей железа».

— Ты понимаешь, что он говорит?—спрашивает Моника Давида.

— Нет,—грустно отвечает он. Каким чуждым стало все это для него.

— У тебя есть ключ от этих ворот?—кричит Моника старику. Страха она не знает. Она готова заговорить со всяким и вести беседу о чем угодно. У Давида, волнуемого страхом, все вопросы, на которые он не получил ответа, остаются в сердце, как осколки стекла. Молча стоит он рядом с Моникой.

Но огромный Герзон не позволяет шутить с собой. Бледное лицо с взлохмаченными красными волосами поворачивается к девушке:

— Пращой и камнем, вот таким камнем, как бросают эти мальчишки, побил он филистимлян.

Давид подбежал и оттолкнул от Моник великана.

— Спасибо!—кивает она ему головой, хотя не без насмешки.—Я совсем не знала, что ты можешь быть таким храбрым.

И вдруг она заторопилась уходить, не может даже сказать, когда придет снова. Он это узнает из письма, которое она спрячет на берегу под камнем. Она так делала уже не раз, но теперь это говорится в каком-то ином тоне. Так не раз уже бывало. Прогулки, на которых они, казалось, сближались совсем тесно, заканчивались в плохом настроении, взаимным отчуждением. Даже при прощальном поцелуе она играет с ним и быстро отнимает губы.

Она оставляет его испуганным и беспомощным.

Как тяжело ему в одиночестве. Единственное, чем он может заниматься, это писанием ей писем. Если он только не читает поэмы, как христианин Орlando полюбил прекрасную язычницу Ангелику. Разве это не тот же грех, что влечет его к прекрасной христианке? В сладкозвучных стихах он постоянно находит себя, свою страсть, свою гибель. Эти стихи у него на устах, когда он вечером пробирается к берегу и прячет под камнем письмо, предназначенное для Моники. Возвратившись домой, он лежит без сна и твердит свое письмо.

Давид переживает первую весну. Впервые в жизни он замечает сонмище мелких светящихся искр на темных ветвях: это пробиваются почки. Беспокойно бродит он среди памятников на кладбище,—все свое свободное время он проводит в этом единственном месте в стенах еврейского гетто, где растет зелень. Кладбище—«еврейский сад», как его называют, единственный сад, который мы имеем. Своей сиренью и жасмином он напоминает ему двор Моники. Давид чувствует там, на кладбище легкое прикосновение весны и с ужасом замечает, какая бесконечная сила в этом прикосновении.

Это словно рука Моники: она гладит, но если сопротивляться—она поставит на колени.

За эти несколько недель страсть научила Давида многому такому, что раньше оставалось для него скрытым. Он еще не знает, как много ему надо учиться. Но муки любви уже делают свое дело. Они изощряют его взор.

Х

Он совсем извелся от любовных мук. Моника не приходит три дня под-ряд. Напрасно ждал он ее каждый вечер у рыбацкой хижины. А письма под камнем у дерева лежат нетронутыми, издевательски пялят на него глаза.

Он не знает, что делать, не знает, как пробраться к ней.

На берегу шумят мальчишки. Рыжий Герзон постоянно выходит из своей башни, бранит их, бормочет что-то непонятное. Давид заговаривает с ним только потому, что Моника тоже говорила с ним. О чем, собственно? Он уже не помнит. Наконец, на четвертый вечер, когда его охватывает полное отчаяние, он вспоминает. Она спросила сумасшедшего привратника, есть ли у него ключ от ворот. И незадолго до того она сказала, что достала себе ключ от двери в стене христианского города.

Она не потребовала от Давида, чтобы он достал другой ключ у Герзона, но уж такая у нее манера—не говорить всего и не говорить до конца. И к тому же—разве это требование не разумелось само собой?

Чем больше он обдумывал ее слова, тем очевиднее становилось ему ее желание. А теперь она, милая, сердится. Перед тем, может быть, три ночи под-ряд прождала у своей стены. Будет ли она ждать и сегодня?

И с гневом он подумал, как поздно ему пришел в голову самый простой, самый естественный вывод. Да, очень поздно. Для него не было сомнений, что сегодня он должен идти на-авось, как бы в наказание себе. Он охотно подчинялся этой неизвестности, ощущая ее как некоторую таинственную связь, соединявшую его с Моникой, с ее миром. И все-таки это угнетало его. Он привык с шумом, с жестикуляцией указывать то, что считает необходимым сделать, и точно так же поступал его учитель Гиршль, да и большинство людей, которых он знал. Моника—та молчала. У нее была решимость к действию, а речь оставалась смутной. Мы страдаем другой ошибкой. Мы сильны в речах и путаемся в поступках. Моника промолчала, дала ему почувствовать свое презрение, хмуро кивнула головой на прощанье и больше не пришла. Теперь он сразу все понял. Моника предпочла бы откусить себе язык, она могла молчать, могла только намекнуть. По его догадке она хотела почувствовать, как сильно его влечение к ней.

В эту же ночь он пробрался из родительского дома в башню Герзона. Вспыхивали зарницы. Горы на другом берегу Молдавы на мгновение выступали на фоне темного неба. Давид подымается по узкой лестнице, твердыми шагами входит в башню.

Великан еще не спит, он сидит за работой у стола. Свеча горит. Разве тут не то же самое, что и во всех еврейских комнатах в этот час? Евреи сидят за учением. Светло-голубые глаза привратника останавливают на нем беспокойный взгляд. Кажется, что эти глаза не имеют точки опоры. Они расплываются, погасают, словно их постоянно заливают потоки слез. Нельзя даже сказать, что они смотрят на человека. Их лучи останавливаются на некотором расстоянии от лица: они не в силах прорезать воздух. Эти глаза безоружны,

как рот с его беззубой челюстью. Они с грустью устремляются на просителя.

— Отец велел вам сказать,—запинаясь, говорит Давид,—мой отец, городской староста Симсон Лемель, велел вам передать мне ключ от городских ворот.

— Ключ?

— Да, ключ от ворот. Я принесу вам его обратно через час или через два, как только исполню свое тайное поручение на том берегу, в малом городе.

— Единственный ключ от ворот! Я могу отдать его только по требованию самого старшины.

Давид приготовился к этому возражению. Вечером он незаметно расспросил отца насчет ворот в гетто. Забывание стенами гетто входит в число специальных обязанностей отца.

— Неверно,—обрывает он старика,—это не единственный ключ. Для всех ворот, даже самых второстепенных, имеются четыре ключа, и три из них хранятся у членов магистрата и шефенов старого города. А у нас только один.

— Только один у нас,—и огромная голова привратника уныло опускается на спинку кресла. Он закрывает лицо руками, словно от стыда.—Ключ вон там, на стене, возьми его.

Давид хватается за ключ. Он не думал, что это обойдется так легко. Ему, таким образом, совсем нет надобности развивать дальше свою мысль, что, в случае какой-нибудь крайности, например, пожара, если потребуются открыть как раз эти ворота, выходящие к Молдаве, то можно будет выйти из города через какие-нибудь другие ворота и взять у христианских властей ключ к береговым воротам.

Но именно то обстоятельство, что он не встретил никакого сопротивления, ставит его втупик. Его воз-

мушает та легкость, с которой любой человек с улицы может выманить ключ у этого глупца. Вот как нас охраняют! Слабоумному старику вверяется жизнь и достояние еврейских граждан! Давид неоднократно слышал, сколько трудов и жертв положил еврейский совет на то, чтобы добиться от правительства разрешения обнести гетто стеною для защиты от постоянных грабежей. Преданные люди не побоялись предпринимать далекие путешествия к королю в Венгрию, отдали половину своего состояния, и даже больше, для того, чтобы заручиться поддержкой при дворе. В течение многих лет вся энергия, все старания были направлены на осуществление этого предприятия, которое казалось невозможным. Наконец, при всеобщем ликовании, была начата и закончена постройка. А вот теперь результаты! Что это за страсть, которая вспыхивает, как солома, а в последний момент ослабевает и предает то дело, которому она служит! И разве не бросает это тень также на отца? Давид отчетливо припоминает, как много лет тому назад рыжий Герзон пришел к его отцу в лохмотьях, как уличный бродяга. Никто в общине не знал пришельца. Он попросил разрешения поговорить наедине с Симсоном Лемелем, и отец, который сначала относился к нему отрицательно, как и все остальные члены совета, после этого разговора, казалось, совершенно переродился. С сияющими глазами вышел он из комнаты и заявил, что принимает полное ручательство за пришельца, который не по своей вине впал в жестокую нищету, и который теперь ему всецело доверился. Тогда согласились разрешить Герзону поселиться в общине. Его происхождение и его судьба попрежнему остались для всех неизвестными. Только отец иногда принимал его у себя и, наконец, назначил его на одну из должностей, которыми он распоряжался.

Отец был чрезвычайно добросовестен и, несмотря на свой преклонный возраст, от поры до времени совершал ночные обходы, проверяя ворота. Эти ночные обходы внушали в детстве Давиду страх и уважение к властной фигуре отца. Отец не всегда сидел за книгами. Иногда он, как командир, проверял пароли у сторожевых постов. Неужели Герзон не внушал ему никакого подозрения? Как грустно, что теперь обнаружилась его ошибка.

На мгновение Давида охватывает желание шзырнуть ключ и крикнуть недобросовестному старику, что он хотел только его испытать.

А Герзон тем временем снова принялся за свое дело.

Давид хочет злобно наброситься на него. Чем занимается этот старик? Он не читает и не пишет, в комнате нет вообще никаких книг, она совсем голая, не напоминает комнаты других евреев в городе. А старик Герзон, с детски испуганным выражением лица смотрит пристально на лист бумаги, на котором тонкой кистью набрасывает пеструю картину. Это та же самая картина, которой увешаны все стены. Она всюду одна и та же. Давид хорошо ее знает. Она висит на восточной стене каждого еврейского дома и изображает развалины иерусалимского храма. Здесь целый склад таких развалин. На каждой картине можно видеть тот же самый разрушающийся угол стены, нарисованный желтым и красным, рядом стоят пальмы, и красные лисицы, вроде той, которую сейчас рисует старик, бегают среди груд камней.

— Мы не должны воображать,— бормочет сторож, не поднимая глаз и продолжая работать,— мы не должны воображать, будто у нас есть свой собственный город, окруженный стеной и валом. Все это дано нам только на время, и очень мудро поступают шефены пражских

городов, что они не позволяют нам забывать об этом. Они, благочестивые люди, заботятся о нашем спасении, заботятся о том, чтобы мы не забыли своего позора.

— О каком позоре вы говорите?—спрашивает Давид и невольно подходит ближе.

Старик откладывает свою работу в сторону.

— Вы правы, четыре ключа имеются для каждого ворот, но три из них шефены оставили у себя для того, чтобы мы, жалкие евреи, не вообразили, что мы сами себе господа. Нам открывают ворота и запирают их по усмотрению сильных мира. Возьми ключ, дитя мое, возьми его. Я до сих пор был все еще слишком горд, я гордился этим ключом, воображая, что я такой же привратник, как и привратники других народов в их крепостях.

Великан поднялся. Он достигает головою почти до потолка, плащ, соскользнувший с его рук, покрывает большими складками кресло и стол. Под плащом рубашка из серой грубой мешочной ткани, какие носят кающиеся грешники. Ворот ее открыт и обнажает широкую грудь, покрытую рыжими волосами.

— Я был горд, слишком горд, как евреи в Вормсе, к которым остатки святой общины в Иерусалиме обратились с предложением: «Мы слышали о ваших муках, пуститесь в путь и приезжайте к нам в святую землю». А евреи из Вормса им ответили: «Вам неправильно передали. Мы ни в чем не терпим недостатка, и король нас очень уважает. Оставайтесь жить в вашем малом Иерусалиме, а мы останемся в нашем большом». Так ответили они. А на следующий год все погибли из-за своего высокомерия от мечей крестоносцев. Позор каждому из нас, кто забывает наш позор. Ребенок должен был притти и напомнить мне, что любой младенец может отнять у меня ключ!

И старик снова садится к столу и плачет.

Давид уже на лестнице. Он крепко прижимает ключ к груди.

Вдогонку ему раздается вопль старика: «Доколе, господи, доколе?»

XI

— Дотоле, пока мы будем трусами,—бормочет Давид, отвязывая лодку на берегу и садясь в нее. Он еще никогда не пробовал грести, и вдруг сразу постигает искусство гребли. «До тех пор, пока мы будем трусами, не может притти к нам избавление. Пока у нас будет только желчь, а не когти».

Огромное черное небо свисает над ним. Зарницы и отдаленный гром не прекращаются, несколько капель дождя падают ему на лоб, от резких порывов ветра течение на реке усилилось. Свобода, свобода! Ах, может быть, потому и учили его бояться, как ночных призраков, Бат-Хорин—дщери свободы, потому что свобода так прекрасна, потому что вкусивший ее уже ни за что не согласится ее променять на что-нибудь иное.

И он вспоминает фразу, смысл которой не раскрылся ему в то серое зимнее утро, в день его детства, и которая до сих пор постоянно от поры до времени снова мучит его: «Ты должен любить всевечного господа твоего также и дурным побуждением».

Однажды он уже был близок к постижению—в тот самый день, когда он читал в книгах у Гиршля о путешественниках, открывших новые страны. Потом гнев отца все заглушил. Дверца захлопнулась. Теперь он снова ее видит, видит озаренную светом... Может быть, корень всего зла именно в том, что мы не служим всевечному злым побуждением, не поступаем так, как

другие народы, как буйные путешественники, открывающие новые страны, как упорные защитники крепостей, как смелые завоеватели! Может быть, все наши бедствия происходят от того, что мы, евреи, грешим слишком мало!

«И при этом мы все-таки не спасаемся от греха. Гиршль добродетелен и самоотвержен, но его добродетель, его самоотвержение незаметно для него выливаются в бесконечное множество подлостей. А этот старый привратник! Как верно хранит он в своей душе наше горе, как во всем он видит отражение нашего позора. От мальчиков, швыряющих камни в воду, он требует, чтобы они одолели Голиафа, а я, с моей явной ложью, кажусь ему провозвестником божьего страшного суда. У другого, более благочестивого народа он, может быть, стал бы великим поэтом, так же, как Гиршль стал бы гуманистом, блестящим ритором или актером. Но у нас все выходит плохо. Голодный Учитель ведет презренную жизнь, а верный привратник нарушает свой долг.

«Почему я высокомерно ставлю себя выше других? Из-за Моники? Разве есть у Моники такая мудрость, которую мы забыли, которая начинает светить мне одному? На ее челе свежесть великих морских путешествий. Ее вспыхивающий взор напоминает воинственную высадку на далеком континенте, в ее объятиях я почувствовал освободительную ширь земного шара, то, что чувствуют все народы этого века. Только в наше мрачное гетто не проникает это чувство».

Он опускает весла и хватается за голову. Впервые его пугает ужасная мысль, что, может быть, он избран для чего-то неслыханного, что в одно и то же время будет бесконечно возвышенным и бесконечно низким. Чем-то таким, чего никто до него не пытался и даже не помышлял сделать.

Давно уже пора вырвать лодку из течения и вернуть ее к берегу. Он уже поднялся к городскому рву, отделяющему старый город от нового. У этого рва расположена стена, за которой находится двор кузницы.

Одним движением весел он повернул лодку в канал. Направо и налево вдоль узкого канала стены и неосвещенные молчаливые дома. «Хорошо, что я перестал отрезать себе ногти так коротко, как раньше,—думает Давид.—Этому я тоже научился у Моники. Без ногтей я не мог бы так сильно грести. Все мы не в состоянии ни за что ухватиться своими бессильными пальцами. Только желчь у нас, а когтей нет. Мы не хотели быть хищными зверьми и стали рабами.

«В нас сидит враг, который шепчет: «Не для тебя, не для тебя, а только для других, которые свободны и счастливы. Тебе это досталось однажды, единый раз—но это было неправильно, теперь ты должен ждать, долго ждать, по всей вероятности, всю свою жизнь, и то напрасно». Так нам говорят в течение столетий. И под конец мы этому поверили. Горе запугало нас и научило довольствоваться малым».

Все это миновало! Сомнения разлетелись!

Проливной дождь заливает лодку, опускает борт ее до уровня воды. Нужно пристать к берегу, иначе лодка сейчас же пойдет ко дну.

Молния озаряет маленький полуостров у стен. С трудом ему удастся пристать. Здесь лежит, словно заранее приготовленный, маленький плот. Ему остается только столкнуть его в воду. Он подталкивает его длинным шестом. Это делает меньше шуму, чем движение лодки. Разразившаяся буря тоже приходит ему на помощь. Иначе, пожалуй, кто-нибудь из граждан, которые не слишком крепко спят, мог бы заметить, что кто-то объезжает вал в такое необычное время. Но никто не

замечает. Судьба хранит тех, кто доверяется ей. «И вот я незаметно крадусь вокруг вражеского города. На стенах нет сторожей. Я беру стены штурмом, и прекрасная девушка достается мне в добычу».

Вода становится мелкой. Плот наталкивается на камень. Городской ров лежит в полном запустении между обоими мирными пражскими городами. Уже много лет как прекратилась имперская распря и война с Венгрией. Врага больше не боятся.

«Обо мне они не подумали»,—смеется Давид и бежит по высохшей ложбине. Теперь он узнал башенку на кузнице.

Маленькая железная дверь. Она ведет в погреб и расположена невысоко над рвом. В три прыжка он добирается до нее, и вдруг сердце у него сжимается: а что, если дверь закрыта! Тогда вся затея была понапрасну.

Он трогает—дверь закрыта. Моника его больше не ждет.

Но сейчас же он начинает себя упрекать: к чему эти прежние страхи. Он дергает дверь сильнее. Оказывается, что она только чуть-чуть прикрыта.

Велика сила трусости. Она даже может закрыть открытую дверь.

Наошупь пробирается он по ступенькам. Входит в погреб и спотыкается о коврик, на котором лежит теплое тело. Моника просыпается. Спросонья обнимает его, обдаёт его своим теплом.

— Не здесь, не здесь,—шепчет она ему.

Она ведет его по лестнице погреба наверх, открывает дверь. Они попадают на двор, который он уже так давно не видел. Все благоухает. Кусты и деревья в полном цвету. Веет тихий ветерок. Гром вдали глухо рокочет от поры до времени.

Быстрыми шагами она приводит его к узенькой витой лестнице, которая ведет в ее комнату над кузницей.

Как уютно здесь, как тепло после дождя и бури. В бокалах из богемского хрусталя разлито красное вино. Нет, этого не надо! Законов о пище он не желает нарушать. Только воду! Но она, должно быть, налила в воду вино, потому что вода горячит его, ударяет в голову. Разве в кузнице под ними начинают работать ночью? Из пустой кузницы доносится глухой удар молота, сотрясает пол верхнего этажа.

Мягкими руками Моника гладит его горячие мозоли, которые он натер себе на ладонях, прижимается своими пахучими волосами к его щеке.

— В это окошко я глядела, поджидая тебя тогда, в воскресенье.

— И сегодня ты ждала меня?

— С тех пор—каждую ночь.

Больше она не говорит об этом. Она хвалится своим терпением, а не своей предусмотрительностью. Ему становится так приятно и легко от гордой скупости ее слов, от ее нежного поцелуя и от объятий ее тонких рук. Да, это снова она, его Моника, задумчивая в ласках своих, святая возлюбленная того незабвенного воскресенья.

Но вскоре все ее движения начинают казаться ему странными. Здесь, в своей собственной комнате, под мерцанием голубых светильников она держит себя более уверенно, бурно, откровенно, нежели там, в доме у своих родителей. Моника разыгралась, она поет, танцует, напевает мелодию и пляшет величавый падуанский танец. Шаль спадает с ее стройных белых плеч. А кругом глухая ночь... Тишина и сон повсюду. Как это зовет и манит!

Каждый раз, проходя мимо него в движениях танца, она пылающим лицом дотрагивается до его щеки. Его

бросает в жар, а она с улыбкой отлетает в далекий темный уголок комнаты и снова выступает оттуда с горделивым, неприступным выражением на лице.

Эта не та Моника, о которой он мечтал.

Но если он думает, что только ее робость и кротость, ее добродетельно закутанное тело очаровали его, то на сей раз он убеждается в противном.

— Что ты делаешь, Моника?

Она достает из сундука черный ковер, расстилает его на кровати. Он должен отвернуться, стать лицом к стене. Потом она хлопает в ладоши: «Готово!» Белая, нежная нагота распростерлась, напоминая собою белый куст, что цветет на дворе. Руки заложены под голову, ослепительно белые локти и закругленные груди манят его.

— Вот так было у мессера Бальбо! — хохочет она. И хохочет все сильнее, так что он не знает даже, что о ней подумать.

— Так иди же, иди же на ложе пыток.

Так он назвал его тогда, когда пожалел ее. В нем закипает раздражение, чувство стыда. Ему кажется, что в нем оскорбляют, убивают все, что в нем есть лучшего. — Лилит.

Но сопротивляться уже поздно.

И впервые, среди опьяняющего блаженства, он ощущает что-то вроде тонкого укола ужаса.

XII

Но не ужас остается у него воспоминанием этой ночи. Ужас быстро исчезает, и в памяти запечатлевается только, как пугливо и нежно прижималась к нему Моника. Смелая Моника боится грозы. А молния и гром не прекращаются всю ночь. Дрожь всем телом,

девушка лежит на груди Давида, радуется, когда на минуту прекращается ослепляющий ужас, хочет в поцелуях забыть свой страх и тихо, пугливо бранится, когда снова начинается гром, бранится, словно буря со всеми ее неистовствами причиняет ей какую-то обиду. Так забавно утешать ее, так приятно, утешая, все крепче прижимать ее к себе.

Впервые в своей жизни Давид не остается ночью один. Ему кажется, что это первый настоящий сон в его жизни. И он с изумлением спрашивает себя: неужели я получу за свои грехи еще и награду?

XIII

Награду за грехи!

С изумлением он замечает это на следующее утро. А затем наблюдает то же самое по нескольку раз в день.

После ночей, проведенных с Моникой, он чувствует себя свежее, учение дается ему легче, нежели в грустные дни юности, которые кажутся ему теперь покрытыми ночным туманом, душными, без притока свежего воздуха. Удивительно, как ревностно отдается теперь его душа ученым трудам. Неужели грех может породить такое благо?

Часто ему бывает стыдно после такого грешного счастья прикасаться к священным книгам. Его охватывает стыд и раскаяние. Но не поощряют ли его именно этот стыд и раскаяние еще глубже проникнуть в божественную тайну? Он толкует слова учения, и люди прислушиваются. С ним спорят, за ним не решаются следовать, но так сильно чувствуется правдивость его исканий, что никому не приходит в голову отвергнуть его мысли как не имеющие значения. Люди все теснее

обступают его. Очевидно, он, который раньше ничего для них не значил, теперь удовлетворяет каким-то их внутренним потребностям.

Не одни только товарищи по занятиям в синагоге видят в нем свою опору,—Моника, повидимому, тоже черпает поддержку в его окрепших, обновленных силах. И от этого становится ему даже страшно. Он никогда не делал ей упреков, и она, совершенно по собственной воле, однажды заявляет ему, что ей не нравится ее бездеятельная жизнь. Не может ли он посоветовать ей избрать какую-нибудь постоянную работу, которая помогла бы ей стать самостоятельной, не нуждаться в замужестве. Покрасневши, она добавляет, что хочет вернуть уважение к себе самой. Они обдумывают. Он разбирает все ее способности, которыми он восхищается: искусство танца, красивый голос. Или, может быть, ей хочется заняться садоводством? Он познакомился с нею, когда она работала в саду. Она делала это так прилежно и ловко! Ей нравится эта идея. Она обещает—и при том в торжественной форме, которая приводит его в изумление—основательно изучить, как разводить цветы и делать букеты, чтобы возможно скорее зарабатывать свой хлеб, не завися от отца.

От него не ускользает морщина, появившаяся у нее на лбу.

— А в чем дело с отцом? Он мучает тебя?

— Да, это старая песня: он говорит, что я не должна так грубо отказывать этому старому ветренику, бургграфу. Но ты не бойся. Я уже за себя постою.

Когда он бывает у нее ночью, она иногда спускается с ним из своей комнатки по витой лестнице, и они проходят через двор кузницы в сад у городской стены. Бывают душные ночи, когда невозможно оставаться в комнате. Или, может быть, это служит только пред-

логом? Она хочет показать ему, что серьезно занимается садоводством и делает успехи?

Они идут медленно, с фонарями в руках, между грядками, которые Моника содержит в образцовом порядке.

— Знаешь, что это такое?—часто спрашивает Моника.

— Нет, не знаю.

Он ничего не знает о том, что растет и цветет.

— Это сирень. А это, осторожней, это крапива! Ну, вот теперь ты обжгся. А вот эти, совсем похожие листья, только поменьше, это глухая крапива. Можно выдернуть цветок и высосать сок. Он сладкий, хочешь попробовать?

— Неужели? Ведь это растение так похоже на другое, след которого все большее горит на пальцах?

— Да уж ты поверь мне!—смеется она.

Тогда он преодолевает свой страх и высасывает сладкую прохладную сахарную каплю.

Моника любит вспоминать прошлое:

— Помнишь, как ты как-то спрашивал меня об этих кустах?

Он жмет ей руку.

— Теперь я вижу, что ножницы не причинили вреда, а только привели их ветви в порядок.

— Вот эти красивые цветы—это боярышник. Если бы ты увидел их днем!

— Я приду.

— Нет, нельзя. Черный Каспар сторожит нас. Он ненавидит всех, кто только смотрит на меня. Вот ты увидишь, с бургграфом у него еще когда-нибудь будет беда.

— Снова этот бургграф!

Она меняет тему разговора.

— Ты бы посмотрел, как пчелы весь день жужжат в боярышнике. Самого роя не видно. Только случайно какая-нибудь пчела выскочит из куста, словно пьяная. А так их совсем не видно, но все дерево гудит и поет.

— О, счастье труда,—тихо говорит он.

— Да, пчелы не такие ленивые, как вы, евреи.

Он вспоминает свою мать, которая работает до полного изнеможения, вспоминает неутомимого отца, вспоминает многих других евреев гетто, которые так же, как они, не знают ни минуты праздности.

«Странно, какие существуют против нас предрассудки. Моника так хорошо разбирается в цветах и кустах, а о евреях у нее самые превратные понятия. В конце концов нужно как-нибудь поговорить с ней об этом».

— Какого ты мнения о моем народе, Моника? Разве у евреев нет ничего хорошего?

— Конечно, есть, милый.

Он думал, что она шутит, но она серьезно добавляет:

— Вы, евреи, очень мужественные и храбрые.

Это снова приводит его в изумление. Как раз обратное тому, что он сам думает. Он высказывает это.

— Но я видела это собственными глазами,—возражает она.—В Энсе. Там евреи истязали святые дары. Но когда потом злодеи стояли на костре, мне стало их жалко. Никто из них не молил о пощаде. Их спросили, не желают ли они принести покаяние. Тогда один из них, волосатый черный парень, сказал: «Я раскаиваюсь лишь в одном, что под пыткой принял крещение и отрекся от него только час спустя». Тогда остальные трое, которые вместе с ним стояли на приготовленном костре, положили ему руки на голову как бы в знак того, что в этот момент они прощают ему. И вообще они интересовались только друг другом, а на нас не

обращали никакого внимания. Ни слова, ни крика не издали, когда красное пламя охватило их. Как они нас презирали! Знаешь, эти евреи были мужественные люди!

Давид сильно призадумался.

— Может быть, я не прав по отношению к моему народу, когда считаю его трусливым? Из наших рядов вышли всевозможные мученики, верные страдальцы вроде тех, чью кровь нельзя смывать со стен синагоги.

Он и сам преклоняется перед этими героями. И даже не может сказать, чего им, собственно, не хватает.

Его мысли постоянно вращаются вокруг вопроса—чего им не хватает. Чего не хватает ему самому? Однажды ему показалось, что он близко подошел к разгадке тайны. Моника заметила, что один уголок грядки плохо взошел. Она наклоняется, зарывает руку в черную землю и работает в мягкой земле. Больше ничего. Но Давид внезапно вскрикивает:

— Вот в чем дело—в смелости, в самопожертвовании у нас недостатка нет. Но можем ли мы вложить руку в рыхлую землю? Мы боимся плодоносной земли, мы питаем недоверие ко всему, что медленно, упорно и таинственно создается творческими силами жизни, которым надо только доверять и которых нельзя постичь. А мы хотим все проверить. Слишком неутомонный мы народ, так и говорится о нас в писании. Мы все проверяем, всегда спешим. А у тебя, Моника, есть умение тихо останавливаться у растений, у боярышника и крапивы с их терпким и сладким соком. Это больше, чем смелость.

Обилие открывшихся ему истин смущает его, он не в состоянии отчетливо говорить.

— Это—такое сильное, спокойное выжидание. Вот ты спала на коврике в башне и знала, что я, наконец,

догадаюсь и приду. Это—такое глубокое доверие, что все должно совершиться само собой, без нашего содействия.

— А разве я оказалась не права,—улыбается Моника, не вполне понимая внутреннюю связь его слов.

Она уже привыкла к тому, что он иногда выходит из себя по таким поводам, которые ей кажутся незначительными. Он любит слушать рассказы о цветах и животных. Как-то раз она показывает ему белые нежные отцветающие одуванчики, а вслед за тем листья земляники, под которыми спрятался только что показавшийся маленький цветочек. У Давида появляются слезы на глазах.

— Что с тобой?

— Я думал, что весной все цветет одновременно и все сразу отцветает. Не знаю, почему я так думал, может быть, я где-нибудь читал это. Я такой ученый, а не знаю самых простых вещей. Вот ты — совсем другая.

И он целует ее так страстно, как никогда.

После таких порывов страсти он приходит в дурное настроение, когда замечает в ее комнатке новые подарки: драгоценные вазы, золотую цепочку, собачку-болонку.

Эта комнатка и так уже убрана слишком богато. Она составляет контраст с простыми комнатами ее родителей. Нужно доверие, спокойное доверие. Ах, об этом легко говорить. Но если бы он действительно решился довериться ей и ни о чем не спрашивать.

— Ты снова была у бургграфа?

— У старого ветреника? Нет!

— С тех пор, как я тебя знаю, ты больше не была у него?

— Нет.

— И все-таки он присылает тебе венецианские стаканы, а вчера прислал это кольцо?

— Ведь я не говорю, что он не приглашает меня. Только я больше не хожу на его приглашения.

— И никогда не пойдешь?

— Никогда!

— Обещай мне!

Он задумывается, у него уже часто вертелся на языке вопрос.

— Я не понимаю—что ты нашла во мне?

Она жадно смотрит на него...

— Ты такой молодой.

Смысл слов ее ясен. Но неужели это—так просто? Значит, все, что он думал о ее оскорбленном чувстве стыда, было простым воображением?

Когда он днем вспоминает о событиях подобной ночи, его охватывает ужас. Он вспоминает сказание о докторе Фаусте, который продал душу чорту для того, чтобы изучить царства мира.

«Вот так и я изучаю и постигаю невероятное, вижу подлинные силы и познаю их взаимоотношения. Но счастье мое построено только на грехе. Безумец я, если сопоставить мою жизнь с жизнью всей общины. Куда я иду? Такой одинокий, своим собственным путем. Взять, например, моего отца и мудрецов: разве не заключается вся их сила в том, что они твердо держатся правила всегда делать лишь то, что им указано, как добро, совершенно свободное от греха? Они не допустили бы никакой примеси дурного побуждения. Целомудрен и строг их путь лишений. Они не поняли бы, если бы я им сказал, что я мешаю добро и зло, уповаю на неведомые силы живого бога. Что я, как Моника, предоставил события их собственному ходу и выжидаю и надеюсь, что добро справится со злом

само, без всякого содействия с моей стороны, ибо бог ведь милостив и желает жизни, а не смерти грешнику, желает, чтобы ему служили и дурным побуждением»...

Но иногда он говорит:

«Не слишком ли велика опасность, которой я себя подвергаю? Я становлюсь жертвой сладострастия. Я чувствую себя вполне хорошо в этой обстановке, чувствую себя, как лягушка в болоте. Ведь недаром этот дом имеет такое название».

Весь его облик постепенно изменился, выражение глаз, походка. Он ходит прямо, гордо и легко. Для того, чтобы укрепить свои мускулы, он усвоил привычку вытаскивать из железного хлама своей матери тяжелые брусья, алебарды и упражняться ими. Прежде он старался как можно меньше дотрагиваться до заржавевших кусков металла. Эти сломанные смертоносные орудия внушали ему ужас: на них иногда оставались следы крови. Вся грохочущая железом лавка вызвала в нем жуткое чувство. Теперь он ходит туда ранним утром каждый раз, когда возвращается от Моники. Он старается, чтобы никто его не увидел при этих выдуманных им упражнениях. Первые лучи солнца падают на сверкающую грудку хлама. Так весело смотреть на нее и не замечать никаких призраков.

«Я хочу вырасти высоким, быть сильным, красивым и здоровым! Почему именно среди нас так много калек! Так много исковерканных, искривленных людей, целое племя змей и драконов. А сколько среди нас юродивых?! Гиршль, разве не юродивый, привратник Герзон и слуга наш Тувия,—куда ни посмотришь, кругом юродивые».

Но если даже этот путь, на который он стал, повинаясь своему желанию, не слушаясь учителей, не спрашивая ни у кого совета, если этот путь является роко-

вым заблуждением,—то жизнь, которую вела община, казалась Давиду еще более ошибочной и недостойной. Вот недавно он был свидетелем того, как приветствовали в Праге короля Владислава. Владислав любил жить в Венгрии, которую он посредством договора соединил с землями чешской короны. Но теперь его прогнала из Венгрии господствовавшая там чума. Окруженный венгерскими баронами и прелатами, чешскими и моравскими дворянами, а также представителями городов, король возвращался в Прагу, где он собирался расположиться на некоторое время со своим двором и уладить бесконечные споры между сословиями и представителями различных религиозных исповеданий. Таким улаживанием он занимался уже в течение сорока лет, на этом состарился, стал больным, а споры несколько не уменьшились с тех пор как он на пятнадцатом году своей жизни получил чешскую корону. Только общая усталость страны не допускала повторения продолжительной кровавой борьбы вроде гуситских войн. На все, что ему предлагали, король отвечал «добре», т. е. хорошо. Так его и звали в народе: король «добре».

На его сердечную доброту и слабость рассчитывали евреи, которые встречали его у верхних ворот замка. Они поджидали его с мольбой о защите, потому что пражские горожане и бургграф снова сильно на них наседали и уже давно подготавливали указ, чтобы все евреи покинули Прагу. Ретивые посредники сообщили об угрожающей опасности. Другие, такие же подкупленные посредники, возражали против издания указа, желая хотя бы выиграть время. А тут, на счастье, приехал и сам король. Немедленно было решено воспользоваться старой традицией и преподнести ему с торжественной процессией свитки священного учения. Это была жалкая манера обратить на себя внимание, заявить

свои права на жизнь или, верней, на то, чтобы их не истребляли, показать, что они когда-то, как ни как, имели дело с богом.

«Мы—безоружный народ,—думал Давид,—потому-то нас и не хотят знать. А мы делаем вид, что не замечаем этого, делаем вид, будто мы попрежнему верим, что к нам дружественно расположены и милостиво относятся. В этом позорном положении у нас нет другого выхода, кроме как делать вид, будто мы ничего не понимаем. Нам ничего не остается, кроме покорной улыбки, все равно, что бы с нами ни случилось».

Грустное впечатление произвели на Давида еврейские старосты в великолепных облачениях, в верхнем платье красного цвета и вытканых золотом молитвенных мантиях. Но с кем мог он поделиться своими переживаниями!

Древнее знамя из синагоги также участвовало в торжестве. Шесть человек держали огромное древко. Рядом с ними четыре знатнейших члена общины поддерживали на шестах красный балдахин, под которым рабби Исаак Морголиот и «парнес»—староста Элья Мунка, вместе несли подушку со свитком Торы. А за ними толпились старые и молодые евреи—все в предсмертных одеяниях, как в день прощения грехов, и шептали молитвы. Потом дрожащими голосами, под аккомпанимент труб, они запели псалмы. Придворная процессия поднималась по крутой улице к замку. Золотые аграфы венгерских всадников дрожали на высоких меховых шапках. Кривые сабли турецкого образца сверкали. Король, старый и больной подагрой, едва держался в специально для него изготовленном седле. Лошадь его вели под уздцы два пажа. На полном землистом, сероватом лице запечатлелось выражение беспомощности, говорившее о продолжительной,

бесполезно прожитой жизни. Когда он увидел евреев, с его лица сошла благодушно-нерешительная, несколько судорожная улыбка. Король казался рассерженным. Снова эти бесконечно запутанные дела! Кто допустил сюда этих людей? Он сердито поговорил с одним из придворных, который затем обратился к другому. Движение передавалось от одного к другому.

От Давида ничего не ускользнуло. Он слышал, как усилилось пение псалма. Теперь в нем звучал страх смерти. Старый Элья Мунка выступил вперед; в краткой речи он просил монарха в знак своей милости прикоснуться рукой к Моисееву закону. Можно было видеть, как Владислав отпрянул. Мунка снова поклонился, заговорил о покровительстве, которое всегда оказывали высокие предшественники короля еврейской общине в Праге. Он не забыл также вплести в свою речь замечания о высоких суммах, которые поступали в королевскую казну в виде сбора с евреев в возмещение трудов, связанных с этим покровительством. При этом шесть мужчин махали подаренным Карлом Люксембургским знаменем, на котором была нарисована звезда Давида. Но было ясно, что король хотел положить конец этой церемонии. Он небрежно коснулся хлыстом свитка торы и дал знак, по которому пажии повели дальше его лошадь, при чем один из них даже показал нос старосте. Но этого оказалось недостаточно. Председатель общины, идя рядом с королем, просил, чтобы повелитель снизошел и оставил общине на память об этом славном дне хлыст, которым он выказал свою королевскую милость. А когда король в своем безмолвном презрении поехал дальше, старик не отставал и стал обращаться с той же просьбой к придворным и был счастлив или по крайней мере старался это показать, когда один из придворных, шедший

позади, одетый в красную рубашку, твердо пообещал ему раздобыть драгоценный, весьма заслуженный быть увековеченным хлыст за пятьдесят золотых дукатов.

Давид протиснулся сквозь толпу к старосте. Ни одно слово не ускользнуло от его гнева. Но теперь, когда старый почтенный человек, не обращая внимания на толчки и копыта лошадей, вел переговоры с шутком короля, сердце Давида наполнилось только горем. Ведь престарелый староста не унывая делал то, что он мог и как он мог. Но где же, наконец, тот избавитель, который сумел бы сделать это лучше?

XIV

Если бы все это унижение хоть сколько-нибудь помогло! Но оно не принесло избавления. Король не отменил приказа о выселении. Наоборот, об этом говорили все громче. Рассказывали, что шефены уже имеют на руках документ с печатью короля и могут огласить его в любой день. Указывали даже подробности, называли определенный день.

1 июля 1511 года все евреи, мужчины и женщины, старцы и дети, здоровые и больные, должны будут покинуть дома и улицы, в которых их семьи жили в течение сотен лет. Никакие исключительные обстоятельства не будут приниматься во внимание, все охраняемые грамоты объявлены недействительными. В приказе о выселении обстоятельно и елеинно говорилось, что слишком велики правонарушения, допущенные евреями, слишком велики жалобы со стороны сословий. Такие слухи переходили из уст в уста. Одни их встречали с злорадством, другие—с смертельным страхом.

Изгнание! Люди знали, что это значит. Хотя еще

оставалось неизвестным, позволят ли им, как евреям в Испании, взять с собой только могильные памятники предков или дадут срок для продажи земельного имущества и право взять с собой некоторую сумму на дорогу,— все равно, разница была невелика. И в том, и другом случае изгнанникам угрожали несероятные мучения. Сколько можно было получить за земельный участок и ценные вещи, когда наперед знают, что их собственник вынужден их продать? Было известно также, что испанские евреи, унесшие с собой припрятанное золото, попались потом в руки обманщиков-капитанов, которые до тех пор катали их по морю, пока они не отдавали последней монеты за кружку воды, пока дети, не будучи в силах смотреть, как голодали родители, не продавали себя в рабство. «Их можно было принять за призраков»,—писал очевидец про пассажиров этих еврейских кораблей, когда они остановились на временную стоянку в Генуе. Священники приходили на палубу, держа в одной руке крест, а в другой—кусочек хлеба. Были гуманные города, которые пускали к себе беженцев. В других городах им отказывали под предлогом болезней, которые могли занести евреи,— а в болезнях среди этого скученного люда не было, конечно, недостатка. В то время появилась впервые французская болезнь, и возбужденное население приписывало евреям распространение этой болезни. Так одно несчастье громоздилось на другое. В Неаполе их изгнали после пребывания в течение нескольких месяцев, в стране берберов в высадившихся евреев стреляли, как в диких зверей. В Феце они должны были расположиться лагерем за пределом города и питались травами, которые собирали на полях. По субботам они обгладывали их зубами, чтобы не нарушать заповеди и не работать руками.

Все эти ужасные истории, которые не были забыты в течение девятнадцати лет, последовавших за испанским изгнанием, снова ожили теперь в гетто.

Не было недостатка в голосах, которые пытались принести утешение. Вспоминали о благотворителях, проявлявших сверхчеловеческие усилия,—о людях вроде, например, благочестивого Ехиеля из Пизы, который встречал в гавани каждое судно с беженцами и никого не оставлял без помощи. «Нужда постигла нас для того, чтобы великие люди нашего народа могли показать себя». Встречались даже люди, которые гордились страданиями, причиненными испанским изгнанием. Они с упоением говорили о «наших страданиях». «Чего мы только не перенесли в течение тысячелетий». «Но как же опустились мы!»—крикнул Давид в ответ такому восторженному благочестивцу. А благородный Ехиль из Пизы казался ему человеком, который хотел столовой ложкой вычерпать море. С ужасом замечал он, как безмерное горе, которое с давних пор выпадало на долю его народа и, повидимому, суждено было ему и в будущем, вызывало в нем совершенно обратное действие, нежели в других. Остальные подчинялись этому как божьей воле, ощущали даже некоторый подъем, а ему обилие мучений было просто противно. Он испытывал не сострадание по отношению к самому себе и несчастным, а возмущение против всех, кто так страдал свыше человеческих сил. «Безнравственно быть таким несчастным,—говорил он себе.—Ведь всякий человек обязан следить за тем, чтобы его несчастье не переходило известных пределов!»

Когда он приходил ночью к Монике, у него было такое ощущение, точно он убежал и спасся от изнуряющего горя. У Моника все было легко и чисто, как у цветка. Ее стройное тело успокаивало. Твердые,

правильные черты лица ее говорили, что не все обязательно должно погибнуть в водовороте бедствий.

Но теперь ее красота вызвала в нем не только восхищение и любовь. Просыпалось кровожадное желание. Когда он был мальчиком, он никак не мог понять один рассказ у Гомера: почему Венера изменяет своему мужу и убегает к богу войны Марсу, к грубому, необразованному богу войны. Он может еще понять, что она убегает от старого грубого хромого мужа, который к тому же был простым кузнецом. Но, в таком случае, ей надо было найти себе уважаемого человека, великого ученого! Теперь он улыбался, вспоминая свои детские мысли. Гиршль, у которого он читал Гомера, не мог, правда, ему разъяснить этого. Сама жизнь должна будет научить его, почему Венера льнет к Марсу.

Теперь он сам хотел стать Марсом, смелым подвигом спасти общину и в битве и славе окончательно овладеть возлюбленной богиней красоты.

Но это все невозможно!

Все должно совершиться иначе.

— Меня прогонят. Все будет кончено, и мы никогда не увидим друг друга.

— Я пойду с тобой.

Он старался представить себе, как Моника будет идти среди изгнанников, рядом с его матерью, вслед за отцом и учениками отца, которые будут нести свитки Торы, вслед за старейшинами и престарелыми учеными, — Моника, белая, белокурая, улыбающаяся женщина! Ну, конечно, это было совершенно невозможно.

— Я знаю одно средство, — сказала Моника, когда как-то раз он снова стал жаловаться.

— Какое же?

— Стоит сказать только несколько слов — и вы все останетесь в Праге.

— Несколько слов? Что это значит?

— Этого я не могу тебе сказать.

— Нет, скажи, скажи!

Она отказывалась. Это повторялось уже не раз. Он настаивал, гладил ее пальчики, словно между ними притаилась тайна... А она упорствовала и говорила:

— Ты уж доверься мне.

— Ты хочешь пойти к бургграфу, Моника?

— Нет.

— Я знаю, что я правильно угадал! Но я этого никогда не позволю!

— Ты неправильно угадал. Но если когда-нибудь наступит час, тебе надо только притти и сказать: «Моника, час наступил!» И я уже пойму.

— Я никогда этого не скажу!

— Тем лучше, может быть, это не понадобится.

— Если это даже и понадобится, если даже будет угрожать самое худшее, никогда ты от меня не услышишь этих слов, Моника. Ах, Моника, если бы я знал, что средство, которое ты хочешь применить, честное, хорошее! Почему ты не скажешь мне, что хочешь сделать?

— Ты уж предоставь это мне, Давид, овечка моя.

За последнее время она превратила в ласкательное слово его фамилию*). Но он не любит этого ласкательного слова.

— Сколько раз я запрещал тебе называть меня так.

Вечно эти уменьшительные словечки! Это напоминает ему другие имена в гетто, как Берль, Гиршль, Лейбеле. Разве мы игрушки, что нас постоянно так называют? И потом эти постоянные сравнения с зверьми!

*) По-немецки—*Lämmlein* уменьшительное от *Lamm*—овца и от фамилии Давида *Letel*.

Она уже много раз говорила о его собачьих глазах, а теперь она превращает Давида Лемеля в овечку.

— Ты сердишься на меня? Но ведь я же ничего плохого не сделала,—сказала она в полном сознании своей невинности.

И ему искренне жаль, что он так резко обошелся с ней. Он целует ее в лоб, и тогда на глазах ее появляются слезы.

— Я ничего не сделаю, если ты мне не прикажешь.

— Я никогда не прикажу тебе. Клянусь!..

Она заставляет его опустить руку, поднятую для клятвы, и смотрит на него страшно серьезными глазами.

— Не клянись, Давид, овечка моя. Ты еще не знаешь, что может случиться.

XV

Опасность положения пражской еврейской общины становилась все очевиднее. Каждый день приносил слухи, подтверждавшие приказ о выселении. Одни их оспаривали, другие им верили, и в глубине души все-таки не верили. В день Троицы депутация еврейских старейшин совершала обычный обход знатных лиц для раздачи подарков, как это было заведено многолетним обычаем. Дарили деньги, винные ягоды, миндаль, каштаны, лимоны, сахар, пряности, гусей. Побывали у архиепископа, у начальника канцелярии, верховного судьи, у канцелярских чиновников, у приставов и у целого ряда писцов. Побывали даже у палача.

Некоторые из высоких господ на сей раз не приняли депутации, у других все шло приблизительно так же, как и в прежние годы. Для глубокомысленных голов в еврейском гетто все это служило поводом комментировать факты в том или ином направлении и с пол-

ной убедительностью доказывать неизбежность изгнания или обратное.

Просили аудиенции у короля. По мнению одной партии, которая состояла из сторонников престарелого старейшины Эли Мунка и верила в его успех, имелась надежда получить аудиенцию. Другая партия, которую возглавлял разбогатевший ювелир Яков Кралик, сомневалась в этой возможности — считала все, что делал Мунка, совершенно неправильным и вредным и давала понять, что следовало бы лучше найти путь к бургграфу Лео фон-Розмиталю.

Раввин Исаак Морголиот, когда его спросили об его мнении, заявил, что обе стороны правы и в то же время не правы, и приказал молиться об отвращении бедствия на кладбище у могил мучеников.

Между тем, на рынке старого города, у ворот гетто каждый день образовывались скопища черни. Городской страже становилось все труднее сдерживать увеличивавшуюся толпу. «Мы еще придем!» — кричали из нее. Ораторы возбуждали народ, обещали богатую добычу. В гетто прошел слух, что среди вождей выделяется какой-то черноволосый подмастерье-кузнец, немец, страшно свирепый. Иногда он, словно в отчаянии, колотит кулаками запертые ворота, а потом бьет себя по голове. Хотя он по-чешски ивьясняется на ломаном языке, тем не менее он прекрасно умеет доводить народ до дикой ярости и презрения к смерти, так что уже многие бросались первыми на алебарды стражников, желая пробраться к ненавистным евреям. Кое-кто даже поплатился жизнью. Их окровавленную одежду подмастерье-кузнец проткнул мечом и размахивал ею, как знаменем, провозглашая слова, которые стали воинственным кличем этой банды: «Мы еще придем!» Давид догадывался, что испуганный оратор

не кто иной как Каспар, подмастерье из кузницы «У лягушке на болоте». Однажды ранним утром, когда он возвращался от Моники и спускался по витой лестнице, он встретился на дворе с Каспаром, который выходил из дому. Они обменялись взорами, которые не нуждались в пояснении. Давид потом забыл об этой встрече и только среди волнений и страхов этих мрачных дней он снова вспомнил о мстительном взгляде. «Зло, посеянное грехами моими, начинает созревать,— подумал Давид,—от кустарника идет огонь и пожирает кедры ливанские».

В эти дни сердечных томлений Давид нашел утешение у человека, у которого никто из евреев гетто, наверное, не стал бы искать утешения,—у сумасшедшего привратника Герзона.

Он все больше сближался с ним, сначала поневоле, потому что ему каждую ночь нужно было раздобывать ключ от ворот. Так просто, без разговоров это, разумеется, не обходилось. Потом он, к ужасу своему, стал замечать, что привратник полюбил его и часто ласково поглядывал на него своими беспокойными водянистыми глазами. Он, наверное, был бездетный и, может быть, желал иметь сына. Давид старательно избегал вкрадываться в его доверие. Он всегда приходил якобы по распоряжению отца, брал ключ и ничего не рассказывал ему о своих намерениях и мыслях. Тем не менее, совсем уклониться от разговоров он не мог, но был суров, стыдясь своего обмана, и воздерживался от всякого проявления участия.

— Вы не должны благословлять меня,—резко сказал он однажды и оттолкнул руку старика, который после этого вернулся к своей вечной работе—к маленьким рисункам.

«Вы не должны».—Но когда он говорил это, он думал

только о том, что позор его может превзойти всякую меру, если он будет злоупотреблять доверием старика не в качестве чужого человека, а в качестве друга.

Это была жалкая попытка самозащиты, которая не могла быть прочной. Вскоре Давид, упорствуя в своем грехе, был способен, не задумываясь, или, во всяком случае, легко преодолевая угрызения совести, брать ключ — и, невзирая на это, все больше становился поклонником таинственного молчаливого старика, которого он так позорно обманывал каждую ночь.

Путаный ум старика опускался в неизвестные глубины, извлекал оттуда слова, смысл которых был окружен сиянием тайны, на которую нельзя взирать иначе как разочаровавшись в здравом смысле повседневной жизни.

Герзон был «мекабул» — один из тех, кто усвоил предание, «каббалист», как называл их Гиршль. Такие люди от поры до времени появлялись в общине, большей частью они приходили из Салоник или из какого-нибудь более отдаленного места, а иногда даже из святой земли. Гиршль обыкновенно высмеивал этих людей как шутов. Но разве Гиршль вообще кого-нибудь признавал, кроме себя? Давид давно уже не обращал никакого внимания на Гиршля.

И подобно тому, как раньше он заставлял Гиршля рассказывать о фантастических путешествиях на неизвестные острова, так теперь он внимал рассказам Герзона.

Он узнал от него о десяти потерянных коленах Израиля — потерянных для нас, а в действительности живущих счастливо и гордо в глубине Азии, под властью собственных независимых князей. Там протекает прекрасная бурная река Самбаттиен, которая каждый день выбрасывает камни и песок и только по субботам умолкает и течет бесшумно на радость всем, кто живет на ее берегах и соблюдает день отдыха

так же, как и река. Недалеко от этой реки, поближе к Аравии, в пустыне Хабор находится даже еврейское царство. Там правит король Иосиф из колена Рувимова, сын Соломона Реубени... Царство его насчитывает три тысячи жителей—все из племени Реубени, Гад и Манасее. Мужчины там воинственны и хорошо вооружены. Португальские капитаны сообщили в свое время точные сведения об этом могущественном королевстве. При короле состоит совет из семидесяти старейшин по образцу великого синедриона, который судил в святом городе Иерусалиме. А лучшим помощником и другом короля является его брат, молодой герой и воин Давид Реубени.

Так рассказывал привратник. И он знал не только отдаленные края земного мира; перед ним было открыто, что совершалось во всех четырех мирах, из коих наш является самым низменным, созданным из самой грубой материи. Он знал о десяти божественных формах творения, «сфирот», силы коих пронизывают всю вселенную и которые в своем высшем объединении несут по небесам богочеловека, Адама Кадмона, как священнейший образ всего творения.

Повторением этого образа на материальной ступени является центральная сфера «тиферет»—красота.

— Которая была в день разрушения храма низвергнута с небес и разбита вдребезги?—пытается вставить Давид.

Герзон мечтательно кивает головой.

— И все же Мессия, сын Давида, снова подымет ее из праха.

Давид думает: «Что, если все, что казалось ему тьмою, невежеством, дурным побуждением, грехом, было в действительности слишком ярким, сияющим светом?»

— В верхних мирах много света,—говорит Герзон,

словно зная, чего ожидал от него Давид.—Там находится также и женщина. Потому что когда человек спал, была сотворена женщина.

— Но ведь не из лба человеческого, а из ребра ниже руки,—возразил Давид.

— Приди и взгляни, что сказано в писании: «Бог взял одно из ребер его». Ты думаешь—из ребер человека? Прочти еще раз: из своих собственных ребер. Из божьего ребра сотворена женщина.

Давид вздрогнул. Неужели старый Герзон знал его тайну? Его исполненную поклонения любовь к Монике, любовь, от которой сердце Давида при каждом биении радостно вздрагивало словно в поклонении перед богом. Об этом грешно было даже подумать. Но нет, привратник, быть может, знал слова, и слова эти лишь случайно соответствовали тому, что переживал Давид. Разве кто-нибудь может пережить то же самое, что он? Может быть, герои далекого прошлого, это он готов был еще допустить, но не бессильное поколение современных евреев. Весть об этой героической эпохе, может быть, и дошла по преданию до привратника. Далекий отзвук предания, а не собственная жизнь говорила устами Герзона.

Свечка погасла.

Заснул Герзон в своем высоком кресле, что ли?

Давид шепнул ему:

— Ну, а как насчет греха? Зло также имеет свою долю в высших мирах?

— Одиннадцать—число зла по его буквам. И одиннадцать составляют обе последние буквы имени божьего. Одиннадцать пряностей было смешано в возжиганиях святыне. Одиннадцать козьих шкур составляли крышу скинии завета, и разве не сказано: «Скиния завета, которая находится у вас, среди ваших нечистот».

— Значит, народ должен и может быть нечист, значит, именно среди нечистого народа жил бог?

Давид все ближе подходит к вопросу, который с детства волнует его.

— Торопливый народ, — раздается впотьмах. — Еще не настало время раскрыть скрытую истину, не настало ни для меня и вообще ни для кого. Об этом может свидетельствовать красный шрам у меня на лбу. Наш праотец Иаков ударил меня жезлом своим.

— Праотец Иаков?

— Разве ты не знаешь, что овцы, которых пас пастух Иаков, были душами благочестивых людей, которые должны были получить особое завершение «тикун», прежде чем они могли родиться в телах человеческих. Только потому, а не по какой другой причине Иаков стремился приобрести так много овец. Или ты думаешь, что причиной была низменная жадность? Он хотел иметь возможно больше овец для того, чтобы вырастить для будущего как можно больше благочестивых людей. И он очень строго обращался с ними. Вот этот шрам остался у меня потому, что я был тогда слишком тороплив. Ты удивляешься, а, между тем, ты и сам, может быть, одна из тех овец, которые паслись у отца нашего Иакова. Об этом говорит, твое имя: все, кто называются овцами—«ламм, лемель», все они святого происхождения.

Давид пылает в плавильной печи познания. Нет ничего такого, что казалось бы ему невозможным.

— А вы помните то время, когда были у Иакова?

— С тех пор я восемь раз появлялся на свет.—Сдавленный, голос глухо звучит под сводами башни.— О трех моих появлениях я помню, но мудрецом называют только того, кто помнит все свои рождения.

Давид ничего подобного не слышал ни от отца, ни

от его сведущих учеников, ни от Гиршля. Но в то же время он вспоминает, что об учении о перевоплощении он читал в запретной книге, которую много лет тому назад у него однажды отнял отец.

— Что называется тайной великого дракона—грех?—порывисто спрашивает он.

— Всюду, где в писании говорится о фараоне, царе египетском, имеется в виду великий дракон. Но тайной великого дракона занимаются только те мудрецы, которые постигли тайну сотворения мира, потому что великий дракон лежит во внутренних покоях мироздания. И тысячами путей проникает оттуда во все четыре мира: «азилут»—мир перворожденной души, «бериа»—мир перворожденных форм, «езира»—мир ангелов и планет и «асния»—мир, заселенный нами и демонами. Во все эти четыре мира проникает тайна великого дракона, и потому говорится—великий дракон, который лежит в своих реках.

Давид вскакивает и говорит:

— Только мы, евреи, мы называем себя народом, подобным розе, избегающей зла... Мы выделились из этого потока зла. Мы мало грешим. И вот что хотел бы я знать: хорошо ли, что мы так поступаем, или, может быть, в этом наша гибель и причина всей ненависти, всех бедствий и преследований, которые нас постигают?

Герзон продолжает, сохраняя неподвижность:

— Сказано: бог велел Моисею—«приди к фараону», он не сказал—«пойди от меня к фараону», а сказал «приди», все равно как если бы сказал—«приди ко мне».

Давид дрожит. Может быть, устами безумца говорит дьявол-искуситель?

— Вы хотите сказать, что бог и фараон, что дракон и фараон—это все одно и то же лицо?

Полная луна красным светом залила оконце башни.

Давиду кажется, что облик старика совершенно изменился. Он уже не такой старый, расслабленный, изборозженный морщинами,—мускулы напрягаются под гладкой кожей, лицо становится свежим, фигура выпрямляется, закутанная в широкий плащ полководца, она снова касается потолка башни: великан!

И обычно сдержанный голос становится громким.

— Теперь ты знаешь, почему Моисей боялся бороться с фараоном, почему сей благочестивый человек отказывался исполнить приказание божье. Потому, что приказ этот гласил: «Борись с драконом, который лежит в реках своих, но знай, что если ты его коснешься, то ты тем самым поднимешь руку на меня».

В крайнем возбуждении Давид дергает Герзона за плащ.

— Где же решение? Где решение? Значит, мы должны, по приказанию божьему, поднять руку на самого бога? И только если согрешим—придет к нам Мессия?

Плащ остается в руке Давида, как будто в нем не был закутан человек. Рука повисает в воздухе. Потому что Герзон с воплем опустился на пол:

— Разве я это сказал? О грех мой, позор мой! Орудие... но сломанное, громогласная труба... лишенная звука. А все-таки, разве не казалось, что наступило время, разве бедствия не достигли высших пределов? О, если бы кто-нибудь их видел—этих призраков в Генуе! И все еще надо было медлить! Все еще медлить! Общины приносили покаяние, подвергали себя нечеловеческим истязаниям. Отказывались от сна и еды, даже от хлеба с водой. И уже показался огненный столб, чтобы светить по ночам, и облачный столб, чтобы идти перед нами днем. И все же слишком рано, чересчур рано!

Давид опускается на колени, желая поднять старика.

— Ты знаешь, до кого ты дотрагиваешься? Во мне была божья тайна, и я ее осквернил. Что меня смутило, не знаю... Честолюбие, взгляд красивой женщины. И вот я унизился до состояния падали.—Он отталкивает Давида.—И теперь я проклят, как шакал в пустыне.

На-четвереньках бегают он по комнатке, воеет диким воем, словно испытывая мучительную боль. Такую муку он не в состоянии, повидимому, выносить в человеческом облике—и, как зверь, он открывает лбом дверь на галлерею башни. Хватает рог, в который должен трубить часы. Раздается жуткий звук. Двенадцать раз, двадцать раз, тридцать раз.

Безумный привратник не перестает трубить. Внизу собирается несколько любопытных и они смеются. Герзон снова трубит о днях Мессии.

Как собака, бегают он у решотки, разбивает себе об нее голову, то выкрикивает отвратительные проклятья, то снова начинает трубить. И еще удивительно, что он не причиняет себе серьезных ран. В неистовых прыжках он ударяется то об стену башни, то об решотку.

Внизу на это смотрят, как на зрелище, которого давно напрасно дожидались. Все знают, что со стариком Герзоном от поры до времени приключаются такие припадки.

Наконец, несколько решительных мужчин, которые не в состоянии видеть этого безобразия, поднимаются наверх. Они связывают безумца, и после этого он постепенно успокаивается.

XVI

Однажды вечером его остановил Гиршль:

— Ты снова идешь на башню?

— Да,—твердо ответил Давид.

— Ты теперь занимаешься со стариком Герзоном?
Давид кивнул головой.

Двусмысленная улыбка.

— И так прилежно, до рассвета?

Откуда знал это Голодный Учитель?

— Вы, должно быть, следите за мной?

— А если бы я это и делал—из дружбы.

Ну, вот, теперь начнутся старые жалобы об ослабевшей дружбе. Уже много лет под-ряд одни и те же жалобы. Но Давида заставила насторожиться угроза, которую он почувствовал в ироническом вопросе—«до рассвета?». Неужели Гиршль узнал что-нибудь о ночных поездках через реку на кузницу? Давид внимательно слушал шедшего рядом с ним маленького хромого человечка. Сначала Гиршль говорил обычные свои вещи. Упрекал Давида, что тот приходит к нему все реже, что клятвы верности и вечной благодарности, которыми он клялся ему ребенком, оказались такими же ничтожными, как и обещания других людей, которые не принадлежат к числу «*homines eruditiores*». «А знаешь, что измена не остается без возмездия? Не одному только Катуллу удалось напустить богиню Немезиду на своего неверного друга».

Они вошли в дом Гиршля. Давид уселся в том же углу и на том же диване, где он сидел ребенком. Ведь здесь прошли лучшие часы его мечтательного детства. Никто, кроме Гиршля, не интересовался им: он один только отвечал на его вопросы, не сердясь, и, не считаясь с обычной школьной рутинной, поучал жадную пугливую душу. «Я не прав по отношению к нему»,—думал Давид. Меланхоличная жалость заполнила его сердце.

Но вскоре его отрезвила бесконечная речь Гиршля; все это были сплошные общие места. Он цитировал

Платона и Цицерона, восхвалявших дружбу. Но Давид уже знал, что Гиршль усваивал из воззрений философов только то, что укладывалось в его маленьком мирке. В сущности, его мнения мало чем отличались от мнений, господствовавших в гетто, хотя он и старался изобразить, что это не так. У него был тот же ход мыслей, только примененный к другим объектам.

«И этого человека я когда-то, по молодости моей, сравнивал с Сократом! Ораторским искусством и сильной волей—ими он действительно обладал, но эти свойства выявлялись на ложном пути, в стороне от подлинной жизни, среди мусора и песка, а не на плодотворной почве. И как он разбрасывал во все стороны свой мусор, как он шумел! Теперь он громит суетность мира, проносил тирады против смешных модных платьев с разрезами, против турниров, против гайдуков».

Какая узость была, в сущности, в этом мнимом гуманизме Гиршля! Давид почти стыдился, что не заметил уже давно, как смешны в устах маленького учителя стихи Ульриха Гутена «Жалобы и увещания», которые он теперь декламировал.

— Я смело поступал!—кричал Гиршль,—и они не посмеют тронуть мою школу. Как бы они ни неистовствовали, они меня не сломят и не возьмут измором. Но от тебя, Давид, я ожидал большей помощи. Если отец твой—мой злейший враг в совете и не хочет пропускать через ворота нашего гетто ни одного луча света, ни одной искорки новых идей, то я все-таки надеялся, что в твоём лице я воспитаю друга мудрости и справедливости, вождя угнетенных.

— Чем же я могу помочь вам?—возразил Давид, который до сих пор почти все время молчал.—Ведь я не заседаю в совете.

Голодный Учитель раздраженно замахал руками.

— Дай мне говорить! Что ты постоянно меня прерываешь! Ты душишь мою мысль!

И, понизив голос, словно подкрадываясь с другой стороны, он с той страстностью, которая его никогда не покидала, стал говорить о своем деле, которому он служил дню и ночи и которое является великим делом и только по несчастному стечению обстоятельств доверено убогой душе или, вернее, душе, пришедшей в убожество от испытанных ею унижений. Он говорит возбужденным шопотом, словно передавая государственные тайны:

— Победы свободной мысли они все равно не в силах задержать. Для всех народов уже сияет провозглашенная великими умами свобода, только нам закрывают к ней доступ. Но я сделаю разоблачения, я теперь занят этим. Ты заметил, как Мунка «парнес» сам не свой от страха, он даже спать не может. А отец твой,—я недавно его встретил,—тоже совершенно осунулся.

— Это из-за изгнания, которое нам угрожает,—заметил Давид.

Последовавшая за этими словами выходка Гиршля ошеломила его, хотя, в сущности, по опыту прежнего времени, он мог ожидать чего-нибудь подобного.

— Нет, это они боятся меня. Всякая неправда мстит за себя, а значит, и неправда, причиненная одинокому, беззащитному учителю. У всех у них совесть нечиста передо мною. Да, теперь обнаружили такие дела, такие злоупотребления! Я собираюсь разоблачить их. Ювелир Яков Кралик—мой приятель, его выберут старшиной, и тогда настанет мое время.

— Это будет пришествие Мессии,—сказал Давид.

Не замечая иронии, Гиршль с восторгом повторил:

— Да, пришествие Мессии.

Давид с грустью задумался над миром призраков, в котором жил Гиршль. Как несокрушим этот мир!

Недавно разбогатевший ювелир, партия которого все больше усиливала свое влияние, разумеется, так же мало станет заботиться о Гиршле, как и прежние старшины. Школа Гиршля никого не интересовала. Это было давно решенное дело и никого оно не волновало, кроме самого Гиршля. Его мнимые противники отделялись от него небрежными жестами, они даже не считали его врагом, заслуживающим внимания, но именно в этом он не хотел сознаться. Он был убежден, что его ненавидят, что всюду, где он появляется, он вызывает возбужденное сопротивление, что борьба из-за его школы стоит в центре всех общинных дел и если не является сама по себе мировым событием, то, во всяком случае, символом, отражением нового времени в стенах гетто. Это обычное явление на еврейской улице, что всякий кажется себе центром мироздания. Но ни у кого воображение не работало столь упрямо, как у Гиршля, освещая все искусственным светом, так что действительные отношения казались совершенно неуловимыми. «Может быть, мало кому это в такой степени нужно, как убогому учителю, которого все презирают!—думал Давид.—Он слабый, измученный человек, но разве эти слабые не являются худшими из всех?»

И особенно противно было Давиду, что перед лицом бедствия, угрожающего его народу, Гиршль думал только о собственной вражде к старшине и к его отцу.

— Наверное, проведут тебя в совет,—приставал к нему Гиршль.—Мне стоит сказать только слово. А ты будешь тогда защищать мои интересы, как ты мне неоднократно обещал?

«Против родного отца»,—подумал Давид и улыбнулся, так как нашел хорошую отговорку.

— Да ведь меня не пустят...

— Я знаю,—поспешно прервал его Гиршль.— Вот именно об этом я и хотел сказать. Недостает одного условия. Ты должен жениться. Пока существует это варварское правило, что нельзя забирать в совет неженатых...

Давиду скоро должно было исполниться девятнадцать лет, и он давно уже достиг того возраста, когда родители и добрые знакомые подыскивают молодому человеку подходящую невесту. Таков был еврейский обычай.

Гиршль продолжал приставать к Давиду:

— Тебе все равно давно уже пора. Тебя несколько раз видели с христианской девушкой.

Положение становилось серьезным. Очевидно, замечание Гиршля о том, что Давид занимается до рассвета, было не так невинно. Давида охватил мрачный гнев. Кто смеет мешать его счастью? Кого это касается? Горе тому ревнителю веры, который станет на его пути к Монике, ко всему, что было хорошего и успокаивающего в его мучительной жизни!

— А вам это не нравится?—упрямо спросил он.

— Это не принято.

— И это говорите вы, который учил меня презирать предрассудки.

— Я ничего не говорю против потребностей тела,—ответил Гиршль с отвратительной улыбкой,—но это показывает, что тебе пора жениться.

Давид вскочил в бешеном гневе.

«И для того, чтобы приходить сюда, в свое время я не остановился перед первым обманом в своей жизни!»

Он сначала подумал, что может спокойно предоставить события их течению и посмотреть, как Яков Кра-

лик будет слушаться внушений Гиршля. Но он с негодованием отверг такую тактику.

— Я никогда не женюсь и не буду членом совета! — злобно крикнул он.

Это было открытое объявление войны. Гиршль так это и понял. Дрожа, подошел он к полкам с книгами и, держась за них, тяжело перевел дыхание. Он казался большой мухой, прилипшей к радостной мудрости всех народов всех времен.

— Значит, ты изменяешь мне? Забыл все, что было в прошлом? И это как раз тогда, когда обстоятельства складываются благоприятно для меня, когда я нашел себе высоких покровителей, когда я в первый раз обратился к тебе с просьбой, к тебе, моему духовному сыну, ростку моего виноградника! И ты отказываешься, ты предаешь меня, а вместе со мной предаешь прогресс и просвещение?

Давид холодно и с чувством отвращения думал— «он декламирует». Но при этом он ясно чувствовал, что Гиршль говорит все вполне серьезно. Однако, какие карикатурные формы принимали у него все человеческие переживания, даже когда они серьезны!

Его отвращение быстро перешло в ненависть, когда Гиршль, коварно поглядывая на него, стал продолжать свою речь. Сначала он ожидал, что Давид пойдет на уступки, но когда тот продолжал молчать, Гиршль утратил всякую сдержанность.

— В таком случае я предостерегаю тебя — ворота плохо охраняются, необходимо, чтобы ключ всегда был здесь—может вспыхнуть пожар, и что будет, если не сумеют открыть ворота и побежать за водой к реке? Отвечать будет твой отец—он управляет всеми воротами...

Давид побледнел. О такой возможности он не подумал—что его любовь может стать угрозой его отцу.

И как хорошо знал Гиршль все слабые пункты его позиции! Очевидно, он давно тщательно обдумал свое нападение.

— Ведь сумасшедшего Герзона привратником назначил твой отец,—неудивительно, что сыну потворствуют в его разврате.

Давид поднял кулак.

— Ударь. Подыми руку на своего старого учителя. Я ничего не боюсь. Никогда не боялся. Перед королями и князьями провозглашал я истину.

Тщедушное тело Гиршля выпрямилось, и он загудел торжествующим голосом:

— Я пушу здесь в ход все средства, не остановлюсь ни перед чем в борьбе с красным еретиком. Почему ты смеешься?

По бледному лицу Давида действительно пробежала презрительная улыбка.

— Потому, что вы так негодуете на еретика Герзона, тогда как вы сами гордо называете себя еретиком,—сказал ему Давид и ушел.

Но за этой улыбкой скрывалось ужасное решение: «Хромой учитель должен исчезнуть,—отчетливо сказал себе Давид.—Я не могу допустить, чтобы за мной следили, чтобы угрожали моей любви, да еще старику Герзону и отцу, этому святому человеку, который, не ведая ни о чем, сидит у себя в комнате, склонясь над священными книгами». Хитрые затеи Гиршля казались Давиду вдвойне презренными, когда он думал о старике отце, совершенно не подозревавшем об опасности, которая ему угрожает. «Ладно. Если учитель считает себя в праве, наподобие тех итальянских тиранов, о жестокости которых он мне так часто рассказывал,

творить всякие злобные дела, не считаясь с требованиями нравственности, тогда он враг и тогда у меня тоже нет по отношению к нему никаких обязанностей: противопоставляю силе силу».

Его опьяняла мысль о зверском убийстве. В голове бродили воспоминания о жестоких пытках Бернабо Висконти и Ферранте. Ради губ Моники никакой грех не будет слишком дорогой ценой. Ему казалось совершенно легким, простым делом пойти завтра же к Гиршлю, напасть на него, связать его и верным ударом в сердце заставить умолкнуть навек, и потом, не боясь шпионов, отправиться к Монике, уже действительно как Марс к Венере, и безмерно счастливо любить ее до конца.

«Дай мне остро отточенный кинжал и веревки»,— написал он на клочке бумаги глухонемому приказчику. Тувья замахал руками. Его широкий рот с красными, яркими губами судорожно раскрылся.

Давид только посмотрел на него настойчивым, твердым взглядом. Он знал, что Тувья предан ему смешанным чувством слепого повиновения и безмолвного протеста. Вечером у него будут кинжал и веревки.

XVII

Так действительно и было. Когда он вечером плыл на лодке к Монике, оружие лежало у него в мешке. Завтра утром он весело и легко совершит это дело. С городского вала он пробрался через дверцу в погребе; на том самом месте, где Моника в первый раз поджидала его на коврике, он споткнулся о большой узел с платьем. Он не обратил на него внимания и быстро побежал знакомым путем по лестнице, через двор, через погреб и по винтовой лестнице к Монике.

— Ты ничего не заметил?—спросила она его после первых поцелуев,—ничего не заметил в погребѣ под башней?

Затуманенный теплом ее тела, запахом ее волос, он не вспомнил о странном узле. Она взяла свечу и повела его в погреб.

По дороге, вопреки своему обыкновению, она не переставала возбужденно болтать.

— Так лучше—иначе он бы покончил с тобой, лучше предупредить.

Когда они пришли в погреб, она сказала:

— Разве я плохо его запрятала? Ведь было бы неосторожно оставить его на дворе. Ты должен поблагодарить меня.

Давид не понимал ее возбужденного шопота. Тогда она подняла свечку. На пороге лежал какой-то человек в темном плаще, без движения. Моника посветила ближе и пытливо посмотрела в лицо Давида. Он смущенно передернул плечами, не понимая, чего она от него хочет.

— Значит, это дело бургграфа,—сказала она, и что-то вроде раздражения прозвучало в ее голосе.—В конце концов мне ведь все равно, кто его уколошил.

Давид сорвал плащ с лежащего человека. Убит.

Это был первый труп, который он видел в своей жизни.

Он уже не помнил, как происходили похороны его братьев и сестер. А этот человек—он еще вчера, может быть, сегодня был жив.

Это был крупный, рослый человек.

Давид боялся подойти ближе.

Он сразу похолодел, почувствовал, что еще никогда серьезно не задумывался над смертью, никогда не представлял себе, каким должен быть в действительности

мертвец. Моника тоже была возбуждена, но иначе чем он. Он молчал, а у Моника возбуждение проявлялось в том, что она не переставала говорить. Она, обычно такая уравновешенная и спокойная, теперь, повидимому, нуждалась в утешении и в громких рассуждениях.

— Ты должен радоваться,—сказала она Давиду,—тебе нечего с таким ужасом смотреть на этого свирепого парня, который только и думал, как бы погубить тебя, всех вас. Каждый день он бегал к шефенам. Выгнать евреев—больше он ни о чем не думал. Обленился, перестал работать. Мой отец давно уже прогнал его. С тех пор он постоянно околачивается здесь, около кузницы. Я встречала его здесь каждый вечер на дворе. Я так боялась, мне он тоже угрожал. А сегодня вечером я нашла его меж кустов у стены. Должно быть, господин фон-Розмиталь велел своим слугам укошнить его. Я сама его, собственными руками притащила в погреб. Радуйся же, что теперь все миновало. Ну же, радуйся!

— Кто это такой? Кто?—пробормотал Давид.

Моника присела на корточки около трупа, подняла лицо, искаженное гримасой, и, подражая покойнику, крикнула:

— Мы еще придем!

Только теперь Давид узнал покойника. Только теперь ужас пронял его до самого сердца, так что оно сначала совсем перестало биться, а потом забилося вдвое сильнее. Черный Каспар, подмастерье из кузницы,—и как он обезображен! На бледных губах свернулась кровь, умирая, он прокусил себе язык, и тот свисал изо рта. Это было ужасно! Давид не в силах был этого перенести. «Вот из этого искаженного рта еще недавно вырывались такие яростные проклятия! Этого кулака, который судорожно сжимал пустое пространство, так боялись! Этот

взгляд, теперь такой пустой и бледный, ожег меня однажды в утреннем сумраке так, что я даже издали ощутил пламя, а теперь в нем только холод и оцепенелость. Все живое ушло. Оно опровергнуто, и опровергнуто таким свирепым ударом, что даже прошлое кажется уничтоженным. Даже то, что было, кажется чудовищной небылицей».

— Это часто бывает, что в драке убивают кого-нибудь из немцев,—болтала Моника.—Хорошо, что он нездешний, иначе к нам сейчас стало бы приставать начальство.

«Так, значит, вот какой в действительности человек,—думал про-себя Давид,—смерть окончательно формирует его. То, что было раньше, это только несколько прыжков и судорог, а под конец человек лежит тихо, как пустой футляр, с открытым ртом, словно он выплюнул свою душу. И таким он остается навек. Нет, даже и таким не остается... — Давид закрыл лицо руками.—Наступает гниение»...

— Да тебе, никак, жаль его? Неужели ты плачешь? Он бы не стал долго задумываться и уколошил бы тебя, если бы ты попал к нему в руки. Это заслуженное наказание и справедливая месть.

— Месть?

Давид не ощущал потребности объяснять Монике, до какой степени фальшивым и ничтожным показалось ему внезапно все то, что он думал о наказании и мести, о действии оружием. Мстить врагам—это заманчивая идея, если бы только это не было так глупо! Ведь этим только самого себя дурачишь. Убиваешь врага, и вот он лежит мертвый и неподвижный, как Каспар у ног Давида. Но тем самым месть не попала в цель, потому что перелетела далеко за нее. Сделала бесчувственным того, кому хотела дать себя почувствовать, и теперь

он уже ничего не знает о вражде и мести и всем прочем, что делается на свете, он уже навеки стал недоступен всякой мести. Хотелось погубить его, унижить, а теперь он так загублен, так принижен—ниже растения, ниже камня, что человек уже не может ничего с ним поделать. Надругаться над ним—он не услышит, наступить на него ногой—не почувствует. Он даже ничего не делает, только... смеется. Смеется так громко и гулко, что уши человеческие не в состоянии вынести этого. Если внимательно прислушаться, то, в сущности, дьявол смеется из трупa, издевается над одураченным мстителем.—Весь погреб наполнен этим дьявольским ржанием и хохотом.—Давид вспомнил, что Ферранте в Неаполе балзамировал убитых им врагов и ставил их в том платье, которое они носили при жизни, в той комнате, куда он часто и с удовольствием заходил. Должно быть, этот головек был глух, ведь его комната, наверное, грохотала от презрительного дьявольского смеха!

И есть все-таки люди, которые этого не замечают, которые не чувствуют бессмысленности убийства. «Не убий». И Давид подумал: «Не то существенно, что есть такой запрет. Убивать — более чем запрещено. Убивать невозможно! Это противоположно природе человеческой, разуму, простому движению чувств. Поднять руку на ближнего, одним единственным ударом или уколом разрушить то, что создали года,—это грех».

Но ведь он мечтал о зле. «Мы грешим слишком мало»—ведь это за последнее время стало буквально его еврейским символом веры! Разве он не хотел научиться у Моники именно ее безмятежной отваге, ее беззаботности, уметь делать без раздумья то, чего ей хотелось. Да, грех, грех! Он ведь почти гордился своей греховностью. Но разве он знал, что такое грех? Восхищение смелыми походами и путешествиями в неведо-

мые страны, гордость, внушаемая знаменем, которое хранилось в синагоге как напоминание о борьбе, гордость, внушаемая ужасами в крепости Бетар и всеми битвами, описанными в трактате «Гитин», любовь к турнирам, к великолепным шлемам городской стражи— все это показалось теперь ему легкомысленным и презренным, не продуманным до конца. В этом мертвец с бледным лицом и прокушенным языком перед ним впервые встал грех во плоти и приводил его в ужас. Разве он когда-нибудь представлял себе, что перед храбро защищаемыми стенами Иерусалима, перед бурным натиском высадившихся португальцев кучами лежали убитые, несчастные, разорванные в клочья, приведенные в негодность люди, и у каждого, как у этого мертвеца, лицо было запачкано кровью?

«Не убий!» Убийство есть великий, настоящий грех, Но безобразным убийством кончается все, что во всех четырех мирах начинается так красиво и таинственно, гордой поступью, бряцанием оружия, красотой и веселою радостью и тайной великого дракона.

— Помогите же мне,—слышит он тихий голос Моники в то время как кровь стучит у него в висках.—Нам надо вынести его отсюда.

Рядом с большим сводом погребя имеется маленькая каморка, дверь которой открыла Моника.

— Если найдут труп, мне не сдобровать.

Давид посмотрел на нее, ничего не понимая.

— Ведь все-таки его убили из-за меня. Что не ты это сделал, это ничего не меняет.

Ему показалось, что она презрительно скривила губы. У него мелькнуло в голове: «Она—Венера, но как далеко от Марса»...

— Разве его не будут хоронить?—спросил он взволнованно.

— Я ведь сказала тебе: надо, чтобы не нашли его трупа.

— Ну, а как же с христианским погребением,— так ведь вы это называете?

— Поторопись,—у нас мало времени.

Она наклонилась к покойнику, схватила его подмышки. Давид все еще был неподвижен.

— Мне кажется, что ты, в сущности, язычница, а я, хотя еврей, но... больше христианин, чем ты.

Но он устыдился ее взгляда, который явственно говорил, что здесь не место для религиозных диспутов. Он не хотел заставлять ее одну тащить это тело.

«Значит, и тут есть палата мумий, как у Ферранте, и я каждую ночь буду проходить мимо мертвеца, когда буду прокрадываться к своему греху. О, я теперь только и узнаю, что такое грех».

Его так взволновали эти мысли, что он сначала не заметил, как тащил мертвеца. Но вдруг ему показалось, что холод трупа пронизывает плащ, к которому он прикасался.

И, вскрикнув, он бросил ношу и отпрыгнул в сторону. Прислонившись к стене и дрожа, он смотрел, как Моника одна скрылась с трупом в двери, ведущей в темную каморку. Не прощаясь с ней, он спустился к городскому валу и побежал к лодке.

«Какой я трус,—злбно говорил он себе. Зубы у него стучали, ноги скользили.—На этом самом валу я однажды вообразил себе, что беру приступом вражеский город. Да, если он не будет защищаться, если не будет течь кровь! О, как низко! Действительно ли низко? Нет, нет, пусть будет так, как оно есть, это все же лучше, чем убивать! Все на свете лучше, чем убийство. Следует быть добрым, хотя бы пришлось казаться жалким! Только не убивать! Только не грех, только не оружие и злоба!»

Все, что он передумал и пережил за последние годы, казалось словно опрокинутым при виде трупа. Смятение, груды развалин в сердце его.

Когда он входил в лодку, что-то зазвенело. Оружие в мешке. «А я, я хотел убить Гиршля—ранним утром и весело. Какие жалкие глупости я говорил!» И его охватил ужас перед собственной незрелостью, перед стремительной сменой мнений, перед неуверенностью, с которой он шел. Он не знал, куда ему идти. Вернуться к учению, жить как все евреи? Ему вдруг захотелось видеть отца. Снова найти путь к благочестивому отцу. Отбросить от себя, как что-то нечистое, все эти приключения, которые он переживал, жить мирно среди огромных книг, как ребенок.

Когда он выехал на середину реки, он бросил мешок в воду. Кинжал зазвенел. Веревки коварно зашуршали, вода забурлила, и все кончилось.

XVIII

Жить мирной, спокойной жизнью?..

В еврейском городе, несмотря на ночное время, люди стояли кучками у каждой двери и шушукались.

Поздно вечером распространился слух, что король подчинился настояниям шефенов и подписал эдикт об изгнании. Еще в тот же вечер староста Элия Мунка отправился в замок, попросил доложить о себе старшему гофмейстеру Ладиславу фон-Пернштейну, был принят им,—что, несомненно, можно было рассматривать как успех, хотя о содержании их беседы ничего не было известно. Но одновременно с этим в верхнем городе распространилась весть о том, что случилось после этой беседы. Беседа происходила с глазу на глаз, а сцену на дворе видели те, кто сопровождал старика

Мунку. Молодой франт,—говорят, это был шут короля,—подошел к старику с хлыстиком в руке. Под хохот придворных он сказал, что благодарит за пятьдесят дукатов и приносит обещанный хлыст. Правда, это не хлыст короля, а самый обыкновенный хлыст, но зато еврей может почувствовать его не только рукой, но и лицом. И с этими словами шут подошел к почтенному старику и несколько раз ударил его хлыстом.

— Раны с палец глубиной,—рассказывал кто-то из кучки, к которой подошел Давид.

Другие еще старались превзойти его. Врач, который только что был у старшины, будто бы сказал, что причинено опасное для жизни увечье.

— Но это еще не самое худшее,—пропищал фистулой маленький портной Ефраим.

Кучка плотнее обступила его.

— А в чем же дело? В чем дело?

— Разве вы не знаете самого худшего, что случилось потом? Когда вмешались наши старосты и пожелали защитить старшину, то придворные стали угрожать им. Они кричали, что это еще пустяки, что это еще ровно ничего не значит,—вот когда у нас на спинах затаңцуют розги короля, тогда мы увидим...

— Они имели в виду изгнание,—поспешил заметить кто-то из толпы, и все вздрогнули.

— Ну, а старшина,—спросил Давид,—что же он ответил этим негодяям?

Измученные лица. Наконец, портной изрек:

— Мудрый реб Мунка, по счастью, принадлежит к разряду кротких людей, к дому Ааронову. Он ничего не ответил, а быстро и тихо ушел.

— Это бы только повредило общине,—возбужденно взвизгнул портной. —Сказано в писании: «Тот, кто пред-

ставляет общину, должен вдвойне и втройне следить за каждым словом и своевременно закрывать рот перед властями.

Здесь вмешался мясник Бунцель:

— А есть все-таки люди, которые сумели бы, когда нужно, оскалить зубы.

Мясник был известен как ярый сторонник ювелира Кралика. Остальные забросали его упреками.

— Надо сначала выждать!—кричал портной таким визгливым голосом, что его едва можно было понять.— Старшина назначил на пять часов утра тайное заседание совета.

Давид с болью отвернулся от них. О, это все было ему давно известно. Бесполезные партийные распри в общине и одинаковое бессилие всех партий, яростные споры и никакого дела, бесконечные заседания, о которых ходил удачный анекдот: «Что же решили на собрании?»—«Собраться еще раз!»

«Нет, это нам не поможет. Эти старинные средства не в силах одолеть наш позор. Неужели так должно продолжаться, как было в течение всех этих столетий: вечный страх, бесправие, унижение?» Невольно мысли его свернули на излюбленную дорогу. «Нам нужно оружие, сила, открытое сопротивление. Разве не поступил так реб Шила с доносчиком, сославшись на учение: «Если кто-нибудь хочет тебя убить, предупреди его», взял палку и убил доносчика. И разве не честно и правильно поется в древней песне Ламеха в первой книге Моисеева пятикнижия:

Ада и Цилла, слушайте речь мою,
Жены Ламеха, внимайте словам моим:
Мужа убью я за рану мою,
Юношу за рубцы мои.

Семикратно отомщен был Каин,

Семьдесят семь раз отомщу за Ламеха.

Давида охватил восторг при мысли о семидесяти семикратной мести угнетателям. И сейчас же вслед за этим он увидел черного Каспара, лежащего в погребке, при свете факела, с судорожно сведенным ртом и вздрагивающим искусанным языком.

Душа его старалась укрыться от этого греха. Пылая в лихорадке, он зарылся лицом в подушку кровати—но не мог заснуть.

«Но все же без греха не обойтись»,—подумал он, и рот его сжимался в жесткую складку, словно в этот момент от него навсегда уходил добрый гений его детства.

«Без греха не обойтись, наш позор слишком глубок, мы не можем надеяться на избавление честными средствами. Следы отвратительного позора должны остаться и на нашем избавлении. Не по пути добродетели придет оно, не пророки и песнопевцы будут его возглашать. Слишком долго лежали мы в грязи, мы подобны тому поколению, которому ни Моисей, ни Иешуа не являлись избавителями, которому пришлось послать блудницу для того, чтобы спасти его от виселицы палача. Эсфирь, Эсфирь! Отвратительно разукрасила себя красавица, отдалась прихоти царя, и это тоже называлось местью, это тоже было избавлением! Избавлением посредством греха. О, как я это все неправильно понимал до сегодняшней ночи. Я хотел принять грех в сердце как радость, хотел быть с ним счастливым, считая его легким и приятным. Потому что ничего о нем не знал! Но теперь я знаю всю правду. Грех колюч, я бегу от него, он безобразен и воняет падалью. И все-таки надо грешить, грешить без радости, грешить ради

бога, ради избавления,—держать меч, от которого отказывается рука, пить кровь, которая горька, как желчь, может быть, это и есть тот священный подвиг, к которому я призван.

И, может быть, это и есть подлинный смысл изречения, что надо служить богу также и дурным побуждением».

XIX

Он спал недолго.

Его разбудили громкие голоса в соседней комнате, где занимался отец и где обычно было так тихо.

Давид поспешно оделся. Он знал, что означает этот шум. В целях безопасности, как и раньше неоднократно, заседание совета назначили не в доме старшины, за которым могло быть установлено наблюдение, а в доме не возбуждающего подозрений ученого, Симсона Лемеля.

В качестве сына хозяина дома Давиду разрешалось присутствовать на собрании, слушать, но, конечно, не выступать с речами. Не любопытство, а горячая забота о судьбе общины заставила его войти в комнату, где он безмолвно поклонился отцу, едва взглянул на остальных и, не желая мешать им, немедленно уселся в уголке. Это было, собственно, излишним, потому что заседание еще не начиналось. Из двадцати семи старост некоторые еще отсутствовали, в том числе и сам старшина. Не пришел еще и рабби, который как «отец суда», т.-е. председатель сго—«ав-бет-дин», был приглашен вместе с обоими заседателями—«даянами». А, между тем, прошло уже больше часа после времени, назначенного для начала собрания.

Давид уже привык к тому, что заседания совета начинались с огромным запозданием и что те немногие,

которые имели хорошую привычку приходить в назначенный час, бесполезно тратили время из-за других, не соблюдавших порядка. Так бывало на всех заседаниях, а не потому, что сегодня было положено собраться в такой ранний утренний час. Но именно на сей раз Давид надеялся, что будет сделано исключение из дурного правила, ибо все же должны были понимать, что быстрое решение являлось вопросом жизни и смерти! «Странное дело,—думал Давид,—для других мы внимательны и аккуратны. Многие дворяне держат при себе евреев, которые самым добросовестным образом и очень успешно ведут их сложные дела. А свои собственные дела мы ведем без того чувства порядка и долга, которое, будучи выражено в мелочах, обеспечивает благоприятный исход всему делу»...

Наконец, вошел старшина в сопровождении своего друга, высокого тощего Липмана Спира, который пылливо и вызывающе смотрел в лицо каждому из ожидавших, когда обменивался с ними рукопожатиями. Посмеет ли кто-нибудь сделать замечание или выразить порицание запоздавшему старшине? Решится ли кто-нибудь не признать, что это опоздание более чем оправдывается глубокомысленными планами, тайными совещаниями, которых не в состоянии постичь обыкновенный член совета? Раздражение, горевшее словно про запас, на всякий случай, в сверкающих карих глазах Липмана Спиры, требовало простора, в котором оно могло бы разрядиться еще прежде чем что-нибудь произошло, прежде чем был заявлен какой-нибудь протест против старшины, которого Спира горячо почитал. С шумом он занял свое место, опрокинул стоявший перед ним пульт; на скамейке ему было слишком тесно, в кафтане с растегнутым воротом—слишком жарко. Он беспрерывно тербил левой рукой свою длинную бороду.

Старшина занял место на возвышении и начал свою речь. Прихода рабби он не стал ожидать, хотя некоторые беспокойно оглядывались на дверь и тем как бы требовали подождать с началом собрания. Другие возражали жестами и шопотом—и вообще в течение всего заседания ни разу не установилось полного спокойствия. Беспрерывно происходило что-нибудь такое, что отвлекало внимание. Но все-таки речь старшины была выслушана сравнительно спокойно. Отсутствие рабби не слишком мешало. Дело в том, что рабби Исаак Морголиот, который первоначально пользовался очень большим уважением, сильно утратил свой авторитет несколько лет тому назад вследствие того, что он выжил с места своего товарища по должности, второго пражского рабби, Якова Поляка.

С тех пор как на имя рабби Морголиота легло это пятно, старшина Мунка, которого прежде стесняла слава ученого рабби, правил в качестве неограниченного повелителя общины. Его быстрый ум, его изворотливость, его воля, не сломленная даже преклонным возрастом и когда-то вызывавшая изумление как чудо природы, делали его способным занимать этот пост, который он уже много десятилетий под-ряд с исключительной энергией защищал против всяких попыток захвата. Тот, кто видел Элию Мунка только в общении со знатыми господами и христианами или как готового принять всякий позор, покорного просителя перед королем, тот не узнал бы его здесь, в его собственной сфере деятельности, в его королевстве. Маленькое слабое тело даже в сидячем положении держалось прямо, как свеча, могучий подбородок выдвигался, как стиснутый кулак, а под белыми густыми бровями пылали большие черные глаза. Мунка говорил медленно, преувеличенно растянуто, как человек, уверенный в своем значении и

влиянии, не удостаивал взглядом своих слушателей—и, тем не менее, подчинял их своей воле. Голос у него был металлический, и, тихо звеня, как железо, он продвигался от одной обдуманной фразы к другой. Эта монотонная речь, не обнаруживавшая никакого душевного волнения, как нельзя лучше выражала холодный, не доступный сомнениям характер человека, о котором говорилось, что он способен прошибить головой стенку. Иногда это ему действительно удавалось. Постройка стены вокруг гетто была в значительной степени его делом. Уже не раз он предупреждал угрозу изгнания. Если теперь была какая-нибудь возможность выйти из отчаянного положения, то помощи следовало ждать только от него.

Мунка говорил долго. Он подробно рассказывал о своей беседе с обер-гофмейстером. Он требовал, чтобы его допустили к королю, желая еще раз изложить все, что можно было сказать в пользу пражских евреев. Давид обратил внимание на то, что Мунка не без самодовольства все время повествовал о том, что он сказал обер-гофмейстеру и какими новыми аргументами он подкреплял свои соображения. Эти аргументы он повторял здесь со всем пылом своего красноречия, как будто ему требовалось убедить евреев, а не обер-гофмейстера. Но что ему ответил обер-гофмейстер? Об этом Мунка не говорил ни слова. И самое странное было то, что никто из его слушателей, повидимому, не почувствовал этого. Эти, в обычной жизни столь умные люди были так очарованы, так счастливы, слушая новые доказательства своей невинности и своей полезности для населения Праги. Надо полагать, что обер-гофмейстер вообще ничего не ответил или ограничился обычной фразой всех важных персон, что он расследует дело. Но об этом никто не спрашивал, и никого не шокировало, что Мунка (впрочем, без всякого особого намерения,

следуя лишь старому обычаю в изложении подобных разговоров) передавал свою беседу с обер-гофмейстером в такой форме: «Ты ошибаешься, если думаешь, что у нас нет защиты у короля, и ты увидишь». Все время это «ты», от которого Давиду становилось больно, когда он представлял себе, как происходил разговор в действительности. Свежие красные шрамы на щеках Мунки, правда, не с палец глубиною, но достаточно явственные, свидетельствовали об этом вполне отчетливо.

Старшина закончил свою речь.

Все знали, что отвечать ему будет его противник — Кралик, разбогатевший на торговле драгоценными камнями, самый богатый человек в общине, уже много лет безуспешно стремившийся занять пост еврейского старшины. Неудачи на выборах (в общине все должности замещались по выборам каждые три года) не ослабили его самоуверенности, основанной не только на его богатстве, но и на том обстоятельстве, что он больше ездил по свету, чем другие пражские евреи, и приобрел, как он полагал, практические познания, которых они не имели. Чтобы подчеркнуть эту разницу, он одевался иначе чем все. Носил широкий шелковый плащ, с которого сзади спадала на землю длинная полоска,—так одевались его голландские друзья—коммерсанты. Плащ был, правда, черного цвета, как и у всех евреев, но несколько своеобразный покрой обращал на себя внимание. В речах своих он тоже бил на эффект. Говорил коротко, без околичностей,—так, по его мнению, следовало всегда говорить в совете,—и заботился о том, чтобы речь его всегда заключала в себе какую-нибудь сенсацию. За это его не любили, и, хотя речи его были основательны и полезны, он вместо того, чтобы завоевать успех, только отталкивал от себя людей. Так было и на этот раз. Длинной речи Мунки, в которой он, по

его словам, не нашел никакого практического вывода, он противопоставил простое заявление, что в то время как другие думали и гадали, он уже действовал. Вчера он побывал у лейб-медика короля, Ангелика, единственного еврея, который с королевского разрешения проживал вне гетто и недавно даже купил себе дом около замка. От его заступничества можно ожидать бóльшего успеха, нежели от хлопот у всех этих знатных аристократов, которые, конечно, никогда не добьются для евреев аудиенции у короля, потому что они желают как можно меньше впутываться в это дело.

Мунка стал немедленно возражать—и притом в очень резкой форме. Он категорически протестует против подобных закулисных ходов, которые подрывают всякую возможность успешного осуществления его собственного плана. Дело собрания решить, какой план более правилен, но отдельный член общины не в праве предпринимать раньше шаги, которые могут оказаться роковыми. Он, со своей стороны, имеет основание ожидать, что аудиенция у короля будет дана ему. Она почти обещана и притом на один из ближайших трех дней. Но если г-н фон-Пернштейн узнает, что к королю пытаются подойти еще и другим путем, то он, надо полагать, рассердится и откажет в своем содействии.

Вслед за этим объявлением войны начался оживленнейший спор во всех углах. В то же время слово было дано Аарону Просницу, который попросил его сейчас же после речи Мунки. Но тогда на него нарочно не обратили внимания, так как все хотели сначала выслушать вожака противной партии. И теперь его никто не слушал. Обмен мнений между собравшимися заглушал его хриплый, астматический голос. Просниц был лишь на несколько лет старше Давида, но был уже давно женат. В прежние годы он учился вместе с Давидом. Но вскоре

пути их разошлись, и Просниц с увлечением отдался историческим изысканиям, которые не интересовали Давида. Про него говорили, что он работает над историей еврейской общины в Праге. Ради его исторических познаний, которые неоднократно находили себе применение, его выбрали в совет. Но в то же время эти познания, как и всякую светскую науку, ценили так низко, что молодой человек получил в жены только дочь бедняка и всю свою жизнь был обречен оставаться в кругу ученых, которых старшина Мунка прикармливал за своим гостеприимным столом. Заметно было, что Просниц тщательно подготовил свою речь. С несокрушимым тщеславием, которое совершенно не считалось с тем, как мало интересовали излагаемые им факты собрание, которое было потревожено в основах своего существования, он начал излагать присутствующим все права, которыми пользовались чешские евреи, начиная от привилегии, дарованной Пржемыслом Оттокаром. Он подробно излагал грамоту, полученную евреями от Карла IV, а когда, наконец, в своем обстоятельном изложении дошел до сеймовых постановлений, относящихся к царствованию здравствующего короля Владислава, то ввиду важности этих новейших документов он стал цитировать дословно, что—«евреи будут на вечные времена терпимы в землях короны чешской, и если кто-нибудь из них провинится против законов страны, то наказан будет только преступник, совершивший преступление, а никак не все еврейство». Никто не обращал на него внимания. «Глух он или слеп, что ничего не замечает?—подумал Давид.—Неужели ему достаточно строить фразы, щеголять историческими датами в то время как враг стоит у ворот и жестокая нужда угрожает народу?» В совете всякого другого государства такого болтуна в подобный момент давно

бы убрали. А здесь довольствовались тем, что невежливо поворачивались к нему спинами, образуя группы, которые его не слушали, занимаясь обсуждением распри, только что возникшей между старшиной и его противником. И, тем не менее, нельзя сказать, что его совершенно не слушали, потому что в тот момент, когда оратор подошел к современности и к своим выводам, с разных сторон к нему стали подниматься головы, и вскоре, словно посредством какого-то таинственного механизма, он собрал всех вокруг себя. Дело в том, что выводы носили особый отпечаток. Не прямо, но все же довольно явственно и лишь чуть-чуть прикрываясь учеными ссылками, он в своих выводах полемизировал со старшиной. Юридическое положение ясно, изгнание незаконно, а следовательно,—это был несколько смелый вывод, но здесь любили такие остроумные заключения,—ходатайство у законных властей бесцельно. Только окольными путями, через протекцию, может быть, путем подкупа, можно добиться чего-нибудь. Тем самым молодой ученый высказался против предполагавшейся аудиенции и за ходатайство через посредство лейб-медика. Он гордо выпрямился, его истощенное, заостренное лицо, обрамленное светлой бородкой, было бледно, как мел, глубоко лежащие голубые глаза вспыхивали беспокойным огнем. Этот бедняк был опьянен своей правдивостью. Все знали, что он кормился за столом старшины Эли Мунка и зависел от своего благодетеля. Но он желал показать, что в совете он не поддается никакому влиянию. Последние слова он выкрикнул с кашлем и хрипом, словно обессилевши от своего мужественного напряжения. После этого, тяжело переводя дыхание, он уткнулся в раскрытую перед ним на пульте книгу, опустив голову на вытянутые руки.

Но эффект, произведенный его речью, был сейчас же уничтожен разразившимся шумом. Прежде чем старшина мог ответить, вскочил его верный соратник, Липман Спира. Уже во время последних слов ученого он ерзал от нетерпения. Теперь он бросился к Аарону Просницу со словами:

— Это обман, жалкий обманщик, лжец, лжец, выгнать тебя надо! Убирайся вон!

Вокруг поднялись на защиту Просница. Здесь всякий имеет право высказывать свое мнение. Для этой цели сюда и собрались. Даже старый Соломон Меркль, который, как это часто с ним бывало на заседаниях, задремал с полузакрытыми глазами, проснулся от шума и ласково попросил разъяренного Спира умерить свой пыл. Другие ударяли ладонями по раскрытым фолиантам и повторяли: «Ша, ша, ша», требуя спокойствия. Но Спира неистовствовал. Борода его, которую он теребил пальцами, была всклокочена, он кричал, что не может оставаться в одной комнате с нечестным человеком, который говорит вопреки собственному убеждению. Пускай либо удалят Просница, либо он покинет совещание. Старшина ударил ладонью по своей книге, зычно крикнул «ша», и только тогда все затихло.

— Ты останешься, и он останется,—отрывисто и спокойно сказал Мунка.—А говорить будет рабби.

Рабби Морголиот, сопровождаемый судебными заседателями, пришел незадолго перед тем, и старшина, безупречный в таких формальных любезностях, представил ему честь, полагающуюся ему по рангу. Но Спира в своем честном возбуждении долго еще не мог успокоиться. Дрожа всем телом, он обиженно поглядывал на Мунку, который лишил его слова. Ему особенно больно было такое отношение со стороны человека, которого он почитал от всей души и за которого

готов был бороться до последней капли крови. Как непокорное дитя, он зарыл голову в руки и почти плакал.

— Я могу и помолчать,—ворчал он.—Пожалуйста, если угодно, мне все равно. Я совершенно бескорыстно хотел отстаивать хорошее дело. Я был и остаюсь убежден, что Просниц советует неправильно. Больше я ничего не хотел сказать. Личность его меня не интересует. Но если кто-нибудь в этом собрании,—здесь он снова вскочил,—усомнится в моем бескорыстии и будет утверждать, что я говорил по личной злобе на Просница, а не в интересах дела...

А на другом конце комнаты Аарон Просниц, с бледным лицом, кашляя, тоже клялся в чистоте своих побуждений. Он тоже стремился только к тому, чтобы собрание вынесло правильное постановление. Никакие побочные интересы не руководили им.

«Они чисты и бескорыстны, как будто это теперь нужно»,—думал Давид, сидя в своем уголке. Его приводила в ужас бездарность этих людей. Они думали о своей чистоте, а не о спасении народа. Разве эта непомерная гордость своим безгрешием не являлась злейшим грехом, разве не была она предательством?

• Рабби начал свою речь:

— Человек бежит ото льва, а навстречу ему медведь. Он спешит в дом, опирается рукою об стену, и его кусает змея.

Рабби демонстрировал свою ученость почти так же, как и молодой историк. Тот цитировал рескрипты, здесь сыпались цитаты из писания и комментариев к ним. Это тоже длилось бесконечно, хотя собрание уже вскоре стало обнаруживать признаки нетерпения. Впрочем, и у рабби был свой проект. Он указал на бургграфа Лео фон-Розмиталья, который уже неоднократно давал понять, что за хорошую ежегодную плату он готов сделать

евреев своими подданными, «охранными евреями», и изъять их из юрисдикции короля и пражских шефенов.

Лицо старика Мунки затуманилось. Давид понимал его нетерпение. Все то, что ему подносили как великие открытия и великую мудрость, все это он уже давно испытал, сам испробовал бесконечное множество раз и, понятно, не преминул сделать и в данном случае. Прежде чем ухватиться за последнее средство—аудиенцию у короля, он испробовал другие, мелкие средства, которые ему здесь предлагали как совершенно оригинальную выдумку. Или, может быть, молодой Аарон Просниц действительно думал сказать ему что-нибудь новое, когда напоминал об окольных путях протекции и, может быть, даже подкупа. Это, пожалуй, особенно раздражало старшину, который за годы своего пребывания на посту десятки раз с успехом пользовался такими средствами, тогда как кабинетный ученый Просниц был знаком с ними только по наслышке. А с бургграфом, о котором упомянул рабби, как он уже несколько недель тому назад докладывал в совете, неоднократно вел переговоры Кралик, и каждый раз безуспешно. Так к чему же теперь вся эта болтовня? Вместо того, чтобы сказать: поступай так, как найдешь правильным, ты — единственный человек, который по многолетнему опыту разбирается в делах,—вместо того, чтобы сказать это, люди вносят бесполезные предложения, только путают и мешают. Каждый хочет говорить сам и как можно больше. Никто не в состоянии отказать от слова, ну, хотя бы из самодисциплины. И Давиду казалось, что на лице этого строгого, непоколебимого человека было выражение усталости.

Заседание продолжалось.

Обнаружилось, что, в сущности, не было никаких настоящих партий, расходящихся во взглядах. Пред-

ложениями обоих главных противников Мунки и Кралика никто не занимался. У каждого был свой собственный проект, который он считал единственно правильным и по сравнению с которым все остальные возможности спасения, предлагавшиеся другими, представлялись ему обманчивыми и даже вредными и требовали самого энергического противодействия. То, что говорили другие, встречалось безусловным презрением. Каждый говорил прямо и резко, но почему-то эту резкость, хотя ее все проявляли, считал совершенно из ряда вон выходящей, как будто лишь у него одного хзатило на это смелости. И поэтому каждый, не стесняясь, порицал остальных и, видимо, гордился тем, что он не стесняется в своих выражениях и сеет вражду и раздор. «Видишь, я всюду наживаю врагов»,—говорил его горжествующий взор. В этом собрании не было человека, который не считал бы себя самым умным, самым лучшим, единственным повелителем и вождем. А если он публично признавался в своих недостатках, то это была лишь игра, потому что он считал, что именно таким припадком раскаяния он особенно подчеркивает свою ценность. И, сжимая кулаки, Давид думал: «Как хорошо, что я отдался греху. Я нехороший, но, по крайней мере, я явственно вижу зло. Я не позволю себя обмануть».

До всех дошла очередь, и все говорили. Тем временем наступил полдень. Некоторые ходили домой закусить, но когда им предоставляли слово, они оказывались на месте. Все хотели говорить, никто не желал слушать. Даже добродушный старый Соломон Меркль, когда его разбудили, произнес речь, не имевшую никакого отношения ко всему, что говорили остальные, и сводившуюся главным образом к воспоминаниям его юности, которые, по его мнению, он должен был изложить как

нечто чрезвычайно существенное для понимания нынешней ситуации.

К середине дня затянувшиеся прения, наконец, уперлись в вопрос: аудиенция или доктор Ангелик. Давид удивлялся. Все остальные побочные предложения, словно повинувшись естественному закону природы, отпали, при чем инициаторы этих предложений даже не замечали того. Просто уже не говорили больше о бургграфе и об остальных богемских чиновниках, о письмах в Польшу, о германском императоре, об апелляции к папе, о всех этих весьма отдаленных и часто нелепых средствах, которые так ревностно защищали. Все это был мнимый поединок. Его нужно было разыграть, а теперь все приходило к концу. И становилось ясным.

Тогда решительно потребовал слова Мейер Дуб—высокий сильный мужчина с черной, как смоль, густой бородой. Его оглушительный голос заставлял себя слушать. Он уже много раз вмешивался в прения, которые тянулись почти двенадцать часов, и каждый раз ему хотелось изложить какую-нибудь новую мысль. Собственно говоря, это не были его самостоятельные мысли, но он приписывал себе особое умение приводить в порядок чужие предложения, согласовывать, сглаживать их. И никакая сила в мире не могла бы его остановить в выявлении этого, как он полагал, высоко полезного его свойства, необходимого для общего блага.

— Дайте мне говорить!—начал он, размахивая руками во все стороны, чтобы утихомирить собрание.—Нет никакого смысла продолжать такой спор, дайте мне сказать только несколько слов, и вы сейчас увидите, что я быстро все улажу.

Живой взгляд довольно красивого лица, сильные движения высокой фигуры имели что-то подкупающее, непосредственное, убедительное, так что и Давид взглянул

на него с надеждой, что вот теперь наступит просветление. Мейер Дуб, по профессии литейщик олова, действительно говорил вначале очень вразумительно и перечислял все проекты, выдвинутые на собрании, обещая согласовать их. Чиновников, к которым можно было обратиться, он сгруппировал по рангам, начиная от главного канцлера королевства. Но вскоре он ударился в несущественные детали. Стремясь никого не обидеть, он отмечал даже мысли, брошенные вскользь, в серьезность которых никто не верил, которые здравым инстинктом были уже давно отброшены в сторону. Мейер Дуб снова вызвал путаницу и притом в такой момент, когда собрание почти уже подошло к цели. При этом его рычащий голос не позволял прерывать его. И хотя он обещал сейчас кончить, он говорил дольше всех ораторов.

Давид не мог больше выдержать.

Он вышел из комнаты на улицу. Перед домом стояла большая толпа евреев. Ожидали результатов тайного совещания, о котором все знали. Здесь тоже имелось бесконечное число различных мнений. Портной Ефраим, мясник Бунцель и многие другие выступали здесь в качестве ораторов. Болтовня шла такая же, как и в комнате.

Какой глубокомысленной казалась Давиду, по сравнению со всем этим шумом, несловоохотливая Моника. Когда они стояли перед трупом, он почувствовал, что она чужая ему, но разве и здесь она не сделала того, что было нужно, что диктовалось необходимостью, и притом сделала без лишних слов, повинаясь велению сердца. И вдруг он вспомнил, что Моника предлагала свою помощь на тот случай, если не будет другого исхода. Речь могла идти только о том, чтобы она пошла к бурграфу. Давид решительно от этого от-

казался. Послать свою возлюбленную к бургграфу,— эту мысль он хотел выжечь из головы.

Когда он вернулся домой после непродолжительной прогулки, он не поверил своим ушам. Ослепленные люди спорили теперь о том, можно ли считать врача Ангелика, державшегося вдали от общины, правоверным евреем. Старшина Мунка выдвинул этот вопрос, очевидно, для того, чтобы создать затруднения для проекта Кралика. И верный оруженосец Мунки, всегда возбужденный Липман Спира, размахивая руками и бородой, громил еретика Ангелика. Плащ у него расстегнулся, шапочка сбилась с головы, он являл собою образ неистового драчуна.

Недалеко от Кралика, толстого и неподвижного, но каждую минуту готового к отпору, Давид заметил Голодного Учителя Гиршля. Резкое разделение между советом и улицей исчезло, нетерпение ждавших внизу нельзя уже было сдерживать, некоторые граждане стояли на лестнице, другие заглядывали в полураскрытую дверь, сидели на окнах, выходящих на лестницу. Прибегали посланцы, сообщали общине о предполагаемых решениях, осведомляли членов совета о настроениях в толпе. Одним из этих посланцев был также и хромой учитель, который действительно, как в этом лишь теперь убедился Давид, пользовался вниманием богатого ювелира и тем самым приобрел рупор для выступления в совете. Гиршль что-то нашептывал ювелиру, после чего Кралик, до тех пор скупившийся на слова, важно встал и сказал:

— Если здесь нападают на врача Ангелика, относительно которого я имею доказательства, что он верен религии, то следует проверить образ жизни людей, которые состоят даже на службе у общины. Я имею в виду старика Герзона, одного из привратников.

— Это не относится к делу,—крикнули ему.

— Я привожу этот пример только для того, чтобы надлежащим образом оценить строгость старшины и преданного ему, высоко уважаемого Симсона Лемеля. Нельзя заподозреть невинного и одновременно защищать человека, знакомого, как говорят, с каббалистическими писаниями, которые лучше бы сохранять в тайне. Человек этот ждет пришествия Мессии не к концу мира, а в наши дни, его мучают злые духи, доказательством служат его совершенно сумасшедшие трубные сигналы. Вместо того, чтобы протрубить двенадцать часов, он трубит сорок.

Глаза Гиршля дико сверкнули в сторону Давида. Скажет ли Кралик сейчас о том, что Герзон давал ключ от ворот? Но Кралик умолк—очевидно, он не знал об этом. Однако Гиршль ошибся, полагая, что он напугал Давида. Юноша испытывал не страх, а отвращение. Разве это было допустимо? Эти несчастные накануне угрожавшего им крайнего бедствия бросались на человека, который был еще слабее их, который находился еще в более бедственном положении. Неужели таким образом они хотели убедить себя в своей силе, в жалком остатке власти? Казалось, что это было так, потому что многие стали на сторону Кралика.

— Такой привратник роняет достоинство общины,—воскликнул один из присутствовавших, совершенно забывая, что эта община в скором времени может исчезнуть с лица земли.

И даже престарелый Соломон Меркль, проснувшись и схватив одним ухом, о чем шла речь, тоже поддержал Кралика:

— По трубным сигналам Герзона не поймешь, который час.

— Сорок часов,—пошутил один из молодых людей.

Но остальные продолжали яростно полемизировать.

Было ясно, что добиться единения теперь невозможно, и старшина уже вел переговоры с рабби и некоторыми поддерживающими его старостами о созыве нового собрания.

Пользуясь тем, что порядок в зале нарушен, противники резко нападали друг на друга.

Вдруг из угла комнаты раздалось гнусавое пение, которое, хотя и не было громким, моментально заглушило шум и заставило всех умолкнуть. Это один из членов совета повернулся к восточной стене и начал послеобеденную молитву, «минха». К нему примкнули все остальные, тоже повернулись лицом к востоку, и голоса их слились, иногда объединяясь в невыносимый гул, иногда снова дробясь на тихие полутоны. И вдруг снова вскрик и снова приглушенные рыдания. Все молящиеся стали медленно раскачиваться туловищами вперед и назад или резко поворачивались в обе стороны. Не потребовалось никакой церемонии, чтобы в одно мгновение превратить совет в молельню. И народ, среди которого никто не считался с мнением другого, вдруг оказался подлинным народом. Молитва объединила их.

И Давид вдруг почувствовал, что весь этот день он пристрастно и неправильно, может быть, под влиянием событий ночи смотрел на вещи и был несправедлив к своим единоверцам. Когда он смотрел на них теперь, он находил у них у всех, а не только у отца, возвышенные и, во всяком случае, не пошлые черты. Разве не все они по-своему радели об общем благе? В других условиях, без этого гнета, под которым они жили как евреи, среди другого, более могущественного народа, некоторые из них стали бы выдающимися государственными деятелями. Старшина Мунка был бы правителем-тираном, Липман Спира его верным визирем,

Просниц—великолепным архивариусом, рабби—мирным священником, благоразумно держащимся на заднем плане, Мейер Дуб—хорошим юристом и систематиком, а Кралик—тем оратором оппозиции, без которого невозможны правильные прения и благоразумные мероприятия.

Молитва закончилась. Люди расходились усталые, с воспаленными глазами. Последние взоры, которыми они обменивались друг с другом, снова несколько отрезвили Давида. В этих враждебных взорах не было никакой мысли. И он не мог скрыть от себя, что в конце концов правильной оказалась только старая поговорка: «Что решили на собрании»? -- «Собраться еще раз».

XX

На следующее утро, в сопровождении огромной толпы, в еврейский город въехал трубач и протрубил три раза: у городских ворот, у старой синагоги, у скотобойни около кладбища, после чего герольд, тоже сидевший на лошади, прочел королевский приказ, в силу которого все евреи с женщинами и детьми должны были в течение восьми дней покинуть Прагу и пригороды и взять с собою только платье, которое они носят на себе, и съестные припасы на неделю. Евреи, которые по истечении этого срока окажутся в Праге и пригородах или в соседних деревнях, подлежат смертной казни.

Народ ликовал, пел издевательские песенки—старые и сочиненные специально на этот случай. Радость была так велика, что никто не думал о грабеже. Городской страже, мобилизованной большими отрядами, нечего было делать.

Евреи безмолвно убегали с улиц, закрывали двери и ставни окон.

Трижды наслаждался народ оглашением королевского приказа, угрозой смерти евреям. Затем он в веселом настроении очистил еврейский город, где не было больше ничего интересного.

Улицы в течение всего дня пустовали. Только когда вечером в обычный час закрылись ворота гетто, евреи осмелились показаться из своих домов.

XXI

В эту ночь никто не спал.

В отчаянии и смятении евреи толпились на улицах. Остановливаясь перед домом рабби, перед домом старшины, взывали о помощи. Учебные и моленные дома были переполнены. Люди читали псалмы, рвали на себе волосы, посыпали голову пеплом, разрывали платье. Вдруг распространилась весть, что Липман Спира заколол кинжалом свою единственную дочь—молоденькую девушку. Слух на этот раз оказался не выдумкой. Все видели, как судебные заседатели вошли в дом рабби Морголиота и как туда привели Спиру. За ним следовала его жена, совершенно убитая горем, неспособная произнести ни слова. Суд оправдал его, памятуя, что в святых общинах в Шпейере и Вормсе многие отцы убивали своих детей, чтобы спасти их от самого страшного несчастья—от принудительного крещения. А положение евреев в Праге, по всеобщему убеждению, было такое же бедственное, как положение этих общин, уничтоженных крестоносцами.

Тем не менее, когда было замечено, что два-три семейства из числа беднейшего населения делают приготовления к тому, чтобы заблаговременно покинуть город, это вызвало возмущение. Бедняки, которым нечего было терять и которые поэтому не держались за по-

следнюю слабую надежду, не хотели, чтобы их захватил хаос всеобщего выселения, когда ко всему еще может угрожать опасность для жизни. Поэтому они упаковывали свой жалкий скарб и собирались незаметно покинуть город еще до того дня, когда двинется все еврейское население и когда одновременно с этим начнут свою работу придорожные грабители. Но в том, что они в момент нужды отделялись от общины, остальные усматривали измену. Еще подумают, что евреи сами считают свое дело проигранным и начинают обращаться в бегство! Народное негодование с яростью опрокинулось на этих несчастных, которые думали только о себе, не обращая внимания на новую опасность, которой подвергали всю общину. Толпа ворвалась в их дома и разнесла вдребезги скромную утварь, которая там находилась.

И в то время как в квартале, где жили бедняки, несколько горячих голов творили эту необдуманную месть, в то время как в другом конце гетто, в большом доме рабби избранные члены общины судили Липмана Спиру, а по улицам двигались огромные растерянные толпы, в это время началось новое бедствие: «Пожар!» Загорелось около стены гетто.

Давид стоял у своего дома, утомленный всеми напастьями, которые в течение нескольких часов обрушились на общину, этими кровавыми деяниями, которые были еще только началом. Итак, наступили решительные дни, которых он давно ожидал. Предстояли невероятные бедствия для его родителей, для всех. Приходится бежать, не имея нигде убежища. И он не в состоянии помочь, как и до сих пор не был в состоянии шевельнуть хотя бы пальцем. Решительные дни пройдут точно так же, как минувшие дни выжидания, пока не наступит ужасный конец.

Толпа, кричавшая: «Пожар!», вывела его из оцепенения. Он побежал вместе со всеми, еще не успев осмыслить нового несчастья.

По улицам гремели повозки с пустыми бочками. Куда они направлялись?.. Он только теперь заметил: к башне Герзона! Нужно было открыть ворота, которые вели к Молдаве, и налить воду в бочки, чтобы тушить пожар.

Повозки подъехали, ключ повернулся в воротах. Ключ... «Какое счастье,—подумал Давид,—что я сегодня не у Моники». Он всегда боялся такого пожара. Пожар: выдал бы его с головой, если бы не нашли ключа от ворот. Постепенно он пришел в себя.

— Где горит?—спросил он людей, сбрасывавших с повозок бочки и ведра.

— У Голодного Учителя, у Гиршля.

Сразу им овладело подозрение, основанное на сотне доводов. Разумеется, доказать это было бы невозможно, но Давид это чувствовал: Гиршль сам поджег свой дом. Это было ужасно, но разве в их последнем разговоре учитель не делал весьма недвусмысленные намеки, что, он не остановится ни перед чем? И разве он не грозил свергнуть старую партию старшины и его отца, разоблачив перед всеми грубое нерадение назначенного ими привратника. В лице Якоба Кралика Гиршль имел своего представителя в совете. Для него наступил, наконец, момент, которого он так ждал все годы своего жалкого существования. Правда, он жертвовал своим домом, но какое это имело значение: новая партия, которая будет у власти, построит ему новую школу, гораздо лучше прежней. Все именно и делалось ради этой новой, как он называл—прогрессивной школы. При этом Голодного Учителя не волновало то обстоятельство, что возможность создания такой школы представлялась сомнительной, тем более, что судьба всей общины стояла под

вопросом. Ведь он всегда был готов пожертвовать чем угодно ради своих идей. «Да, у нас нет недостатка в людях, которые готовы отдать все свое имущество, всю свою жизнь до последнего издыхания ради возвышенной цели или хотя бы цели, которая показалась им возвышенной,—думал Давид.—Всякий другой народ давно бы обрел спасение, если бы в его среде проявлялось такое самопожертвование. В этом одна из самых глубоких загадок нашего народа, что нам не помогает такое самопожертвование».

Бочки, наполненные водой, были снова погружены на телеги. Повозки двинулись. Издали доносились крики: «Пожар, пожар!» Красное зарево покрыло небо.

Опасность, которая угрожала ему самому и которой он избегал случайно, заставила Давида на минуту забыть об опасности, которая угрожала деревянным домишкам гетто. Теперь, когда он пришел в себя, враг, за которым он только что готов был признать некоторое величие, показался ему невероятно коварным—безумным в своем эгоизме, как и все эти люди. И где была гарантия, что он не повторит свою попытку, которая на сей раз не удалась? Обезвредить безумца, обличив его в его преступлении! Может быть, на месте пожара можно будет доказать, что это был поджог!

У ближайшего угла его остановил дикий рев. Это трубил Герзон. Старик стоял на баллюстраде башни и не переставая трубил о грядущих днях Мессии.

Нужно было унять его и, в крайнем случае, связать его. Давид побежал по лестнице на башню.

Но на этот раз припадок Герзона носил несколько иной характер, чем обыкновенно. Он был не в мрачном настроении, а исполнен радости. Когда юноша взбежал к нему, он нежно прижал его к своей могучей груди и, наконец, освободивши его из своих объятий, указал

ему вдаль, где среди темных скученных крыш пламя возвышалось в виде какой-то высокой красной крыши и белым паром поднималось к едва проснувшемуся небу, бросая искры в земную тьму.

— Огненный столб! — ликовав Герзон, — огненный столб, как тогда в пустыне!

У Давида никогда не было уверенности, что привратник понимает его. Он всегда говорил с ним приблизительно, наудачу. Еще меньше мог он надеяться теперь добраться до его сознания, затуманенного возбужденной фантазией. Тем не менее, грубо схватив его за руки, он сказал:

— Теперь не время для глупостей.

Герзон испугался и пробормотал:

— Огненный столб—путь к священной горе,—и зашатался. Если бы Давид не поддержал его, он совсем бы упал.

Давид отвел его в башенную комнату и усадил в кресло.

— Что совершилось?—бормотал старик и от неистойвой радости перешел сразу к своим обычным тяжелым вздохам.

— В том-то и дело, что ничего не совершается—гневно сказал Давид.

На кого он сердился? Не на старика же, который в полном бессилии опрокинул свою растрепанную рыжую голову на спинку кресла.

— Огненный столб вел нас к священной горе, но не забудьте, что тогда мы были вооруженными, способными к войне мужчинами, были разделены на тысячи, и каждый шел за знаменем своего племени, каждое племя имело своего военачальника. А что мы теперь? Народ калек, безумцев и болтунов!

Старик снова глубоко вздохнул, его беспокойные глу-

бокие глаза наполнились слезами. Но раздражение Давида еще усиливалось от такого подтверждения его слов.

— Теперь вы плачете! Теперь вы вздыхаете! Но если верно то, что вы всегда говорили,—будто десять потерянных колен Израилевых не погибли, что колена Реубен Гад и половина колена Манассе находятся в пустыне Хаббор, под властью царя Иосифа, что они сильны и воинственны, что их триста тысяч человек, что у них совет из семидесяти старейшин, что царю Иосифу помогает его брат—герой Давид Реубени,—почему же вы давно уже не послали гонцов к царю и его совету, почему вы не умоляли о помощи вашим бесправным братьям? Они примчались бы из далекой страны, как воины Соломона, вооруженные против всех бедствий мрака, десять тысяч с правой стороны, десять тысяч с левой стороны! Герой Давид Реубени не заставил бы себя ждать. Сердце не позволило бы и ему оставаться бездеятельным, когда проливается кровь его братьев.—А вы, вы стояли в бездеятельном выжидании. О непосвященных я уже не говорю. Я говорю только о вас, который знал о царстве наших избавителей... Нет, вы тоже, должно быть, почерпнули эту весть где-нибудь в книгах. Вы тоже не знаете истины, тоже умеете только читать, сидеть за учением, болтать, как другие. Вы никогда не проявили никакого действия...

Старик открыл свой беззубый рот, но не произнес ни звука. Его огромное тело дрожало, словно кто-то невидимый дергал его во все стороны. Вдруг Герзон выпрямился во весь свой рост, красный шрам на его лбу пылал, как диадема.

— Ничего не делал?— начал он тихо, с трудом произнося слова.—Ничего не делал? Разве ты ничего не слышал о Мессии Ашере Лемлейне?

— Так вы...

Имя это внушало ужас. О проклятом венецианце Ашере Лемлейне Давид кое-что слышал в своем детстве. О насилиях и всякого рода позорных деяниях, о грабежах и богохульстве,—не было такого преступления, которое не было бы связано с этим именем. Рассказывали, что, на несчастье евреев, в одной из деревушек Истрии объявился дьявол, рыжий великан, с вестью, что Мессия пришел и конец уже близок. В копиях ученых сочинений, которые Давид читал у Гиршля, много рассказывалось об этих ужасных днях. Некоторые из авторов сообщали, что они сами видели смелого обманщика, который призывал к покаянию и постам, который вносил через своих учеников смятение повсюду. Многие последовали за ним, и даже великий ученый Исаак Абарбанель писал в его защиту полемические сочинения, доказывая, что в 1503 году начнется месснянская эпоха и что на четвертой неделе этого года она исполнится разрушением Рима, разрушившего Иерусалим.

Небо бросало кровавые отблески через открытую дверь. Снизу доносился шум от тушения пожара, от сигналов, грохота телег и от криков. Огромный силуэт привратника на фоне пылающего неба, его тихий отрывистый голос среди ночного гула—все это казалось призраком, который принадлежал полузабытому прошлому, теперь едва понятному среди шумной современности, в которой он заблудился.

— Ашер Лемлейн, — кивнул головой Герзон. — Да, так назывался я до моего восьмого рождения, прежде чем принял свой нынешний образ и нынешнее имя. Ашер Лемлейн было седьмым моим рождением, и потому я полагал, что исполнилось время. А так как изгнанники шли из Испании и цвет моего народа падал на дорогах, чтобы быть растоптанным,—то разве не слышал я плача в Риме? То плакала Рахиль о детях своих.

— Не надо этого, не надо,—оборвал его Давид.—Расскажите, что вы делали?

Герзон с криком стал рвать на себе свою серую рубашку.

— В этом и вся тайна! В тех подлостях, о которых тебе рассказали, нет ни слова правды. Когда нас постигла неудача и надежда наша рушилась, то те, кто прославлял меня, стали осыпать меня клеветами. Синьория Венеции послала против нас три морских судна. Верующие на коленях стояли на берегу, проводя время в посте, бдении и молитвах. Солдаты высадились на берег, зажгли костры вокруг нашего лагеря. Мы думали, что это огненный столб ангелов божьих, и ждали знака, который был мне в видении: все церкви на земле должны были рушиться в полночь, все сразу, и это должно было знаменовать начало царствия божьего. Но в полночь матросы ворвались в наш лагерь. Кто не успел бежать, был убит, кто бежал, жил с разбойниками и дикими лесными зверьми.

Так вот какое ужасное прошлое скрывалось за тихою жизнью старика! От этих воспоминаний он старался уйти, а они своими кровавыми лучами постоянно снова пронизывали его безумные видения!—Но Давид думает теперь не об ужасной судьбе лже-Мессии, он думает о всем народе.

— Все, что вы делали, было неправильно! резко говорит он старику.

— Я знаю это,—жалобно ответил Герзон. Камень, который строители предназначили во главу угла, был отвергнут. Послан был демон, явившийся в образе волшебной прекрасной женщины другого племени...

— Это несущественно,—пренебрежительно прерывает его Давид.

Герзон не может выдержать упорного взгляда Давида.

Он отступает перед ним до порога башенной комнаты и стоит уже на галерее. Давид следует за ним.

— Неправильно было молиться и поститься, неправильно было вести на бойню безоружных людей, да еще обессиливать их ночным бдением! И оставьте меня в покое с вашим демоном в образе женщины. Величайшие полководцы брали с собой в походы красивых женщин и все-таки побеждали.

— Так, значит, не в том был грех, что святой поддался соблазну!

— Чепуха! Марс спит с Венерой и все же не перестает быть Марсом. Но когда огонь во вражеском лагере или горящую крышу принимают за огненный столб господень—вот такими выдумками вы, Ашер Лемлейн, взяли на себя огромный грех!

Но Герзон, запинаясь, словно его озаряет новое знание, и с каждым словом загораясь все больше, говорит:

— Кто этот юноша? В его имени, как и в моем, есть слово овца, которое искупает наш грех—овца, которую чтут и заблуждающиеся христиане.

Давид подошел к нему ближе.

— Для чего было растрачивать силы нашего народа на отдаленном берегу Истрии?

— Ты принадлежишь к овечьему стаду праотца нашего Иакова.

— Что вы там снова выдумываете?

— И родился девятого ава, в день разрушения храма.

— Да отвечайте мне! Зачем вы это сделали?

— И в год изгнания испанских братьев, в год другого разрушения храма. А сказано в писании, что в день разрушения храма родился наш царь и спаситель Мессия...

Давид едва слушает его. Ему хочется видеть действительность, только трезвую действительность. В эту

ночь, когда огонь и изгнание, как два разящих меча, вонзаются в толпы его народа, в эту ночь он хочет пробудиться к полному сознанию. И он властно сдерживает свое возбуждение.

— Прежде чем пойти на такой решительный шаг,—резко говорит он старику,—прежде чем рискнуть всем упованием народа, надо узнать, что делается в других царствах.

Надо бодрствовать, а не мечтать. И он снова хочет прикрикнуть на старика,—но когда он видит, как этот сокрушенный «Мессия», как ребенок, рыдает, прижавшись к его коленам, у него проходит ярость. Он берет на руки огромное бессильное тело и прислушивается, как Герзон жалобным тоном тянет нараспев:

— Срок еще не прошел, четыре недели его еще не миновали.

Давид усаживает его в кресло. Рыжий Герзон сидит в забытьи с полузакрытыми глазами, в блаженном спокойном состоянии, в каком он его еще никогда не видел, и смотрит сквозь круглое оконце в башне, которое озарено новым вспыхнувшим пожаром.

Старик засыпает.

И вдруг Давид соображает, что Герзон должен был рассказать все это его отцу много лет тому назад, когда сокрушенный «Мессия» явился в Прагу, в лохмотьях, никому неизвестный. Он доверился только старику Симсону Лемелю, и только старый Лемель вступился тогда за него, дал ему кров и защиту.

«Значит, отец знал, что Герзон—Ашер Лемлейн, лжепророк, убийца, отступник от живого бога?

«И неужели отец, знавший и понимавший Ашера Лемлейна, не простит родному сыну?

«О, отец—шествующий по пути строгой законности, отец, который никогда ничего не делает, что не связано

с исполнением какой-нибудь заповеди, его великий, благородный, честный отец — он понял также и исключение, понял необычное решение, объяснимое чрезвычайными обстоятельствами!

«Но в таком случае я не должен казаться отверженным в его глазах! Тогда я могу надеяться, могу объяснить ему, что меня мучает, могу спросить совета!»

Давид бежит по улицам к отцовскому дому.

«Откровение Герзона... Пожалуй, он действительно указал спасителя. Правда, не в моем лице, а спасителя для меня».

XXII

Он проходил мимо пожарница.

Огонь в доме Гириля почти совершенно погас. На беду, он перебросился через стену, отделявшую еврейскую улицу от христианского города. Два амбара с хлебом, пристроенные к самой стене, ярко пылали. Огонь угрожал также большим запасам пороха, который хранился в подвалах стен. Эта ужасная для всех опасность, казалось, отеснила куда-то вражду; еврейские и христианские пожарные команды работали рядом, ожесточенно, безмолвно, с напряженным старанием одолеть общего врага.

К отцу! Давид не в силах был остановиться. Ему казалось, что где-то в глубине этой ужасной ночи ему уготовано сладкое утешение, которое возместит все бедствия, приключившиеся не только с ним, но и со всем народом. Если доброе слово из уст отца успокоит смуту, которая его тревожила, и восстановит порядок, — тогда в последний момент должен найтись исход и для общины! Тогда должно совершиться чудо! И Давид уже чувствовал, как на него снисходит это кроткое отцовское слово. В течение многих лет он не

питал никаких надежд. А теперь надеялся и был исполнен глубокой веры. Не все ли равно, сам ли Гиршль поджог свой дом или пожар произошел случайно? Давид даже не посмотрел в ту сторону.

Дома все было, как в дни детства, отцу не осмеливаются мешать. Давид тихонько отворяет дверь в его комнату и останавливается на пороге. Он ждет, пока отец поднимет взор от книги и заметит его.

Лицо отца опущено. Его не видно. Отец сидит, опершись локтем на стол, подпирая рукою щеку и висок и закрыв ухо и полглаза. Так он замыкается от всего мира.

Какая у него тонкая, белая рука!

С субботы отец постится, только по вечерам он ест легкую пищу—хлеб и яйцо и пьет несколько глотков воды. В течение всего дня до захода солнца он воздерживается от еды и питья. Шесть дней длится такой пост,—этим он надеется спасти общину. Давид знает, что отец всегда так поступал, когда угрожала опасность.

Но вот он подымает глаза, может быть, потому, что ему мешает углубиться в занятия отдаленный шум пожара. Глаза у него ясные и блестящие, темные и в то же время чистые, как вода из горного источника.

С чего начать? Только теперь он соображает, что вот уже девять лет как отец, в сущности, ни разу не заговорил с ним, и он, в свою очередь, ни разу этого не сделал. Они жили рядом, не говоря друг другу ничего плохого, обменивались словами, спорили, как спорят со всяким, кто занимается учением. Но последний действительный разговор был у них в ту ночь девятого ава,—дерзкий вопрос—не было ли ошибкой, что мы крикнули «гефкер» и, может быть, плохо, что у нас не было дурных побуждений, воли к борьбе. Тогда ему было десять лет, теперь девятнадцать. Обо всем, что было за эти годы, отец не знал,—не знал о Герзоне и разговорах

в башне, не знал о трупe Каспара во мраке погреба и ничего не знал о христианской девушке, об отчаянии, которое терзало его сердце.

— Я к тебе по поводу одного места в писании,— бормочет Давид. Ему кажется, что следует начать там, где оборвалась нить.—«Ты должен любить всевышнего»... К этому говорится в примечании: «Всем сердцем твоим—это значит обоими побуждениями—хорошим и дурным».

— Это не так надо понимать,—говорит отец очень быстро и отрывисто.

Давида охватывает испуг.

«А, как я понимаю? Ведь я же еще не сказал»,—мелькает у него в голове.

«Но ведь отцу не надо ничего объяснять. Разве я забыл это? Его ум, привыкший к мышлению, сразу попадает в точку».

— Дурным побуждением—значит, преодолевая дурное побуждение,—продолжает отец, делая резкое движение рукой, словно он рассекает воздух между собой и сыном.—Преодолевая дурное побуждение, ты должен любить всевышнего, бога твоего. Всякие другие объяснения являются только западней. Ибо сказано в писании: «Если ты не поступишь правильно, то грех сторожит у двери и ищет тебя, но ты должен одолеть его!»

Насколько все это иначе, чем у Герзона. Никаких туманных предсказаний о «мраке высших миров» — все так трезво, определенно, чисто, как выбеленные стены комнаты и свежe отполированный деревянный стол. Здесь легко ориентироваться, здесь все направлено к тому, чтобы ввести ум в спокойное русло. Как хорошо было бы просто слушать и повиноваться. Но в сердце Давида именно эта отчетливая определенность не находит сочувственного отзвука. Его огорчает, что он не

может сказать этого отцу. Подобно тому, как он только что у Герзона решительным движением оборвал слишком пышно разросшиеся цветы фантазии, точно так же хотел бы он, если это возможно, заставить расцвести сухие слова отца. Ему нравится в них лишь одно: их строгость. В строгости, в искренности нашего искания мы сойдемся.

— Повелевать греху,— говорит он,— это значит сделать его своим слугой, пользоваться им для благих целей. Дурное побуждение подталкивает нас к движению. От нас зависит определить цель.

— Учитель говорит иначе.— Отец хватает рукой одну из книг, но еще прежде, чем он находит пужную страницу, он цитирует ее наизусть:— «Дурные побуждения похожи на муху и сидят между двумя отверстиями сердца, ибо сказано: мертвые мухи вызывают брожение и вонь в масле».

Они старательно приводят в подтверждение своих мнений то того, то другого автора. Некоторое время кажется, что они действительно заняты только объяснением трудного места в писании.

Но вскоре Давид чувствует, что он не в состоянии подойти ближе к отцу.

Это вызывает в нем беспокойство. Он встает, делает несколько шагов по комнате. Его руки берут из шкафа, который он случайно открыл, коробочку с пряностями. Эта красивая вещь из серебра имеет форму маленького корабля. Каюта служит ящиком, в котором лежат разные виды пряностей,—благоухающие вещества для конца субботы, чтобы подкрепить душу, когда она грустит, что окончился царственный день отдыха. Пока Давид говорит в свою защиту, его пальцы ласкают изящно сработанную вещь. На мачте корабля прикреплен флаг со звездой Давида.

— Странно, что мы, безоружный народ, все еще питаем пристрастие к знаменам и флагам. А корабль— он символ путешествий для открытия новых стран, где ищут своего счастья другие народы. Если бы у нас было побольше дурных побуждений,—воскликает Давид и показывает в доказательство коробочку,—то мы имели бы больше сил, и народы не решались бы грешить по отношению к нам. Значит, таким образом можно уменьшить грехи на свете,—т.-е. посредством дурного побуждения.

И при этом он вспоминает слова, сказанные им в детстве: «Пусть другие просят, а мы будем повелевать и дарить своими милостями». Он всегда противоречит отцу! Вот и теперь то же самое!

— Этим не играют!—раздраженно обрывает его отец и таким резким движением вырывает у него коробочку, что она падает на землю.

— Этим не играют,—повторяет отец с глухим раздражением в голосе. Очевидно, это относится не к коробочке. Значит, он имеет в виду слова Давида о дурном побуждении. Или, может быть, он имел в виду кое-что иное, более близкое к жизни самого Давида?

«Он отвергает меня, называет игрой то, что для меня совсем не игра, а самое серьезное дело, он даже не желает признать, что это серьезно. Отец заходит слишком далеко»,—думает Давид, и ему больно, что отец, такой чистый человек, поступает несправедливо. Но старик уже не позволяет ему задержаться на таком углубленно-примирительном чувстве, а отчетливо высказывает свое мнение:

— Ты идешь по пути Эмори. Ты говоришь о твоём собственном дурном побуждении, которое привело тебя в дом идолопоклонника и к дочери разврата.

Значит, отец и это знает! А все думают, что он сидит

у себя в тихой комнате и ничего не замечает, между тем, он знает все, все!

— Мать семерых сыновей,—бормочет отец как бы про-себя,—пожертвовала даже самым младшим для прославления имени божия. Я потерял пятерых детей. Но на алтарь всевышнего я готов отдать своего последнего сына!

Нет, он не желает превратиться в кучу костей!

Давид выдерживает взгляд отца. Не слезы ли делают этот взгляд особенно острым? И все-таки Давид выдерживает его. Почтение к отцу его не покидает. Но из этого можно заключить, что, очевидно, какая-то невероятная сила поддерживает его сопротивление. Следует ли ему высказать ту надежду, с которой он пришел сюда? Следует ли сослаться на Герзона?

— Но ведь ты сам, отец...

Давид останавливается.

Отец судит поступки сына. Никогда еще Давиду не приходило в голову высказывать суждение о поступках отца. «Но ведь я говорю это не в порицание,—подбадривает он себя,—я преклоняюсь перед ним за это». Он пускает в ход свое последнее оружие: хочет убедить отца, что оба они люди одной и той же породы и что он в глубине своего сердца считает себя достойным такого благородного отца.

— Ведь и я лежу на алтаре всевышнего, принесенный в жертву, как седьмой ребенок благочестивой матери, хотя и не совсем понятно, что со мной творится, хотя это и действительно не сразу можно постичь. Бывают алтари, которые на первый взгляд могут показаться ложем разврата, бывает мука и крайнее напряжение сил, которые похожи на слабость, вызванную недостойным вожделением. Не многие это знают. Но ты, отец, должен это знать. Ты не должен осуждать с первого

же взгляда. Ведь не осудил же ты тогда — тогда ты понял...

Все это он хочет сказать, но уста его говорят слова возмущения. И уже произнося их, он знает, что в ушах отца они должны прозвучать иначе, нежели он их понимает.

— И тем не менее, ты сам принял в общину человека, которого другие считали грешным, Ашера Лемлейна, лже-Мессию.

Некоторое время отец ничего не отвечает. Он сидит снова над книгой, приводит в порядок свое платье, затем он еще раз взглядывает на сына, на этот раз совершенно холодно и почти враждебно:

— Лемлейн — дальний родственник.

Лемлейн — Лемель. Неужели? Неужели событие, так вдохновившее Давида, происходит из столь незначительного источника? Или, может быть, отец только прикрывается ничтожным основанием, потому что не хочет открыться сыну, не желает иметь с ним ничего общего?

Никогда он этого не узнает. Отец умолк.

Едва Давид спускается вниз на улицу, как раздается страшный треск и грохот. Значит, не удалось отстоять от огня пороховые склады в городской стене! Сама судьба ставит свою печать над бедствиями, постигшими общину. Пожар, возникший на еврейской улице, пылает в христианском городе. Можно ли явственней доказать народу, как опасны евреи и как угодно богу их изгнание!

XXIII

«Благословен господь бог наш, создавший сие в мире своем». Держа в своих объятиях Монику, Давид молится, и эта молитва, которую полагается произносить при виде

красивых деревьев и красивых созданий, исходит из глубины его встревоженного сердца. Ведь сказал же однажды законоучитель, увидевший красивую язычницу на ступенях храма: «Его прославляют все его создания, всех он сотворил в мудрости своей». И Давид прибавляет:

— Да будет благословен тот, кому известны все тайны.

В окна видно, как разбушевавшееся пламя подымается к небу.

Отблески света и тени пробегают по комнате Моника, освещаемой только этим далеким пожаром. Моника спокойно лежит у него на плече, серые глаза ее сияют. Она не сердится, что он недавно в погребке убежал от нее не простившись. Даже не спрашивает, не собирается ничего прощать. Он только чувствует, что она в поцелуе отдаст ему всю свою красоту, свое странное спокойствие, свое насыщенное медом дыхание, которое окружает ее ароматом, словно она дышит всем телом.

Она еще не знает, что случилось. Знает только, что он снова у нее. Треск горящих зданий не испугал ее, но зато встревожила труба герольда и приказ о выселении.

— Если бы ты не пришел ко мне — я бы завтра была у тебя.

— В нашем доме?

— Я снова позвала бы тебя, как тогда с кувшинами.

Странно, что в этом мире еще бывают шутка и улыбка! После мрачных разговоров с Герзоном и отцом у него такое ощущение, словно он из моря страданий вынырнул в освежающую, нежащую атмосферу. Он делает несколько глубоких вдохов — и только теперь он начинает разбираться в событиях. Он еще неспокоен. Он знает, что все потеряно, что для общины нет спасения. Но, по крайней мере, он может снова глубоко

вздохнуть, и угнетенное состояние его проходит, когда он рассказывает нежно прижавшейся к нему девушке об ужасе этой ночи, о дочери Липмана Спира, о пожаре и о сумасшедшем привратнике. Она слушает его не прерывая. Об отце он не упоминает. Никогда он не говорит Монике о своем отце. Не говорит и на этот раз. В заключение он рассказывает, что пороховые погреба в городской стене взлетели на воздух.

— В городской стене? Ты это серьезно?

— С час тому назад. Ты должна была слышать.

— Да, я слышала. Но разве это в городской стене? Ты, должно быть, не знаешь, какой опасности это нас подвергает?

Она соскользнула с постели, зажигает свечу и начинает причесываться перед зеркалом.

— Что ты делаешь, Моника?

— Я одеваюсь.

— Ночью, куда?

— К бургграфу.

У него защемило сердце. Этого злого волшебного слова он ждал, всячески старался забыть его, но в эту бурную ночь оно постоянно снова вспоминалось ему. Единственная возможность спасения, которую однажды предложила ему Моника: пойти к бургграфу.

— Я не хочу этого, не хочу,—со стоном вырывается у него, и он хватается за руку.

Она отводит его руку.

— Я свободна и делаю, что хочу.

— Лучше я убью тебя!—Он стискивает ее белую шею.

— Милый мой,—нежно говорит она,—что же, ты хочешь, чтобы меня обезглавил палач, да еще моего отца с матерью на придачу?

— Тебя и твоего отца?

— Это взорвались потайные пороховые склады. Ше-

фены вооружаются против короля. Теперь это обнаружилось, и завтра вдоль всей стены будет производить обыски королевская стража, и тогда в нашем погребе, под башней кузницы они найдут...

— Пусти, я пойду туда и брошу труп в воду.

— Поздно. Наверное, уже у всех ворот поставлена стража. Но бургграф сделал это на свою голову, так пускай он и несет ответственность. Я от него ничего не требую, кроме одного: чтобы он скрыл следы своего преступления.

— И поэтому?

— Что же мне за него отвечать?

Давид прижимает к себе девушку. Никогда еще ее мягкие розовые губы на белом личике не были так сладки, как сейчас. Но среди поцелуя его охватывает ужас. Он ведь знает, что змея, соблаздившей на грех, помогли некоторые случайные обстоятельства. Но неужели при каждом грехе так явственно повторяется это благоприятное стечение обстоятельств. Моника все равно пошла бы к бургграфу—не ради него, не ради общины, а для спасения собственной жизни и жизни своих родителей. Она должна идти как можно скорее, он не смеет ее задерживать.

«О, как заманчиво, если именно от этой «дщери разврата», которую осуждает его отец, отвергая вместе с нею и все поведение сына, если от нее придет свет и избавление для «святой общины в Праге». Избавление за то, что я служил богу и дурным побуждением. Опровержение отца, оправдание себя даже перед высшим судьей, даже перед ним!» В груди Давида ликование, и ему становится жутко из-за этого ликования, потому что все шатается вокруг него, и, может быть, это ликование ада, которое окончательно низвергнет его в пучину греха!

— Я все равно завтра или послезавтра пошла бы к бургграфу, — небрежно говорит Моника. — Из-за вас. Я уже говорила тебе, что знаю средство, как оставить вас здесь.

Но этого средства нельзя никогда... Давид не говорит этого. Его трогает до слез, что она не чувствует его мук, не понимает и никогда не поймет, что он переживает.

— Я люблю тебя, Моника, люблю, — шепчет он ей.

Она нежно ласкает его пылающее лицо.

— Ты тогда правильно угадал, я только не хотела обижать тебя.

И она заставляет его, как это часто делает поутру, расчесывать ее прекрасные белокурые волосы. Медленно, осторожно водит он щеткой, чтобы не дергать волос, чтобы ей не было больно. Эту работу нужно делать очень внимательно и без обмана. Потом Моника проведет гребнем по золотым волнам, и если гребень не пройдет гладко по всей длине их, значит, щетка плохо работала.

— Какой ты сегодня неловкий, — бранит она его и только теперь, обернувшись, замечает, что он плачет, склонившись над ее распущенными волосами.

— Но почему же? Я ведь только пойду, упаду перед ним на колени. Что ты воображаешь! Больше ничего не будет.

«Она снова не хочет обидеть меня, — думает он про себя. — Грех это, что я пускаю ее».

«Грех?» Этого она совсем не понимает. Ей кажется таким естественным, что бургграф должен сам привести в порядок все, что он наделал. Он расставит стражу, которая помешает обыску у кузницы, а отменить изгнание евреев — это для него пустяки. «Пустяки, — думает Давид, — а у нас об этом совещаются в полном

отчаянии дни и ночи, доходя до иступления, отец закалывает своего ребенка. Пустяки!» Но теперь ему все безразлично. То, что он должен без слова протеста пожертвовать возлюбленной, отвести ее в дом к врагу—эту девушку, ароматом которой он еще дышит, чьи заманчиво распущенные волосы он держит в своих руках,—это расшатывает все его душевные устои.

«Греховно было любить христианку. Но то, что было хорошего и благородного в этом грехе, эту святую я оскверняю своим вторым грехом—я грешу даже против моей грешной любви. Вторично предаю уже однажды совершенное предательство. Оскверняю самого себя. Как это низменно и подло! Недостаточно было одного греха. Для того, чтобы помочь общине, потребовался двойной грех, позор, который не оставляет у меня ни капли чести».

Он пытается объяснить ей все свои страдания. Но она скоро его прерывает.

— Это фантазии,—говорит она и берет несколько лент из шкатулки.—Которую завязать в волосы?

Со скрежетом зубным он говорит:

— Я украшаю тебя для него.

— Ведь это забавно,—смеялась она.

— Ты хочешь украсить для него.

— Конечно, если я иду к нему, я хочу ему понравиться. Тебя это удивляет?—И надевши серьги, она танцует по комнате.—Ты, небось, ревнуешь меня?

Он молча покачивает головой. Он потрясен такой невинностью. Это и есть подлинная невинность, большая, нежели изучение правил закона отцом. Она ближе к истине, нежели Гиршль с своей борьбой за прогрессивную школу, Герзон со своими мечтами о конце дней и пришествии Мессии. Здесь не требуется Мессии, по-

тому что здесь нет греха, потому что здесь не обращают никакого внимания на грех. И ему хочется сказать: «Ты благочестива, Моника. Ни у кого нет истинного благочестия, даже у моего отца, только у тебя, потому что ты хвалишь господя, как хвалят его деревья и цветы, сами того не зная». В охватившем его порыве любви он впервые видит подлинную Моника теперь, когда он теряет ее. Если бы он раньше разглядел этот лучезарный лик, он пал бы перед нею на колени, как человек, молящийся звездам, и целовал бы ее ноги.

Но он ничего не говорит ей, помогает ей надеть платье.

«Кто его снимет?»

Надевает на нее плащ с длинным шлейфом. Кто его снимет? И прежде чем ее прекрасная рука исчезает в узком рукаве, он долго целует ее, словно не может отпустить, и в поцелуе кусает, зарывает свои зубы в свежее тело.

— Ты никогда еще не любил меня так, как сегодня, милый!—насмешливо и в то же время мудро замечает она.

Разве он не наслаждается на этот раз ее красотой—и за себя и за своего соперника—красотою, которую она никогда раньше не раскрывала перед ним. Так у сатаны имеются особые дьявольские радости для тех, кто продает ему свою душу.

Он провожает ее через двор. Еще только начинает светать. Пожар потушен, все успокоилось. Августовская ночь уже немного прохладна. Они идут по пустынным улицам. К замку.

Он не хочет уходить, хочет стоять внизу перед дворцом бургграфа, стоять внизу и знать, что другой обнимает ее.

— Подождать ответа для общины?

Об этом он даже не подумал.

— Да, конечно, — отвечает он, — подождать ответа для общины.

Они подходят к реке, идут через новый башенный мост, через каменный мост. На возвышении виден замок: черное, мрачное хищное животное, словно приготовившись к прыжку, поджидает приближающуюся добычу.

Он прижимает к себе девушку, впивается в ее стройное тело.

— Ты так спокойна, Моника?

— Тревога теперь не поможет.

Разве голосок ее не вздрагивает еще приятнее, чем всегда.

— Негодяи мы, распутники! — громко бранится он. Его раздражает наслаждение, доставляемое грехом.

— Не все ли равно?

— Разве нужно так торопиться?

— Да, нужно, прежде чем наступит день.

Он обнимает ее и снова жарко целует, перед замком, на глазах у своего противника, целует ее.

— Но в одном клянусь тебе, — вырывается у него вдруг среди опьяняющей ласки, — в одном клянусь я! Если действительно удастся... если, благодаря твоему и моему греху, последует отмена изгнания, — чего напрасно добивались самые благочестивые из нас постом и молитвами, ночными бдениями и мудростью своей, — тогда, значит, меня воспитали в лжеучении, тогда, значит, богу нужна не добродетель, а преступление, тогда я не хочу иметь ничего общего с тем, что было в моей жизни раньше. Я уйду, уйду от вас. — Он оборачивается к берегу еврейского города. — Я тогда уйду далеко отсюда, в Германию, где новый дух охватил крестьян, где они отказываются нести барщину и где ученые живут весело и свободно.

- А я отправлюсь с тобою, с тобою!
- Моника, ты пойдешь со мной?
- Ты сомневаешься?
- Так неужели из наших слез расцветет еще счастье!
- Да, милый!

XXIV

«Мессия — сводник». Он старается осмыслить свой позор, но позор слишком глубок, чтобы охватить его до конца. Он вперяет усталый взор в пространство. «Сводник! Предал самое дорогое, что у него было».

Он сидит на тумбе, у портала замка, как нищий. Еврейская одежда обращает на него внимание, и прохожие издеваются над ним. Ведь было же сказано, что Мессия будет сидеть на тибрском мосту в Риме, среди нищих, у дворца папы. Но этого не было в пророчестве, что он будет смотреть на окна дворца и думать, за каким окном обнимает теперь бургграф его невесту.

В полдень он поднимается. Он не думал, что Моника останется так долго. Подавленный, плетется он домой.

В комнате у отца совещание. Они все еще совещаются. Или это новое совещание? Все равно—результат один и тот же. Чего они, собственно, добиваются? Разве они не знают, что он отдал для них самое дорогое? Для чего же они еще совещаются? Члены совета кажутся ему призраками. Ведь они проспали день, проспали самое важное, что случилось за это время, и как смешон маленький старшина с его властолюбием, с его важностью. Даже отец кажется Давиду немного смешным. «Его зовут Самсон, как библейского героя, а к этому еще Лемель. Самсон и овечка, совсем как я. Герой, робкий, как овца».

Рассказывают о посещении лейб-медика Ангелика. Он был испуган и, очевидно, весьма неприятно поражен,

когда к нему явилась депутация от евреев. Он сказал: «Видите ли, именно потому, что я еврей, я не могу злоупотреблять своим положением. Будут обвинять меня, и не без основания, в пристрастии».

Давиду хочется вмешаться и сказать: «Нет, я так не думаю. Отделять свою судьбу от судьбы общины было бы гозорным бегством. Вы останетесь моими братьями. То, что я крикнул с моста, обращаясь к вашим домам, не было отречением. Если я от вас уйду, то только для того, чтобы искать ваш прообраз, неиспорченный благородный облик, на котором легла пыль столетий. Моя ли вина в том, что для того, чтобы найти это благородство и свободу, я должен уйти от вас, из ваших стен, в христианский город, где светит более счастливое солнце, где трава и деревья растут не только на кладбище, где природа свободно дарит плоды жизни. Где бы я ни искал, я всегда искал только красоту Израиля, низвергнутую с неба девятого авва, не навсегда низвергнутую, не для всех поколений». И вдруг Давид замечает, что он раскрыл рот, что он действительно говорит.

Заседание ведется еще беспорядочнее, нежели два дня тому назад. Тогда указ об изгнании еще не был оглашен. Теперь уже прошли целые сутки предоставленного восьмидневного срока, а положение несколько не изменилось к лучшему. Боязливое ожидание, возбуждение достигли невыносимых пределов. Почти все постились, все не спали. У Давида в висках стучит также бессонная ночь и лишает его ясности мысли. Потому он говорит путанно, перескакивая от одного к другому.

— Я шел путем греха!—вскрикивает он, как это делают при молитве.

«Отец наш, царь наш, мы согрешили перед тобой»,— отвечают ему некоторые из собрания и бьют себя ку-

лаками в грудь. Вокруг Давида образуется небольшая группа. Он предсказывает спасение. Спасение—благодаря его греху. Никто его не понимает. Старшина настораживается. С своего высокого сиденья он обращается к Давиду и предлагает ему объяснить всем, на чем основывается его предсказание. Положение теперь такое, что нельзя пренебрегать ничем, даже самой невероятной возможностью спасения. Мясник Буццель, не состоящий членом совета, но присутствующий сегодня на заседании вместе с некоторыми другими членами общины,—он просто насильно ворвался, так как основы порядка поколебались, — Бунцель, этот грубый человек только что предложил вооружить молодых людей и в день изгнания защищать ворота. Лучше все зажечь, чем добровольно сдать! «Хорошая надежда!»—воскликает кто-то из собрания.

«Надежда!»—при этом слове Давид вздрагивает. И он говорит, что у него тоже нет надежды. Наоборот, он все еще надеется, что план Моника не удастся. «Кто такая Моника?»—кричат ему. И он рассказывает о христианке, рассказывает, как посещал ее каждую ночь. Отец все равно это знает, так пускай знают и другие. В голове у него становится все туманней. Он говорит и о Герзоне, о том, как путем хитрости добыл у него ключ от ворот. «Это было началом зла. Нет, не началом. Начало так далеко, что я не могу даже найти его. Но все же это было особенно дурным поступком—обманывать ничего не подозревающего старика. Судите сами!» «Из такого зла произрастет добро? Избави нас бог. Лучше погибнуть честно и добродетельно, нежели быть обязанными своим избавлением сатане». От него начинают отворачиваться. Он едва это замечает, продолжает говорить. Покаяние в грехе перед всей общиной, перед рабби, перед старшиной, перед отцом, перед

другом детства... «Здесь все вы, кто меня знает. Так судите меня! Так все было»... И он рассказывает о том, что было в ночь пожара, о разговоре с Герзоном, который рассказал о ложных видениях, о беседе с отцом, отказавшим сыну в сердечной его просьбе, только сказал, что «дальний родственник» и больше ничего... «Все это привело меня к Монике, единственной, которая была добра ко мне, так что мне легко было потребовать от нее самое ужасное. «Я все равно пойду к бургграфу»,—были ее слова, и я сам проводил ее, отвел и уложил в его постель, взял его старческие пальцы в свои и приложил их, как холодную жабу, к ее пылающей груди».

Все снова насторожились, спрашивают его, когда должно случиться то, о чем он говорит, в лихорадочном бреде. Но у него уже ничего нельзя больше выпытать. Он еще бормочет некоторое время и потом падает в обморочном состоянии.

И вслед за этим, или несколько часов спустя, он этого не знает, его будят фанфары, шум, радостные восклицания. Все хлопочут около него, тащат его к окну; внизу стоит герольд в голубом шелковом платье, с гербами бургграфа Розмиталя.

«Королевский приказ отменен. Евреи могут оставаться и находятся под особым покровительством короля и бургграфа».

Стыд и позор! Давид в своем пробуждении ничего другого не ощущает. Но его сводят вниз по лестнице, его окружает бесчисленная толпа, ему целуют руки, стараются дотронуться до его платья. Он не в состоянии освободиться от толпы, то исчезает среди нее, то его поднимают над нею. Ему прокладывают дорогу среди ликующих масс народа. Рядом с ним идет старшина, с другой стороны—рабби Морголиот. Это продолжается

долго, очень долго. Они провожают его до дома. Он чувствует крепкий поцелуй матери. Отец как будто отворачивается, но он целует руку отца, и тот позволяет. Потом вокруг него становится совсем темно. Сотни голов и тел перед его глазами. Но затем толпа рассенвается. Как перед королем, перед ним освобождают место. «Эсфирь, я брат твой, а ты сестра моя». Разве никто не поет ему эти стихи? Разве никто не знает, как все это позорно? Никто не понимает, как из сердца у него вырываются последние корни древнего благочестия, как его предают демонам Лилит? Нет, его еще ведут в синагогу. Благодарят бога за чудо». Благодарят «Позволяющего воспрянуть усталому и скованному освободиться от оков». Но тут происходит нечто такое, что Давид одобряет и понимает. В синагогу врывается жена Липмана Спира, она вбегает в мужское помещение, размахивая топором, хочет убить Давида. Давид готов спокойно принять удар, он нагибается, как животное, предназначенное на заклание. Другие бросаются на безумную женщину... Несчастливая, смерть дочери лишила ее рассудка. «О, нет, она знает,—рыдает Давид,—она знает, что я виновен, что адским искусством я изменил начертание прямого пути господня. Она знает, чувствует это на себе, она хочет убить во мне сатану. Ведь из-за моего поступка мученическая смерть ее ребенка стала ненужной».

Люди суетятся вокруг него, поднимают его. Его вызывают третьим к чтению Торы—высший почет, какой возможен при богослужении. И чествованиям нет конца. Парадный обед в доме рабби, речи виднейших членов совета, которые называют его хранителем Израиля, пророком нашего времени, праведником из числа скрытых тридцати шести праведников, ради которых бог сохраняет мир. Вся община не находит себе места от радости.

О том позоре, который вызвал это ликование, никто уже не думает. А ведь он очень ясно говорил об этом. Разве не заметили или хотят забыть? Или... неужели удачный исход оправдывает все. Как бы то ни было, дурное побуждение победило. Дурное, а не хорошее побуждение спасло общину.

Наконец, Давиду удастся незаметно исчезнуть. Уже полночь. Давиду стыдно явиться к Монике, сказать ей хоть слово о том, что случилось. Но в этом и нет надобности. Вместо того, чтобы заниматься бесполезными мыслями, Моника все приготовила. Ему, разумеется, невозможно бежать в еврейском платье, которое каждому бросается в глаза. Она снимает с него желтый колпак, под которым свисают пейсы. Ножницы и бритва снимают черные локоны и нестриженую бороду. Кокетливый берет украшает его сразу помолодевшее лицо. Плащ, без еврейской заплаты, он принес с собою. Но в нем слишком много складок, он слишком тяжел, как и всякое платье, которое носит еврей, даже если оно сделано по христианскому покрою. Даже в стенах гетто, где можно ходить без особых знаков отличия, евреи предпочитают черные очень плотные материи. Вместо этого Давид впервые одевает легкий, спереди открытый плащ из красного и синего сукна. Моника одевает его, весело хлопает в ладоши, она всецело занята переодеванием своего милгого, и ей некогда подумать о чем-нибудь другом.

Только незадолго до того как отправиться в путь, упаковывая свои драгоценности, она догадывается спросить его, взял ли он с собой денег. Без денег, конечно, они далеко не уедут, даже если продадут ее драгоценности.

Об этом он совсем не подумал.

Она смеется:

— Ты ведь так хорошо умеешь открывать замки, мой милый.

Он снова вернулся в отчий дом, с которым, казалось, уже навсегда распрощался. В потемках он прокрадывается к ящику, где мать держит деньги. «Так для этого она работала и копила всю жизнь, чтобы собственный сын ограбил ее. Не на алтарь всевышнего принесут меня в жертву,—думает он про-себя:—воров полагается вешать и колесовать».

Глубокий вздох раздается среди ночи. Снится что-нибудь матери? Вдыхает она во сне?

Давид взломал ящик, теперь он останавливается, прислушивается. Снова вздох. Он пробирается по лестнице к ней, проходит мимо комнаты отца. Тишина. В это время отец уже не занимается, он спит. Но если бы даже он и не спал, там все равно была бы тишина. Там всегда тишина. Через дверь отца ничто не проникает. Но мать, мать зовет его, зовет его со вздохом. Он открывает слегка притворенную дверь в ее спальню. Мать лежит на постели. Бледный месяц озаряет на подушке ее спящее лицо. Какое оно маленькое-маленькое, как лицо Моника, когда она лежит на подушке. Но какое оно измученное жизнью, изборожденное морщинами от забот.

Он подходит ближе к постели. Теперь она даже не вздыхает.

И вдруг его осеняет мысль: «А что если она умирает... Если не сейчас, то это случится через пять, через десять лет. Она так стара».

— Мать так стара,—вполголоса говорит он.

Он хочет подойти совсем близко к постели, прилечь, поцеловать ее. Сказать хоть слово на прощанье. Он никогда ее не увидит, свою старую мать, даже когда она будет лежать на смертном одре он ее не

увидит. Он подошел совсем близко, чувствует запах ее старых волос. В это время широкий рукав его плаща запутался в одном из украшений спинки кровати. Только теперь Давид опомнился. Ведь мать не узнает собственного сына. Она увидит перед собой человека без бороды, в пестрой одежде! До смерти испугается чужого.

Он чужой в этом доме. Выбора больше нет.

XXV

Путь их вел вниз по течению реки Молдавы. В точности Давид не знал, где находится свободный город Эрфурт. Он знал только, что путь ведет сначала по течению Молдавы, а потом по течению Эльбы, за пределы Чехии, которую им следовало как можно скорее покинуть. Но еще прежде чем они добрались до границы, пражская община снова напомнила ему о себе.

Когда после трех дней пути они однажды утром смотрели в окно постоялого двора, в котором заночевали, они увидели печальное зрелище. Преследуемая лающими собаками, ковыляла какая-то высокая фигура. Плащ был надвинут капюшоном на голову, так что закрывал лицо, и человек двигался наощупь, словно слепой. И было как-то жутко, что он, несмотря на это, шел очень быстро и довольно уверенно отгонял собак своей длинной палкой. Но не всегда успешно,—об этом свидетельствовал разорванный плащ, клочья которого болтались по земле.

Давид побежал из дому вслед за путешественником, загородил ему дорогу и узнал Герзона.

— Вас выгнали?

Давид не усмотрел в этом ничего невероятного. В общине, как только она избавилась от опасности, на-

верно, снова возобновились старые распри, и досталось тому, кто был слабее всех. Якоб Кралник, Гириль, все, кто были недовольны, что восторжествовали престарелый старшина Элия Мунка, что снова его партия, к которой принадлежало и семейство Лемелей, спасла город,—все эти недовольные люди, очевидно, объединились, чтобы нанести удар жертве, которой оказался бедный привратник, добродушный великан Герзон, беззащитный в своем тихом отупении. Какая благородная месть! Действительно ли это было так? Но Герзон не отвечал и вообще не понимал, что произошло. Может быть, он и добровольно покинул город, отправившись на поиски Давида. В глазах его сверкала радость, что он встретил своего любимца, он был почти готов стать перед Давидом на колени, как тогда, на галлерее башни. Пока Давид продолжал свои расспросы, подошла Моника.

— Да оставь его, ведь он совсем изголодался. Разве ты не видишь?

Они провели его в сад при постоялом дворе и дали ему молока. Затем он заснул на скамейке перед домом.

Моника принесла из своей спальни подушку и положила ему под голову. Для того, чтобы защитить его от яркого солнца, она протянула платочек между двумя ветвями, которые покачивались над скамейкой. Затем она воспользовалась этой первой остановкой (до сих пор они все время были в пути), чтобы помыть кое-какое белье в протекающей неподалеку речке и высушить его на лугу. Давид сидел рядом с Герзоном на скамейке и отгонял от него мух. В этот час тихого покоя буря последних дней доносилась лишь как отдаленный отзвук. Солнце золотило листву, деревья тихо колыхались. Давид беспрерывно оглядывался на свою прилежную жену, он был горд и счастлив, ведь он видел в этом

тихом саду при постоялом дворе что-то вроде семейного очага, скромного начала собственного хозяйства. Потом пришла Моника, и, обнявшись, они смотрели на спящего старца. Лицо у него осунулось.

О чем думает Моника? Может быть, о своем отце, которого она покинула в кузнице и который тоже был стариком? Вдруг у нее показались слезы на глазах. Странно, Моника так же мало говорила ему о свих родителях, как и Давид о своих.

«Мать так стара»,—вдруг прозвучало у него в ушах, словно он сам сказал эти слова.

Герзон зашевелился во сне и закричал.

Моника сейчас же подошла к нему и поправила подушку.

Это придало смелости Давиду высказать то, о чем он уже думал в течение некоторого времени. Правда, он боялся, что Моника будет ощущать это как некоторую тяжесть, как умаление только что добытой свободы.

— Нам не следует оставлять его здесь, возьмем его с собою.

Моника посмотрела на него изумленным, чистым, искренним взглядом:

— Да ведь это само собой разумеется.

Он был ей так признателен, он долго молча пожимал ее руку, а когда она ушла за бельем, он почтительно смотрел вслед ее стройной белой фигуре, увенчанной белокурыми волосами. Она казалась ему божеством простого, естественного чувства... И теперь он почувствовал музыку в пении птиц. Это было не пустое чириканье воробьев в городе. Здесь, в ближайшем лесочке птицы пели нежно, с разнообразными переливами, они пели о весне, о радостях жизни, которые становятся доступны, если человек живет правильно, повинувшись за-

кону природы. И подобно голосам птиц изменилась также и Моника. С тех пор как они покинули город, она стала благороднее, отзывчивее, и он сам стал иным. Он чувствовал это. Тёропливые и жадные ласки в те ночи, когда они принадлежали друг другу, сменились чувством глубокой внутренней дружбы и человеческого доверия.

Разве это было так плохо, что он, увлеченный своей любовью, забыл о матери? Сейчас ему почему-то казалось, что мать здесь, около него. Она не сердится. Ее голос сливается с благородным хором поющих птиц.

Моника знала свойства лечебных трав.

Она сварила питье старику, которое его подбодрило. Уже после обеда они втроем могли отправиться в путь.

В этой странной компании они шли по холмам и долинам. Высокий старик посредине, справа и слева счастливые возлюбленные, поддерживавшие его за руки, но больше с целью оказать ему внимание, чем для действительной помощи. Потому что он не нуждался в этом, шел бодро и иногда опережал их. Он был хорошим пешеходом, и Давид вспомнил скитания Ашера Лемлейна от венецианского моря до Чехии. Старик привык бродяжничать. Воображению Моники это представлялось иначе. Когда старик однажды опередил их на подъеме в гору и стоял на изгибе дороги и смотрел между елями в лес, громко вздыхая, как он привык это делать, а заходящее солнце озаряло его рыжие волосы и развевающиеся лохмотья плаща, Моника вдруг закричала с выражением детского испуга в лице:

— Смотри, смотри—вечный жид!

Как хорошо было с ее стороны, что она не боялась этого страшного Агасфера. Для нее он был Агасфером ее Давида, и этого было достаточно, чтобы она полю-

била его и старалась услужить ему. Давид не знал, как выразить ей свою растроганность и преданность.

Впрочем, вскоре выяснилось, что старик Герзон совсем не был им в тягость, а, наоборот, оказал им неожиданную помощь. До сих пор на парочку часто смотрели косо. Что они не были супругами—это видно было сразу. Их молодость и некоторая пугливость в манерах часто заставляла хозяев отказывать им в ночлеге. Да и разница между ними слишком бросалась в глаза. Стройная белокурая девушка была на голову выше черноволосого юноши, в котором, несмотря на пестрый плащ, можно было признать сврея или, по крайней мере, иностранца. Присутствие Герзона делало эту компанию более заслуживающей доверия. Они казались братом и сестрой, а старик мог быть их отцом. Это преимущество сказалось в первый вечер их совместного путешествия. Без всяких разговоров их пустили в первую попавшуюся гостиницу.

XXVI

На следующий день Герзона лихорадило. Тем не менее, он сам настойчивее всех требовал, чтобы они шли дальше. Куда? Это ему, повидимому, было все равно.

В пути он часто опережал их на значительное расстояние, хотя иногда совсем задыхался. Моника старательно боролась с его кашлем при помощи своих лекарств. Но силы Герзона явно падали подобно тому как рассудок его давно уже утратил связь с земными делами.

— Разве это не печально?—говорил иногда Давид.

Моника этого не понимала. Люди жили и умирали. Что было в этом печального? Покуда старый Герзон был жив, она ухаживала за ним. Но за этим не чувство-

валось, что смерть его сколько-нибудь потрясет ее,— не только потому, что она недавно познакомилась с привратником, но и потому, что смерть вообще, повидимому, совершенно не трогала ее.

— Если бы мы уже были в Дрездене,—равнодушно говорила она,—мы могли бы поместить его в больницу, и он бы там спокойно умер.

— Спокойно умер! Но я желаю, чтобы он жил!

— Да он все равно долго не проживет. Разве ты не видишь, что он сам хочет умереть?

— Я не допущу этого. Мы должны найти врача, надо постараться...

— Этим ты только мешаешь ему умереть. Почему ты не хочешь, чтобы он спокойно умер? Ведь он ни о чем другом не говорит, как о близком конце.

— Он имеет в виду совсем другое,—конец всех страданий.

— Концом всех страданий может быть только смерть.

«Где она это слышала? В церкви, что ли?»—подумал он. Все равно, это вырвалось с полным убеждением из ее цветущих уст—и он удивлялся, что она, умевшая жить так весело и непринужденно, в то же время в другом уголке своего сердца считала все радости жизни настолько ничтожными, что, казалось, готова была принять смерть с такой же легкостью, как и жизнь.

Давиду доставляло особое удовольствие считать себя неправым и возвышать в своих глазах Моннику. Но и для этого был известный предел!

В углу харчевни, за вином и игрою в кости, сидели пестро одетые люди.

«Эй, подымайтесь, ландскнехты лихие—не дадим мы Гуттена в обиду».

Песнь, которую они рычали, была ему знакома. Так вот каковы в действительности были эти ландскнехты,

песню которых он сам любил петь! Правда, он пел ее иначе. И иначе представлял себе вооруженных защитников свободы. Он громко рассмеялся, когда сообразил это: «В сущности, я представлял их себе молодыми учеными, раввинами, с ружьями и алебардами».

Это, конечно, была его вина. Но когда он услышал, какие речи вели эти парни между собой и как они разговаривали с деревенским старостой, который их угощал, то у него пропала всякая охота смеяться. Один из них, красивый белокурый парень с блестящими глазами, особенно выделялся и без конца рассказывал о подожженных замках, прострелянных головах, опустошенных полях и награбленных драгоценностях. Ландскнехты, их было четверо, принадлежали к стрелковому отряду Иерга фон-Фрунзберга, защищали Верону против Священной Лиги и теперь возвращались домой, потому что король заключил с сеньорией Венеции девяностилетнее перемирие. Их отряд был распушен, но их мало огорчало это обстоятельство, так как все равно они уже целый год не получали жалованья. Поэтому они привыкли добывать себе деньги и продовольствие своими средствами. Деревня, куда они приходили, принадлежала им. «Берегись, крестьянин, я иду!»—был их барабанный сигнал. Староста, повидимому, знал это, потому что старался мирным соглашением с этими четырьмя парнями предупредить разгром деревни.

— Давай выкуп, дьявол!—кричал блондин, уже почти пьяный, и, схвативши зашиворот старосту, приподнял его со скамейки.

Испуганный крестьянин обещал все, что от него требовали. Чтобы развлечь опасных гостей и отпраздновать заключенный договор, он велел принести двух петухов, которые с растопыренными перьями набросились друг на друга. Петушиный бой понравился парням. Присевши

на корточки, они следили за ним, и когда один из петухов отступал замученный, они подбадривали его хлопанием в ладоши, поливали его вином из своих бокалов.

Давид побледнел. Моника тоже хлопала в ладоши и не сводила глаз с этого ужасного зрелища.

Он не мог этого вынести.

— Я покупаю этого петуха!—крикнул он, бросился на середину комнаты и схватил птицу.

Если бы стрелки не были совершенно ошеломлены этой выходкой, ему пришлось бы жестоко поплатиться. Но еще прежде чем пьяные что-нибудь сообразили, он бросил хозяину столько талеров, сколько успел выхватить из кармана, и, схватив Моника за руку, а другой держа петуха, выбежал в дверь.

В этот раз, впервые, он выбралил ее:

— Как ты могла смотреть на это и находить удовольствие в таком кровопролитии?

Моника опустила голову и робко солгала, что она совсем не смотрела. Теперь она сразу стала обыкновенной женщиной.

Ему было жалко ее. Она лежала вытянувшись в кровати и плакала. Он гладил ее по голове и говорил:

— Ничего, Моника. Только, знаешь, я тут кое-что понял и за это я благодарен тебе.

Она не слушала и не возражала ему. Уставши с дороги, она заснула. Не было никакого смысла говорить с ней об этих вещах. Но мысли его, став на этот путь, устремились дальше.

— Строгость нравов,—бормотал он,—священная строгость нравов—великое достояние предков—я не хочу лишиться тебя. Может быть, я слишком поносил тебя, когда по твоей вине задыхался в гетто! Но здесь, на вольном воздухе у открытого окна я чувствую, сколько в тебе хорошего и мудрого, священная, серьезная ев-

рейская строгость нравов. Только не следует насаждать тебя прежде, чем человек успел почувствовать, что такое жизнь, прежде, чем он вкусил радость бытия. В этом ошибка моего народа: он постится, прежде чем поел. Но если бы он ел по-настоящему—и тогда, когда тело уже насыщено кровью и соками и когда еда угрожает превратиться в бессмысленное обжорство,—если бы здесь, на пороге здорового и нездорового он проявлял свою строгость нравов, тогда он действительно стал бы народом священников, свободным народом. А мы постимся, как больные. Мы еще не начали насыщаться и уже отказываемся от пищи. Мы слишком нетерпеливый народ, и мы торопимся насадить нашу строгость нравов, почерпнутую из книг, а не из полноты жизни.

Он нежно смотрел на спящую Монику. В окно доносилась из трактира глупая оргия, а здесь все было тихо и невинно.

«Я не отвергаю предложенную пищу, я завоевал свое счастье, свою жену.—Не без греха.—Потому что иначе, может быть, и нельзя. Нельзя совсем без греха. Но я не хочу идти дальше. Не хочу больше неправды и обмана! Пусть теперь покажет себя унаследованная от предков строгость нравов».

Показавшаяся из-за облаков луна осветила ему стройное тело спящей нимфы. Узкая рука, с которой соскользнул рукав, лежала на белокурой головке. Его охватило чувство блаженства.

«Не лишиться этого и остаться все-таки хорошим. Какой узкий путь, какая жуткая опасность справа и слева».

Но ему казалось, что он нашел этот узкий единственный путь.

Его уверенность исчезла, когда они на следующий день вошли в комнату Герзона. Герзон ночью умер.

В открытое окно залетела птичка и сидела на подоконнике у самого изголовья кровати и радостно чирикала навстречу солнцу рядом с недавно умершим, страстная душа которого, казалось, устремлялась небу в волнах этой песни.

Моника громко молилась—Давид еще никогда не слышал, как она молится. Она казалась ему более чуждой, чем когда-либо.

— Агасфер успокоился, - тихо и благоговейно сказала она.

Это заставило его притти в себя.

— Где мы его похороним?

— Надо позвать священника.

Мессия Ашер Лемлсйн—на христианском кладбище! Эта мысль показалась ему издевательством над мечтателем, который обещал, что все церкви в один миг рушатся в полночь, знаменуя пришествие Мессии.

Он постарался объяснить ей, как умел. Но что же делать! Только теперь он сообразил, что за все время после своего бегства из Праги он ни разу не встретил еврея. Кругом на большом расстоянии нигде, кроме Праги, не было еврейских общин. Он был один, затерявшийся среди сотен тысяч чужих и врагов—один с трупом.

Но никогда не унывающая Моника нашла выход. Вырыть могилу в лесу! Лес принадлежит всем! Давид согласился с нею. Было только одно затруднение,— незаметно достать из сарая в саду хозяина кирку и лопату. Моника и это сумела сделать. Теперь осталось только найти не слишком отдаленное, но в то же время укромное местечко. Нужно было, чтобы их не застигли за этим опасным делом.

Они проработали с утра до вечера на тенистом холме в лесу, откуда видна была Эльба. Холм этот напоми-

нал башню Герзона на берегу родной реки. Затем они выждали наступления ночи и, когда стало совсем темно, вытащили труп из комнаты, закутали его в плащ и снесли к могиле. Посох Герзона они воткнули в могилу вместо памятника.

В эту же ночь они хотели покинуть постоялый двор, где их странное поведение, несмотря на все меры предосторожности, могло обратить на себя внимание.

Они связывали свои вещи, как вдруг дверь в комнату распахнулась. При свете факелов стояли четверо ландскнехтов, а за ними испуганный хозяин и какой-то еще более испуганный крестьянин.

— Ни с места!—крикнул молодой белокурый парень, который, повидимому, был у них вожаком.—Клянусь своим именем Ганса Зиндельфингера,—прежде чем вы выйдете отсюда, вы должны мне отдать петуха, которого вы вчера отняли у нас во время игры.

В этом требовании легко было отказать, потому что Моника отдала подыхающего петуха в харчевню. Хозяин подтвердил это, следовательно, и не было основания задерживать больше путешественников. Но вскоре оказалось, что ландскнехт собирался отомстить за то, что ему помешали вчера в его развлечениях, и желал во что бы то ни стало придраться к ним.

— Вас было трое, а теперь двое! Где старик, который был с вами? Вот этот человек,—он указал на дрожащего крестьянина,—говорит, что он видел, как вы уносили его из дому и закопали в лесу без христианского погребения.

— Врет он,—быстро ответила Моника.—Старик совсем не с нами пришел. Но если он остался еще должен хозяину, то мы, из христианской любви и для того, чтобы вы нас оставили в покое, готовы все заплатить. А вообще нас это совсем не касается.

«Как смело защищает она нас и как ловко она выкручивается»,—подумал Давид и хотел притти ей на помощь, но стрелок заорал на него:

— Молчи, еврей!

Давид отошел в угол.

Недовольный, что у него выскользнула добыча из рук, ландскнехт смотрел по-очередности на них обоих. Вдруг улыбка осветила его загоревшее лицо. Теперь он напал на самую удачную выдумку. Подбоченясь, он с преувеличенным изумлением наклонился в их сторону.

— Дьявол вас возьми, каким образом вы очутились вместе?

Молчание.

Он повернулся к хозяину.

— Известно вам, хозяин, если кто схватит еврея без желтого кружочка на платье, то он имеет право отнять у него половину всего имущества, которое при нем окажется. А другая половина принадлежит властям.

Хозяин поспешил подтвердить.

— И полагается подвергнуть его пытке и с пристрастием допросить, чтобы он указал, где у него спрятаны и зарыты сокровища.

Теперь заинтересовались и трое остальных ландскнехтов, которые до сих пор держались в стороне. Почуяв добычу, они подошли ближе. Один взял Монику за подбородок:

— Да еще есть императорский указ—если еврей заведет шашни с христианкой, то его надо сжечь в бочке с дегтем.

— Чего им надо?—возразила Моника, как бы обращаясь к Давиду совершенно равнодушным тоном.— Мой муж Владислав Першиц, с которым я сочеталась законным браком в королевском городе Офене, венгер-

ский гражданин и так же мало общего имеет с евреями, как и вы, господин ландскнехт. А я,—при этом она приподняла юбки и показала изящную ножку,—госпожа Моника, танцовщица и направляюсь в Дрезден к королевско-саксонскому двору, где буду на вас жаловаться, если вы меня сейчас же не освободите.

Свои решительные слова она подкрепила кокетливым взором, сделала несколько па и этим заставила Зиндельфингера молчаливо отступить, но тотчас же у него появилось желание поразвлечься иначе. Он обнял Моникау за талию и сказал:

— Если вы танцовщица, то я прошу вас и вашего мужа уж во всяком случае не покидать нас. Вы должны сегодня ночью танцевать с нами, госпожа Моника.

Моника сделала знак Давиду, чтобы он следовал за ней. Он спустился по лестнице и пришел в трактир, где вскоре началось шумное пиршество. Моника подливала ландскнехту, позвала музыканта, который умел наигрывать плясовые мотивы. Один из ландскнехтов, уже старик с огромной седой бородой, бил в такт в барабан. Позвали еще обеих дочерей хозяина, и Давид, никогда не видевший ничего подобного, краснея, глядел, как парни бесстыдно хватали девушек за груди. Правда, он понимал, что Моника участвует во всем этом поневоле, и что она затеяла весь этот кавардак только для того, чтобы незаметно потом убежать с ним, но ему было очень больно глядеть, как легко и без всякого сопротивления она приспособилась к этой чуждой ему обстановке!

Она танцевала с Гансом Зиндельфингером, танцевала, быть может, больше, чем требовалось для выполнения ее плана. Она танцевала с жаром и увлечением. И, повидимому, уже забыла, что еще несколько часов тому назад стояла у открытой могилы, опуская в землю мертвое

тело. Как вспыхивали ее глаза, когда красивый стройный мужчина прижимал ее к себе! Теперь она танцевала с ним гордую «падуану»,—как тогда перед Давидом в своей девичьей комнатке. И как тогда, она на мгновение прижималась щекою к щеке мужчины, только ландскнехт не стоял неподвижно, как замороженный, подобно Давиду, а следовал за нею, когда она уклонялась от него, и их шаги так искусно шли в такт, словно они всегда танцевали вместе.

Под влиянием винных паров ландскнехт снова вернулся к своему убеждению, что Давид—еврей, и, крепко обнимая Моннику, запел песенку:

«Помоги нам, боже, одолеть евреев.—Отнять у них залогов и собрать ландскнехтам всякого добра».

Это была песня его собственной выдумки и очень понравилась ему. Он часто повторял ее, поглядывая на Давида. Потом ему вдруг пришла в голову новая выдумка. Давид должен принести еврейскую присягу, что он действительно мадьяр, а это его жена.

Он должен поклясться, стоя в одной рубашке на свежей свиной шкуре, по еврейскому праву «швабского зеркала», как это заведено в Чехии. Так приказывает он, Зиндельфингер. Тем временем Моника старательно подливала ему вино в бокал.

Наконец, пора уже бежать.

Моника делает знак. Ландскнехт еле бормочет, смотрит тупыми глазами. Барабанщик храпит, опустив седую голову на барабан.

Теперь уже нетрудно уйти от них.

XXVII

Они шли целыми днями и даже ночью. Им все казалось, что их настигает погоня.

Давид часто расспрашивал об Эрфурте, но большинство из тех, к кому он обращался, ничего не знали об этом городе. А об новой жизни, которая там началась, и подавно никто не слышал. Имя Гуттена, о восстании которого в гетто проникли такие надежные вести, было чуждо для всех. Казалось, все это свободное государство словно провалилось сквозь землю с тех пор как они покинули Прагу.

Раньше Моника безусловно верила словам Давида. Теперь она все чаще приставала к нему, когда же они, наконец, будут у цели? Она поговаривала также о том, что деньги у них на исходе.

— Нужно было больше украсть, мой милый, богатая матушка от этого не разорилась бы.

Она говорила и кое-что другое, что его раздражало. Он пробовал ей читать нравоучения вроде того, как в тот вечер, когда был петушинный бой. Тогда она приняла их совершенно спокойно и даже с раскаянием, а теперь гордо закидывала голову, и Давид иногда говорил ей с грустью:

— С тех пор как ты танцевала с ландскнехтом, ты меня больше не любишь.

Но об этом она и слышать не хотела.

— Оставь меня в покое с этим вертопрахом!

А если он продолжал в таком же тоне, она совсем умолкала.

— Неужели ты можешь забыть поцелуй верности на каменном мосту, в то утро?—с мольбой обращался он к ней.

Но и у него совесть не была чиста перед ней. Куда он вел ее через этот мост? Разве он сам не научил ее неверности?—В течение всех этих дней, когда его жизнь, казалось, приходила в порядок, он почти не вспоминал позорного повода их бегства. Теперь с но-

выми сомнениями вернулось и старое, отвратительное.—В душевной муке он прибег к средству, к которому прибегал его отец для того, чтобы вымолить у судьбы перемену к лучшему. Он постился. Восемь дней он ел и пил только раз в день—вечером и в течение всего остального времени не брал ничего в рот. Сначала он постился два-три дня подряд и уже чувствовал, как сердце у него успокаивалось. Он не искал так страстно объятий Моники, которая уклонялась ночью от ласк. Он овладел своими чувствами, был снова силен. Мог спокойно и разумно говорить с Моникой. Он образумился, убеждал себя, что Моника явно оказала ему предпочтение перед ландскнехтом, иначе она могла бы покинуть его,—а между тем она, наоборот, приложила все старания к тому, чтобы бежать вместе с ним. Он возлагал большие надежды на свое прибытие в Эрфурт, в славную республику, в которую он верил сильнее чем когда-либо. Любовь Моники снова укрепитя, и вся его жизнь станет яснее и лучше.

В это время в одной деревне на Эльбе их застигло наводнение.

Эльба не даром носит это имя, она—злая Альба, призрак. К вечеру вода залила только береговую улицу, на которой был расположен заезжий двор. На рынке позади заезжего двора ребятишки весело плескались в маленьких лужах, образовавшихся на деревенской улице. Все это имело невинный вид, казалось игрой. Но ночью пошел сильный дождь, и река страшно вздулась. Как желто-бурое море, Эльба заполнила всю долину до самых гор. Заезжий двор очутился среди воды. В погребах, в комнатах нижнего этажа струились мрачные медленные воды. В них не чувствовалось движения, они подавляли своей массой, пробивали стены

и лениво протекали дальше, словно во сне, не сознавая, что делают. Бывает и такой дьявол, который в своем благодушии столь же ужасен, как коварные демоны, которые хоть тем хороши, что благодаря своей живости походят на людей.

Давно пора было уже очистить дом. Хозяева привели Давида и Монику к чердачному окну, выходящему на рынок.

Рынок был превращен в озеро.

Там, где еще вчера дети бродили босыми ногами по мостовой и вода им доходила только по щиколотку, теперь, на утреннем рассвете, плавали большие лодки и забирали людей, спасавшихся из своих жилищ.

Такая лодка остановилась также и перед заезжим домом, как раз под самым окном. В нее нужно было спуститься по длинной лестнице.

Сначала спустился хозяин. Лестница при помощи веревок была крепко привязана к подоконнику. Хозяин влез в открытое окно, которое было так мало, что он должен был согнуться, стоя на подоконнике. В такой позе он повернулся спиной к улице, лицом к двери, и стал спускаться, поставив ногу на первую ступеньку, затем исчез из окна и быстро и ловко спустился по лестнице.

Давид подошел к окну. У него закружилась голова. Лодка казалась ему где-то далеко, а лестница была прикреплена только к окну и свободно свисала вдоль стены. К тому же она была составлена из двух лестниц и поэтому казалась еще более ненадежной.

— Я не сумею этого сделать,—сказал он, побледнев.

— Но почему же не сумеешь? Посмотри, как ловко вылезла хозяйка,—пошутила Моника.

И действительно, пожилая женщина быстро вылезла за мужем.

Теперь очередь была за ними, но так как Давид медлил, то сначала слуга и служанка показали, как надо вылезать из окна и спускаться по лестнице. Самое трудное было повернуться в окне. Дальше все шло хорошо.

Моника подбадривала его.

— Разве ты никогда не лазил по деревьям?

Он со вздохом ответил:

— Нет.

— Так попробуй.

Но он отказался. Ему было очень страшно, он сумел перенести все опасности в пути, не испугался ландскнехтов, вырвал у них окровавленного петуха, не позволил, чтобы Герзона хоронил священник, сумел устроить погребение в чужой деревне, а теперь его пугало пространство, ничем не заполненное пространство.

Он подошел к окну. Голова у него закружилась, руки и ноги отказались служить. Голова у него была смелая, а тело не повиновалось.

До сих пор Моника не придавала значения его боязливости, только теперь она заметила, в каком скверном положении они очутились. Она расплакалась.

— Ты можешь слезть одна,—сказал Давид,—меня оставь здесь.

Но она не соглашалась. Стояла, пылая от возбуждения и стыда.

Прошли ужасные четверть часа.

Давид попытался еще раз подойти к окну, затем оставил это. Никогда он еще не чувствовал себя таким беспомощным. Он сел и сидел неподвижно, словно отдав себя на волю судьбы.

Между тем на улицах, расположенных в более высоких частях деревни и выходивших на площадь, собралось много народу. Люди благодушно поглядывали, как спасались на лодках застигнутые наводнением.

Вскоре общее внимание было обращено на окно, за которым выжидали Моника и Давид, последние пленники воды.

Вдруг с одной улицы отплыла лодочка. Она была уже широких грузовых лодок, которые разъезжали по площади, обратившейся в озеро.

— Нас спасают!—воскликнула Моника.

Лодка, действительно, остановилась у дверей заезжего дома, которые наполовину были затоплены. Затем въехала в комнату нижнего этажа. Смелому гребцу пришлось сильно нагнуться и втянуть весла, так как иначе они бы сломались. Держась руками за стену, он осторожно продвигал свою лодку до внутренней лестницы. Слышно было, как лодка стукнулась о ступени.

Давид и Моника спустились по лестнице к самой лодке.

Они вошли в нее и узнали гребца. Это был ландскнехт Ганс Зиндельфингер.

Немало времени ушло, пока он вывез их из темной комнаты. Лодка легко могла опрокинуться. Сидевшие в ней не говорили ни слова. Но Давид почти не заметил, в какой опасности они находились, не сознавал, сколько отважного и смелого было в том зрелище, которое они являли собою выезжая из двора заезжего дома. Отвага была на стороне их спасителя, он же представлял собою смешную фигуру.

Но он сознавал в это время только одно: что потерял навсегда Монику.

Правда, сначала могло казаться, что это не так.

Они сидели втроем в кабачке на склоне горы. Моника нежно целовала его в глаза и губы. На ландскнехта она даже не глядела и только наспех поблагодарила его. Она говорила только с Давидом, обвиняла себя, что чуть не явилась виновницей его смерти.

— Я знаю, что ты храбрый, ты только не привык лазить, ты воспитан иначе, чем я.—Она закрыла глаза и вздрогнула.—Я представляю себе, что было бы, если бы ты упал с лестницы и разбился о лодку. Как я могла требовать этого от тебя. Я ужасно подлая.

— Куда вы теперь думаете направиться?—спрашивал Давид ландскнехта. Утешения Моники были для него мучительны.—Я слышал, что тевтонский орден набирает войска против Польши. Ну, а если я вздумаю остаться на службе у императора, то могу направиться в Геннегау в войска Шауенбургера. Для благочестивого ландскнехта работа всегда найдется, потому что мир никогда не успокоится. И жену прокормить можем!—добавил он, хватая Моника за руку.

Она высвободила ее и поцеловала Давида в лоб, но ему показалось, что при этом она кокетничает и нежничает с ним только для того, чтобы показать чужому, как она хорошо умеет целовать.

— А слышали вы о новом, ученом свободном государстве в Эрфурте?—продолжал он расспрашивать, не желая показать своего грустного настроения.

Ландскнехт не удостоил его ответом, лишь мотнул слегка головой. Он разговаривал только с Моникой. Внимание, которое Моника уделяла не ему, а Давиду, не возмещало в достаточной мере этого пренебрежения и не давало возможности Давиду принять участие в общем разговоре. Давид мрачно смотрел на залитую водой долину. Все было окрашено в серый и грязно-коричневый цвета. Солнца не было видно, шел дождь, и дул холодный ветер. Деревья производили такое впечатление, словно их сейчас задушит кашеобразная жутко медлительная водяная масса. Рушились дома; Давиду это напоминало разрушение Иерусалима. И внезапно ему стало ясно, почему рассказ о нем помещен в том

самом отделе Талмуда, где говорится о разводе и расхождении любящих. Гибель храма—в обоих случаях. Расставание с Моникой равносильно новому разрушению святыни.

— Супруг мой,—ласкалась она к нему,—как хорошо, что мы благополучно избавились от опасности.

Он сделал над собой усилие и сказал:

— Может быть, вы пойдете вместе с нами—ведь по крайней мере до Дрездена нам по дороге.

Моника решительно запротестовала.

— Ну, что ты затеял! У них совсем другие дела.

Зиндельфингер ничего не говорил. Он мрачно молчал наподобие того, как иногда молчала Моника. Только позвал хозяина и велел снова дать вина. Моника не была угрюмой, как это бывало после ссоры с Давидом, а, наоборот, весело болтала.

— Хорошее это будет дело, если мы пойдем бродяжить втроем. Нет, пускай это делает кто хочет, а я не хочу.

Давид почувствовал себя еще более униженным. Для него это была последняя попытка спасти хотя бы остаток ушедшей от него красоты.

— Ведь со стариком Герзоном мы тоже были неравной компанией, и все-таки ты не побоялась принять моего друга Агасфера в наш общий союз. Так и теперь я думал—можно пригласить...

Моника рассмеялась:

— Моего друга?

— Меня!—воскликнул Зиндельфингер.

Она насмешливо посмотрела на него.

— Вас, мужчин, нужно дурачить.

Ландскнехт сверкал глазами.

— Нет, не тебя!—и она ласково прильнула к Давиду,—ты ведь у меня умненький.

Никогда еще он до такой степени не ощущал всей жестокости жизни, как во время этой грустной беседы, в печальной обстановке залитой наводнением долины. «Меня не щадят. Решение не заставит себя ждать. А что для меня оно означает гибель, это никого не интересует!» Впервые со времени побега его потянуло к матери, к ее ласке.

Моника была в хорошем настроении. Она весело показала на стоящий внизу заезжий дом. По лестнице на него взбирались ребяташки. Они лазили, как белки, влезали в окно и вылезали оттуда с разными домашними вещами—стульями, скамейками, кухонными мисками, и, весело балансируя, еще с лестницы передавали их жителям, которые с благодарностью принимали свое имущество. Смех и крик доносились до кабачка. Люди, очевидно, не так серьезно относились к постигнутому их бедствию, как Давид, сидевший с мрачным взором, далекий от всей этой жизни и от своей веселой жены, которая старалась его приободрить.

XXVIII

Он проснулся среди ночи.

Ложe рядом было пусто.

Ему сразу стало ясно. Она последовала за более сильным мужчиной. Более сильный побеждает. Другого исхода он и не ожидал.

— Сочтены, сочтены, взвешены и найдены слишком легкими!

Рука глухонемого слуги дрожа пишет на стене огромные буквы и исчезает вместе с ними.

До сих пор был сон, а теперь это действительность! Жестокая, невыносимая действительность. Давид, пошатываясь, поднялся с кровати. Кругом пустота. Все кон-

чено... В груди одна боль, беспредельная боль, пресекающая дыхание. Где у него кинжал? Она дала кинжал вместе с этой пестрой одеждой. Теперь все это сразу утратило всякое значение, даже хуже—стало враждебным. Все, что было пережито с нею и ради нее, утратило смысл. Перед ним стояла вся его прошлая жизнь, враждебно обернувшись к нему.

Он набросил на себя платье и вышел в сад. Может быть, он еще помешает ей. «Пускай я слабее, но я буду бороться. Мои страдания более жгучи—это тоже сила».

Ему не пришлось бежать далеко. На первом же повороте за изгородью он увидел при свете луны, как они медленно шли впереди. Ему пришлось быстро остановиться, чтобы не наскочить на них. Значит, они совсем не собирались бежать! Они чувствовали себя настолько в безопасности, что прогуливались здесь, почти перед его окном, перед его супружеской спальней. При виде этого зрелища он бессильно раскрыл руку. Кинжал упал.

Тихий звон. Моника обернулась. Нет, она ничего не заметила. Слегка высвободилась из объятий ландскнехта, наклонилась в сторону, чтобы сорвать цветок.

Давиду казалось, что она говорит: «Вот это жгучая крапива, а это глухая крапива».

Как часто бродили они вот точно так же рядышком по двору кузницы, у живой изгороди вдоль городской стены, около ее дома.

Она дала цветок ландскнехту. Давиду не хотелось ничего видеть, но он все-таки видел, как ландскнехт вместо того, чтобы взять цветок, грубо обнял ее, и Моника—ах, как это жестоко!—прижалась к нему своим стройным телом, словно хотела спрятаться где-то в широких складках его плаща. Теперь действительно Венера была у Марса.

Парочка удалилась. Давид бросился на сырую землю, запустил в нее руки. Так когда-то рылись в земле пальцы Моники. Все кончено. Впереди могила, забвение, ничего нет кругом! Но мучительные образы обступают его. Сколько их! Он опускал руку в свою собственную могилу, а видел только Монику и ее белую ручку за работой в саду. Как она соблазнила его. Перед ним проносится прошлое: Моника—и коварное спокойствие вражеского праздника. Улицы залиты дождем, аллеи полны укрывшихся от дождя людей в праздничной одежде—запертые двери кузницы—двор под серым небом, ветер колышет зеленые побеги молодых деревьев—в доме Моники пылающий очаг, у которого она ласково, дружески, снимает с него плащ—целует его до тех пор, пока он не начинает отвечать на ее нежные поцелуи—своими первыми мужскими поцелуями! А потом все эти поездки на лодке к ней, и труп в погребке, и пожар и побег—до того чудесного момента в саду заезжего дома, где она разложила белье на лужайке и сидела около спящего Герзона как настоящая хозяйка, глава семьи, его святая жена. «Да живет красота Иафета в шатрах Сима!» Но что, если красота Иафета не желает жить в шатрах Сима, если она коварно убегает? Разве тогда не падает все в преисподнюю, как волшебные сады Армиды? И не исчезает ли тогда заодно и родина, которая была покинута ради Армиды? Не исчезает ли Прага, мудрый отец и мать, престарелая мать—не исчезают ли они именно теперь окончательно?

Такова действительность. Теперь он стал одинок, совершенно одинок.

На дороге, которая идет через горы по направлению к югу, видна оборванная согбенная фигура. Бежать, бежать, не останавливаться, не выжидать. Это бегство, на которое весь лес в горах откликается насмешкой и

проклятьем. Холодный месяц освещает дорогу, политую дождем. А там, где звезды освещают дорогу, там путь на север, в Эрфурт. О нем он не хочет больше слышать. Свободная республика закрыта для слабого, обманутого и чужого. Рухнуло искусное сооружение, по поводу которого много говорилось о спокойном ожидании, об отсутствии страха и остатке отеческой строгости нравов. Эта речь отзвучала среди бурной безжалостной ночи. Деревья сбрасывают увядшие цветы на дорогу, в грязь. Конец надежде, ничего не остается как где-нибудь безумно погибнуть, но только подальше, подальше от мест, где манило счастье!

Так убегает Давид. Он не знает, что дорога ведет к южному морю, к берегу, откуда корабли плывут в святую землю и в Аравию.

I

В год «Рапад», т.-е. в 5284 год после сотворения мира, в 1524 год христианского летоисчисления, 1 января в Венеции у Рива де-Скиявонне бросил якорь большой парусник «Нубия», прибывший из Александрии. Парусник принадлежал известной аристократической семье Контарини и привез для приумножения богатства родного города перец, мускат и другие драгоценные восточные пряности. В то время как корабль разгружался, с него спустили гребной баркас, в который сели люди, возбуждавшие своим видом внимание даже в Венеции, привыкшей к чужеземцам.

— В дом капитана на Кампиело Поццо! — крикнули матросам с борта галеры.

В баркасе на кожаной скамейке уселся человек в белом бурнусе с огромным тюрбаном на голове. Перед ним на дно, устланное ковром, опустились, скрестив ноги, двое слуг, тоже в арабском одеянии.

Чужеземцев можно было бы принять за посольство турецкого государя, и тогда это было бы обычным явлением в жизни республики, которая постоянно имела дела с османами и дружеские и неприятельские, то заключая с ними союзы, то воюя с ними. Но странное знамя, которое держал один из слуг, не допускало такого толкования. На этом знамени из белого шелка

не было полумесяца, а были вытканы золотом четыре буквы на неизвестном языке. Иностранное знамя не склонилось перед флагами, которые были вывешены на пьестете; кроме флага республики Сан-Марко, там гордо реяли огромные полотнища флагов трех королевств—Кандии, Морен и Кипра. И чужое знамя свободно и братски развевалось им навстречу.

Барка въехала в большой канал, миновала мраморные дворцы, украшенные позолотой, и целый лес пестрых пристаней, украшенных гербами, где колыхались суда, нагруженные вином и оливковым маслом. Яркие красные весла военной галеры чуть не задели чужеземных гостей за головы, подобно длинным зубам прожорливого чудовища. Затем маленькая лодка затерялась среди множества разнообразных судов и вынырнула только вблизи моста Риальто, свернула в более спокойный фарватер Рио де-Санфоло, узенький боковой канал, наконец, снова пересекла Большой Канал и причалила недалеко от церкви Сан-Маркуоло в Канареджио, в самом широком боковом рукаве канала.

— Вот там, напротив—будет гетто,—услужливо показал один из матросов человеку в тюрбане, высаживавшемуся на берег.

На худощавом загорелом лице не дрогнула ни одна черточка. Иностранец вышел на берег, не поднимая глаз. Только когда он стоял, можно было заметить, какого он маленького роста. Когда он сидел, он, со своей грузной, широкоплечей фигурой, резко очерченной головой и огромной бородой, казался великаном. Движением пальцев, не поднимая руки, он подозвал слугу и что-то шепнул ему, оставаясь совершенно неподвижным.

— Господин желает, чтобы его проводили в дом вашего капитана мессера Сципионе.

Вокруг группы уже собралась толпа празднующих людей. Женщины, дети, нищие с любопытством осматривали странный наряд приезжих. Несколько евреев, которых можно было узнать по их желтым шляпам, поглядывали издали. Один из слуг врезался в толпу, чтобы проложить дорогу, другой нес за своим хозяином знамя с золотой надписью. Матрос пошел с ними, чтобы показать дорогу. Им пришлось пройти всего несколько шагов, и они очутились у двери указанного им дома. Матрос открыл ее и впустил иностранца. Его спутники провозились еще около часа, отесняя от дверей напившую толпу и отвечая на разные расспросы.

II

Когда вечером капитан мессер Сципионе, хорошо разместив на складе свои выгруженные товары, вернулся домой, гость ничего у него не потребовал и попросил только дать ему воды и хлеба с яйцом.

В следующие дни он питался только раз в день—по вечерам и той же скудной пищей. Так он постился шесть дней подряд, каждый раз до захода солнца. Для капитана это было уже не ново. Во время переезда из Александрии в Венецию путешественник тоже постился однажды таким образом целых шесть дней, от одной субботы до другой. А слуги рассказывали, что частые недели поста вошли в привычку у их господина. В особенности он постится и запирается для уединенной молитвы каждый раз, когда ему нужно принять какое-нибудь важное решение.

Так было и на этот раз. Чужеземец в течение шести дней и ночей не покидал своей комнаты, и никто его не видел, кроме слуги, приносившего ему по вечерам его скудную пищу.

Он заставлял его в самом темном углу комнаты молящимся про-себя, с лицом, закрытым руками. Слышно было, как он тяжело вздыхал. При этом он никогда не произносил ни слова слуге.

Но тем больше говорили кругом. В гетто, расположенном недалеко от дома капитана, вскоре только и было разговоров что о таинственном госте. Оба слуги чужеземца, оказавшиеся евреями, один по имени Нисим, а другой, родом из Сицилии, по имени Иосиф, часто приходили за мелкими покупками в гетто, где их немедленно обступали любопытные. Они охотно отвечали на расспросы. По-итальянски говорил, правда, только сицилиец Иосиф, а он поступил на службу к своему хозяину лишь в Каире. Нисим, сопровождавший своего господина гораздо дольше, еще из Джидды—портового города на Красном море, умел говорить только по-арабски и на плохо понятном венецианским евреям грубом еврейском гортанном наречии. Но оба они помогали друг другу; то, что знал один только Нисим, Иосиф переводил окружающим, а потом уже разглагольствовал и сам. То, что удалось узнать таким образом от обоих болтливых, старавшихся перещеголять друг друга, слуг, было, правда, весьма интересно. По их словам, чужеземец тоже был евреем и притом важным господином, княжеского рода. Его величают «сар»—князь. Зовут его сар Давид Реубени—и еврейская община, или еврейское государство, откуда он родом, находится далеко от всех стран, где живут евреи. Слуга Нисим утверждал, что в Джидде ему рассказывали, что страна эта называется «пустыня Хабор» и граница ее лежит на реке Самбатиион. Река эта длиной простирается на три месяца пути, а в ширину—на месяц, и гул ее так силен, что слышен на расстоянии полудневого пути, но это только по будним дням, потому что в субботу река умолкает: она отды-

хает так же, как и люди, почему и называется Самба-тион, т.-е. субботняя река. Люди, что живут на этой реке, мудры, благочестивы и праведны и воздерживаются от клятв. Даже, когда они говорят правду, они не клянутся. Ибо сказано в писании: «Дети, что клянутся, не растут». Зато на реке Самба-тион люди доживают до ста двадцати и более лет, имеют потомство в третьем и четвертом колене, и никогда сын там не умирает раньше отца. В стране этой нет нечистых животных и насекомых. Скот плодится дважды в году; сеют и жнут тоже по два раза в год. Люди ходят в платье из шелка и тонкой шерсти, доходящем до самых пят. Но вместе с тем они прекрасно владеют оружием, и одно из племен, потомки Дана, столь воинственно, что три месяца в году проводит на лошадях, сражаясь и преследуя врагов. Принадлежащие к этому племени не читают жалобных песен Иеремии для того, чтобы не предаваться горю. Поэтому они, а вместе с ними и остальной народ «забыли о Иерусалиме», как выражался Нисим. Но вот недавно они прослышали о страдании своих братьев, о жестоком изгнании из Испании, и воспоминания, словно шквал, обрушились на них.

Когда некоторые нетерпеливые люди спрашивали, что же видел Нисим собственными глазами, а не только знает с чужих слов, то, после перевода при содействии толмача-сицилийца, раскрывались еще более изумительные вещи. Нисим отправился из Джидды вместе со своим господином саром Реубени два года тому назад, плыл с ним три дня и три ночи по Красному морю и высадился в эфиопском городе Цуакин. Оттуда они совершили мучительное путешествие с караваном в обществе важного араба, Омар Абу Камила, и прибыли ко двору короля эфиопского, Амра, в провинцию Ламуэль. Там их в течение десяти месяцев принимали с почетом.

Однажды сар Реубени получил от короля четырех рабов и четырех очень красивых рабынь, но немедленно отослал этот подарок обратно, потому что он человек великого благочестия, много молится и постится и не дает воли дурным побуждениям. Король возненавидел его за то, что он отверг подарки. Сару удалось бежать только благодаря королеве, которая была к нему очень расположена. После этого они побывали в других королевствах на Ниле, в земле Алгаал, где правит Абу Акрав. Затем в Донголе и Кабире, где их приветствовал шейх Осман, подаривший господину пальмовое вино и двух молодых львов. Львов этих сар впоследствии поднес в подарок султану египетскому. Побывали они также в Каире и оттуда совершили паломничество в святую землю, стонущую под игом измаэлитов.

Начиная от Каира было уже два свидетеля всех этих чудес, потому что оттуда участие в путешествии принимал и сицилиец Иосиф. Через Газу они прибыли в Хеброн. Там сар пожелал непременно спуститься в пещеру Махела, где погребен Авраам и его семья. Уже в течение столетий никто не решался спуститься туда, и только однажды по приказу султана Омара туда сошли четыре арабских сторожа, при чем трое из них немедленно умерли, а один на три дня лишился языка. Потом он рассказывал: «На шести ложах, покрытых коврами и окруженных свитками книг, лежат праотцы—Авраам, Исаак и Иаков и жены их—Сарра, Ревекка и Лия. Их озаряет свет, подобный свету солнца, и сильный приятный аромат курений распространяется по всей пещере. Наши свечи погасли, и все же внизу было светло, как днем. Но когда мы вчетвером приблизились к ложу Ревекки, то с ложа Исаака нас громко, страшным голосом окликнули, мы остановились в оцепенении и потеряли сознание».

— А что видел сар Давид в пещере?—со смехом спросил один из многих, не веривших всей этой истории.

Но сицилиец имел и на это ответ. Сар, всегда сохранявший молчание, правда, ничего не рассказал ему, но он узнал это от одного гостя его господина. Когда господин вошел в пещеру, у могил сидели три закутанных старца. Он спросил их: «Кто вы такие?», а они сказали: «Объяви сынам Измаила, чтобы они очистили страну, дабы туда могли войти наши дети». А господин им сказал: «А если они мне не поверят?» Тогда старцы ответили: «Скажи, что тебе приказали Авраам и Моисей сын Амрама и пророк Илья».

Некоторых это убедило, и они почтительно умолкли, но большинство покачивало головами. Однако и они охотно слушали эти «сказки», как они выражались. Обоих слуг зазывали в дома, чтобы расспросить их подробнее, но они отклоняли такие приглашения. Говорили, что им запрещено это и, кроме того, они не могут долго уходить из дому, так как хозяин их очень строг.

Тем усерднее люди прислушивались к тому, что они рассказывали на улице, когда ходили за покупками. Вскоре узнали, что сар Давид побывал также и в Иерусалиме и что при его появлении в святом городе показалась вода в бассейне храма, чистая ключевая вода. А полумесяц над правительственным зданием, обращенный обыкновенно на запад, внезапно повернулся на восток. Когда господину сообщили об этих знамениях, он только произнес слова: «Время наступило, и близок конец».

III

В пятницу, к вечеру, когда уже приближалось празднование субботы, в переднюю к Реубени пришел старик и, низко кланяясь, спрашивал, нельзя ли ему пройти к

хозяину и пригласить его на трапезу по случаю праздника.

В то время как слуги еще совещались, пойти ли им за ответом во внутренние покон, по лестнице поднялся молодой, гладко выбритый человек с живыми движениями.

— Я художник Мозе Кастелин, мне надо немедленно пройти к вашему сару.

С этими словами он миновал слуг, распахнул дверь в комнату господина и вошел.

Реубени, казалось, ничего не замечал. Он сидел в углу комнаты далеко от окна, локтями он уткнулся в колени и закрыл лицо руками.

Удивленный этим зрелищем, Кастелин остановился у двери. Любопытным взором он дерзко оглядывал все окружающее, прошелся вдоль стены туда и назад, словно желая рассмотреть картину, которую являл собой этот человек, погружившийся в свои мысли. Сквозь открытую дверь вошел и старик. Он едва решался поднять глаза и, приближаясь к Реубени, не переставал отвечать все более низкие поклоны. Наконец, он остановился перед ним в почтительной позе, не решаясь на него взглянуть. Его седые локоны на висках свисали почти до полу.

Давид Реубени поднял голову. В его обожженном солнцем, совершенно иссохшем лице не шевельнулся ни один мускул. Только большие темные глаза вспыхнули диким огоньком. Движением пальца он подозвал слугу и что-то шепнул ему на ухо.

— Господин спрашивает, кто ты такой?—обратился слуга к старику.

— Я еврей.

Разговор продолжался при помощи слуги. Но он шел все быстрее, так что старик под конец уже сам понимал

вопросы господина, который говорил на таком же странном еврейском наречии, как и его слуга, а Реубени, казалось, уже не слушал, когда ему переводили ответ.

— Кто сказал тебе, что я еврей?

— Твой слуга Иосиф сказал мне, что ты вестник добрых дел, что ты «шеллиях мицва».

— Как тебя зовут?

— Эльханан.

— А как зовут твоего отца?

— Зеев Обадиа Сарагосси.

— Значит, ты не венецианец?

— Моя семья родом из Аррагонии. Здесь у меня нет родных.

— Ты беженец?

— Да, ты правильно сказал.

— А ты знаешь гаона Якобы бен-Самуэль Мантино?

— Всякий еврей в Венеции знает, кто такой Мантино.

Но я не удостоился познакомиться с ним лично.

— А врача рабби Халфона?

— Тоже.

— А старшину, рабби Мацлиаца, и рабби Хиа?

— И с ними я не имел чести общаться.

Реубени умолк. Затем некоторое время спустя, он резким тоном спросил старика:

— Чего ты хочешь?

Старик заикался от волнения.

— Я хотел, чтобы вы встретили субботу за моим бедным столом—так как не следует встречать субботу одному—и чтобы я сам мог приобщиться к спасению и милости благодаря такому благочестивому человеку, как вы.

— Нет, — ответил Реубени жестко и спокойно. — У меня нет для тебя благих вестей, Эльханан.

Ошеломленный старик отступил назад, но не вышел из комнаты, а задумчиво оставался стоять у окна, словно стараясь уяснить себе сокровенный смысл слов, которые он только что услышал.

— А ты чего желаешь?—обратился Реубени к художнику, который продолжал стоять у стены и тем временем успел развернуть сверток с бумагой, который у него был подмышкой, и начал быстрыми штрихами набрасывать рисунок. При этом он самодовольно покачивал головой и улыбался.

— Великолепно,—ответил он на обращение к нему, не откладывая бумагу в сторону и продолжая набрасывать рисунок.—Я хочу нарисовать господина и уже делаю это. Сначала только маленький набросок. А потом будет большая картина, в новой манере Тициана. Правда, заказа у меня еще нет, но такую вещь я всегда сумею сбыть. Заморские звери, морские чудеса, странные фигуры, люди, заставляющие о себе говорить, авантюристы—этим у нас интересуются. Два года тому назад у нас тут был гроссмейстер Родоса. Ну, и мужчина, скажу я вам! Метал грома и молнии, словно не турки его побили, а он их! В прошлом году сюда в гавань привезли верблюдов и носорога. Их можно было потом осматривать в садах на Джудекке. Разумеется, я немедленно побывал там и зарисовал их—первый!

Все в комнате ожидали, что Реубени немедленно прогонит наглеца. Но, к их изумлению, он велел переводчику спросить:

— А ты знаком с Тицианом?

— Я знаю всех выдающихся художников и знатных людей Венеции.

— И знатных евреев?

— Я ведь сам еврей.—И художник указал на желтую шляпу, которую он оставил на кресле у дверей.

Реубени испытующе взглянул на этого человека, который со своим гладко выбритым лицом и обнаженной головой—у всех остальных в комнате головы были покрыты маленькими шелковыми шапочками—никак не производил впечатления еврея. Нисколько не показывая своего изумления, Реубени продолжал разговор:

— Сядь сюда.

Художник немедленно повиновался. Взор господина не допускал никакого возражения и сопротивления. Стоя у окна, старик Эльханан не без зависти смотрел, как сар принимал с почетом богоотступника Кастелина, тогда как ему, богобоязненному человеку был дан такой резкий ответ. Но он не сомневался в том, что все, что делал праведник, а следовательно, и это странное внимание, оказанное дурному человеку, имеет на-ряду со внешним, явным смыслом еще некоторый сокровенный, доступный только постигшим высшую мудрость.

— Как живет еврей в Венеции?—спросил Реубени художника.

— Перец поднялся в цене,—ответил Кастелин и, тщеславно улыбаясь, погладил себя по волосам, которые по венецианской моде носил гладко причесанными и длинными, так что они доходили до воротника его платья.

Ответ был рассчитан на то, чтобы поразить остроумием, но на сара это, повидимому, не подействовало.

Он равнодушно, не отвечая на улыбку художника, сказал ему в тон:

— А ваше влияние растет в такой же мере, как и ваше богатство?

— Этого нельзя сказать. Венецианцы всегда относились к нам, как кровожадные псы. Не любят, когда кто-нибудь зарабатывает. Только, когда французская армия надвигалась на лагуну со стороны Аньяделло,

тогда мы стали свободными гражданами и нам было разрешено помогать отражать врага. А потом нас снова заперли в высоких домах.

— И как относятся евреи к этому позору?

— Позору?—Кастелину показалось, что он зашел дальше, чем это допускала его гордость. Он поднял голову.—Я уже сказал, что нам живется очень хорошо.

— Да ты оставь перец в покое!

— Нет, мы не можем жаловаться в смысле нашего влияния и оказываемой нам чести. Разве не разрешено Якову Мантино носить вместо желтой шляпы черный берет. Правда, разрешение дано только ему одному, но отраженным светом оно падает на всю общину. А «магистр искусств и медицины» рабби Халфон был недавно приглашен послом английского короля, и ему было поручено составить докладную записку о том, допустим ли по библейскому праву брак короля с женой его покойного брата.

— Это несмотря на разрешение папы?

Кастелин уже успел нарисовать странного чужеземца, но ему показалось, что только теперь впервые он по-настоящему разглядел его. Только теперь он с изумлением заметил на этом искаженном худобою лице черты большого внутреннего превосходства и достоинства. Каким образом мог этот полудикарь, прибывший из далеких стран, так отчетливо разбираться в политических делах Европы и даже знать о семейных делах английского короля Генриха XIII!—Кастелин сразу словно преобразился. Как это бывает с низменными натурами, его высокомерие немедленно перешло в лакейскую угодливость. Этот сар Реубени, очевидно, пожаловал сюда неспроста. С ним надо держать ухо востро. И художник стал отвечать с готовностью по существу дела, без всяких фокусов.

— Именно так, как изволили сказать, ваша милость. Несмотря на разрешение папы. Его величество испытывает мучения совести вследствие библейского запрета. Правда, некоторые подозревают за этим только любовную интрижку. Говорят, что королю просто надоела его жена. Таково и мнение Мантино, который по поводу заключения, данного рабби Халфоном, высказал даже опасение, что папа, пожалуй, очень рассердится, зачем опорочивают данное им разрешение. А кто же будет нам опорой—когда я говорю «нам», то имею в виду граждан Венеции—если папа покинет нас. Французы снова стоят у Кремоны и Комо. Неизвестно, удержится ли Колонна в Милане. Правда, рабби Халфон с уверенностью рассчитывает на Пескару и германских ландскнехтов, но Мантино, наоборот, полагает, что папа, возможно, перейдет на сторону французов...

— Довольно,—воскликнул сар.—Это все, о чем говорят в гетто?

— Именно, как вы изволили сказать,—только об этом и говорят. Мы просыпаемся с заключением рабби Халфона и ложимся спать с ним.

Реубени умолк, глаза его закрылись, в углах рта обозначились глубокие впадины.

Художник с испугом смотрел на неподвижное лицо. Что он наделал? Ведь, право, у него не было никаких дурных намерений. Но, к счастью, сар вскоре снова открыл глаза и сказал совершенно спокойным тоном:

— Послушай, Мозе Кастелин, мне надо передать послание знатнейшим членам вашей общины. Я хочу предстать перед ними, но желаю сделать это только тогда, когда они все будут в сборе и когда заседание будет созвано исключительно с целью выслушать меня.

Кастелин испуганно вскочил:

— Это невозможно!

Но так как он не знал, с кем надо больше считаться—со старшинами или с Реубени, то, не решаясь противоречить Реубени, добавил:

— Я, бедный человек, готов попытаться—но господин Мантино никому не позволяет ему приказывать. Вы уже простите, ваша милость!

Не обращая никакого внимания на заискивания художника, Реубени грубо и резко прикрикнул на него:

— Ты скажешь им, что я жду приглашения в совет. Скажешь им также, что я буду у папы--и что конец приближается.

Эльханан вздрогнул при этих словах. Он слушал невнимательно, потому что рассматривал знамя Реубени, стоявшее в углу окна. Оно заполняло его душу восторгом и надеждой. На двух сшитых полотнищах белого шелка красовались четыре еврейских буквы: «М. К. Б. И.», начало слов: «Кто подобен тебе среди сильных, о господи»—старое победное знамя Иуды Макавея! Бормоча про-себя молитву, которой благодарят бога за чудо, старик Эльханан стоял перед знаменем, словно своими потухающими глазами он увидел то, к чему стремился всю свою жизнь. А тут еще с другого конца комнаты до него как раз донеслось великое слово. Близкий к обмороку он поднял руки и, повернувшись лицом к Реубени, сказал:

— Да будет благословен благочестивый, снискавший благоволение у царя царей...

Голос у него оборвался, он заплакал. Но сар снова жестоко прервал его:

— Для тебя у меня нет благих вестей, Эльханан,—повторил он.

— Согрешил я, согрешил,—пробормотал старик, и стал бить себя в грудь.

В этот момент лицо Реубени как бы пожелтело от гнева, и в темных глазах вспыхнули желтые насмешливые огоньки.

— Нет, грешить ты, старик, наверное, не грешил. Но заметь себе одно: нельзя бормотать, когда стоишь перед великим мира—ради красоты Израиля и ради достоинства учения не следует этого делать.

Старик дрожа смотрел на него. Он не все мог понять, а каждое слово было для него полно значения. Губы его неслышно шевелились, словно он повторял сказанное ему, чтобы не забыть чего-нибудь. Тогда сару, повидимому, стало жаль его, и, как ребенку, которого ласково уговаривают, глядя по головке, он сказал ему:

— Будь мудр и бодрствуй.—И тихо повторил ему на ухо:—Близок конец.

Радость сияла в лице Эльханана. Он выпрямился и пошел к двери, словно почерпнув новые силы в этих словах.

Яростный крик заставил его остановиться, его и художника, который быстро присоединился к нему, словно торопясь как можно скорее покинуть неуютную комнату, где у него, очевидно, прошла вся охота воспользоваться властным иностранцем в качестве модели. Этот яростный крик остановил их в дверях. Лицо Реубени было искажено.

— Неужели вы не можете ходить как следует и должны раскидывать ноги, как карлики, делающие испанские шаги!

Он взял знамя и, держа его древком вперед, набросился на них. Еще минута—и он ударил бы их этим древком.

Но они выскочили за дверь и изо всех сил пустились бежать по лестнице.

IV

Уже к концу субботы пришел синагогальный служка и принес Реубени приглашение на следующий день.

Кастелин, очевидно, недооценил того впечатления, которое произвело на старини общины появление загадочного чужестранца.

В воскресенье сар Давид Реубени в сопровождении двух своих слуг проследовал через «Понте Гетто». Шестиэтажные дома выделялись как крепости над серовато-зеленой водой, а огромные дымовые трубы на крышах казались зубами крепостных стен. На всем лежала печать замкнутости, ни одна улочка не вела отсюда, только узенькая «сотто портико» служила проходом сквозь мрачные, темные каменные массы. Со всех сторон их обступали дети и любопытные. В Венеции всюду живут скученно, но здесь, на тесном острове, предоставленном евреям, человеческих тел, казалось, было больше, чем воздуха. Площадь, занимаемую обемными улицами—более элегантной «гетто нуово» и совсем грязной узенькой «гетто веккино», не разрешалось расширять. И новая жизнь, подобно раковой опухоли, болезненно вращалась в старую.

В синагоге его ждали девять наиболее видных членов общины. Во главе их рабби Шимон бен-Ашер Мешулам. Недоставало только рабби Халфона; он уехал в Болонью, чтобы собрать подписи тамошних раввинов для своей докладной записки. Но зато присутствовал его противник Якоб Мантино, которого легко было узнать по совершенно не-европейскому одеянию. На нем был короткий сюртук с дорогою пряжкой у пояса и черный небольшой плащ, который венецианцы называют «бекка». Он еще больше, чем художник Кастелин, изображал из себя «гражданина Венеции». На длинных, спадающих

вниз волосах сидел черный берет венецианского дворянина. Щеки и шея были тщательно выбриты, и только длинный, горбатый нос и толстая верхняя губа с бородавкой резко выделялись на этом лице.

Весть, которую передал сар собравшимся через своего переводчика, была кратка:

— Я еврей из пустыни Хабор и послан семьюдесятью старейшинами. Я отправляюсь к папе в Рим, да возвысится слава его. Так как речь идет о деле, направленном на благо всех евреев, то я требую вашего содействия. Тогда и вы будете иметь долю в этом деле и вскоре услышите благие вести.

Последовало продолжительное молчание. Старшины с некоторым разочарованием переглядывались, они ожидали большего, рассчитывали получить более подробные сведения. Они стали перешептываться, затем старый рабби Шимон взял слово. Он был сильно возбужден; рука, которой он перебирал бороду, дрожала.

— Мы просим тебя сказать нам, кто ты такой.

— Меня зовут Давид, я родом из колена Реубен.

Снова молчание, словно присутствующие боялись поближе заняться странным чужеземцем, словно уж одни расспросы могли создать видимость соглашения, вступать в которое опасались так же, как и боялись необдуманно отказать мощному союзнику.

Наконец, некоторые, помоложе, почти одновременно начали:

— Ваши слуги говорят, что вы принц.—Верно ли это?—О чем говорите вы, называя колена Реубен? Кто эти семьдесят старейшин? И какую весть несете вы папе?

— То, что я имею сказать папе, предназначается только для его святейшества,—ответил Реубени лишь одному из вопрошавших, как бы считая это достаточным

для того, чтобы поставить в должные границы всех остальных. Затем он слегка поклонился, встал со своего места и знаком приказал слугам открыть ему дверь. Шопот перешел в громкие беспорядочные разговоры. Рабби Шимон попросил гостя подождать, пока совет в соседней комнате обсудит свое решение.

Не прошло и минуты, как решение было принято. Старшины заявили, что они готовы помочь этому предприятию. В частности, ему дадут рекомендательное письмо к евреям в Риме, затем охрану из наемных ландскнехтов, так как путешествие по Романии, где теперь свирепствует война, не вполне безопасно. Но они ставят только одно условие: сар должен сообщить, является ли он тем благочестивцем, о котором до Венеции уже дошла весть в письмах, полученных из Дамаска, и который вызвал возбуждение в святой земле своими проповедями.

— Я не проповедник, я воин,—ответил Реубени. При этом он немного отступил назад, как это обыкновенно делают низкорослые, но смелые люди, желающие смерти противника с головы до ног. Не возвышая голоса, он велел переводчику сказать, что он вел много войн и в боях убил более сорока врагов. Раны на его теле еще не совсем зажили, и их можно видеть, а знамя, которое с ним,—его военное знамя. При этом он схватил это знамя, которое слуга все время нес за ним, и протянул его участникам совещания.

— Мы мирные люди,—воскликнул старшина Шимон, отмахиваясь обеими руками.

И действительно, евреям Венеции чужда была мысль о возмущении против своей судьбы. Может быть, более чужда, нежели всем остальным еврейским общинам. Правда, венецианцы всегда жестоко обращались с ними, как со всеми конкурентами в торговле, и допускали их

только ко второстепенным занятиям. Но они привыкли к этой строгой власти, которая не терпела правонарушений, но зато и сама их не позволяла себе. К этому присоединялось еще и другое обстоятельство: островная республика св. Марка тщательно избегала допускать к себе чужих граждан и поэтому запретила переселение евреев из других мест. Еврейская община уже много столетий состояла только из давно осевших здесь семей. Преследования, которым подвергались евреи на континенте Европы, редко перекатывали свои волны через лагуну, и даже великая разруха, постигшая испанских евреев, занесла сюда только отдельных, оторвавшихся от юбщей массы беженцев, тогда как все остальные еврейские общины в Италии были заполнены потрясенными своим горем и мистически настроенными изгнанниками.

Этим объяснялось, почему здесь, в роскошном зале с мраморными колоннами и золоченой резьбой, дело, которое как будто касалось всех евреев, но в действительности затрагивало интересы преследуемых чужеземных евреев, было принято с некоторой холодностью. Старшины общины недоумевающе покачивали головами, они привыкли разрешать трудные вопросы и, как ученые люди, знали и умели находить выход из всякого положения. Но на сей раз они искренно недоумевали, как им поступить.

Сар не стал долго ждать. Он отстранил переводчика и заговорил на своем плохо понятном еврейском языке, грубом, как те горы и пустыни, откуда он пришел. Он обращался непосредственно к собранию:

— Я понимаю вас. Вы мирно настроены. Вы уже не сознаете позора, который вам приходится выносить. Вы трусливы и поэтому хотите как можно скорее избавиться от меня. Вы боитесь сеньории, совета десяти,

государственных инквизиторов, которые могут обратить свое внимание на вас и на меня. И вы собираетесь послать меня под охраной в Рим?! Как умны мудрецы Израиля! Ведь все равно ваши товары на будущей неделе отправляются под вооруженной охраной в Рим. Так можно заодно отправить и меня. Это ничего не стоит. А перед властями умный ходатай может изобразить дело таким образом, что вы выслали меня как пленника, под надзором ваших солдат.—С его уст собирались сорваться резкие слова, но он внезапно подавил свое раздражение и совершенно спокойным тоном продолжал:—Может быть, было бы приличнее и отвечало бы правилам обихода, которыми вы так дорожите, если бы вместо того, чтобы предлагать ничего нестоящие письма и наемных стражников, вы бы сначала спросили меня: Скажи, чего ты желаешь, и мы исполним, выслушаем и сделаем.

В зале затихло. Невиданное дотоле явление стало оказывать свое действие: бурное выступление иностранца, его пылающие взоры, его простая манера говорить, без цитат из библии, как это любят ученые, твердо и решительно,—все это производило впечатление. Более молодые члены совета были, повидимому, потрясены этим внезапным вторжением живой жизни. А старого хитрого рабби Шимона бен-Ашер Мешулам еще больше тревожило то обстоятельство, что чужеземец так тонко разгадал, какое намерение скрывалось за рекомендательными письмами в Рим и предоставлением охраны. Разве это не свидетельствовало о чрезвычайном уме: человек, который явился из Александрии, а по его словам—даже из более далеких мест, за несколько дней своего пребывания так хорошо разобрался в нравах и в общем положении евреев в Венеции или сумел изучить их исподволь и заблаговременно. Ведь было

совсем непостижимо, каким образом он с первого же взгляда разгадал даже его самого, мудрого рабби Шимона! Умудренный опытом старшина все в большем возбуждении теребил рукой свою бороду. Человека, который разгадал даже его самого, он не мог не уважать.

— Чего же вы желаете от нас?

Он с трудом произнес эти слова. Можно было заметить, насколько неприятна была для него вся эта история и как он боялся зайти дальше, нежели это было абсолютно необходимо. И в то же время он не видел никакого другого выхода.

— Воин—на что нам воин?—громко воскликнул один из участников заседания, но был призван к порядку рабби Шимоном.

Лицо Реубени снова стало совершенно неподвижным, как у человека, приученного к спокойствию долгими упражнениями.

Тем временем в собрании создалось благоприятное для него настроение. Пока он упорно молчал, как бы обиженный предложением председателя, которое было сделано недовольным, брюзжащим тоном, некоторые из присутствовавших уже в дружественных выражениях попросили его изложить свои пожелания святой общине Венеции. Впечатление было такое, что он тщательно проверяет все, что ему пришлось выслушать, но что это не отвечает его ожиданиям. Полуотвернувшись, не меняя гордого выражения лица, он, наконец, выдавил из себя слова, что ему нужны деньги, триста скуди, для того, чтобы надлежащим образом снарядить себя и своих слуг для аудиенции у папы. Когда он уезжал, его на родине снабдили всем необходимым для княжеского путешествия в Рим. Но путешествие длится уже несколько лет, и уже неоднократно его караван подвергался нападению и ограблению: в Каире у него украли

остаток его состояния, шкатулку с тысячью золотых гульденов и множество благородных жемчугов — чем и объясняется его стесненное положение.

Впечатление получалось дурное. Его замкнутость и сверкавший в его речах ум расположили присутствовавших в его пользу, обнаружившаяся теперь нужда производила отталкивающее действие. Разве он сейчас не унизился до положения многих из тех, кто, нуждаясь в деньгах, стучался в двери богатой общины? Его авторитет сразу упал. Кто-то рассмеялся, стали перешептываться, шутить. А Якоб Мантино, который до сих пор сидел в стороне, не произнося ни слова, воспользовался этим моментом.

Не равнодушно, как все остальные, а с самого начала враждебно настроенный, он сидел молча, погруженный в свои думы, до тех пор, пока совещание носило неопределенный характер. Он сам был пришельцем из Испании и потому, не желая напоминать о своем происхождении, избегал участвовать в обсуждениях вопросов, которые касались иностранных евреев. Но все, что говорил здесь гость, а еще больше его манера держать себя, в которой было столько достоинства, но которая именно своей сдержанностью и даже скупостью на слова волновала и раздражала, — все это противоречило той цели, которую он страстно преследовал и публично отстаивал при всяком случае, а именно — быть венецианцем и только венецианцем. Теперь он тонким чутьем ненависти почувствовал, что общие симпатии начинают изменять сару, и стал резко и презрительно нападать на «освободителя», которому следует совершить только один освободительный поступок, а именно — освободить общину от своего тягостного присутствия.

Сар немедленно заставил прервать его и сказать ему, что он ожидал поддержки от великого переводчика Авес-

роеса и Авицены. Он готов посетить его на дому как самого ученого члена общины и сделать ему чрезвычайно важное сообщение.

— Двери моего дома закрыты для вас,—упрямо продолжал Мантино,—они открыты для всех, только не для льстецов, для всех, только не для искателей приключений, для всех, только не для лжецов.

Он говорил на более чистом итальянском языке, нежели остальные члены общинного совета, и явно старался следовать примеру гуманистических риториков, подражать красивому античному построению фразы.

— Правда, за последние десять лет мы узнали так много небывалого о далеких странах, до нас доходили такие маловероятные рассказы мореплавателей, что по существу нет ничего невозможного в том, чтобы два простых еврея, как твои слуги, рассказывали чудесные легенды, которые могут возникнуть только в голове человека, объевшегося белены. Ведь утверждают же, что среди татарских провинций нашлось святое царство архипастыря Иоанна, населенное благочестивыми христианами, живущими по заветам евангелия. Почему бы не найтись еврейскому царству колена Реубени, которое принадлежит к числу затерявшихся колен! И правят им семьдесят старейшин по примеру великого Синедриона? Отлично, превосходно! Ведь нам приходится верить всему, что рассказывают о странах, куда еще не ступала нога венецианца.

Реубени снова просил прервать оратора, и видно было, как он спокойно нашептывал что-то слуге, всячески стараясь владеть собою и избегать всего, что могло помешать спокойным переговорам.

— Мой господин просит не оскорблять его, а допущенные оскорбления он прощает ради страданий Израиля, которые жаждут облегчения.

Такая сдержанность вызвала радостное одобрение, но никто не решался выступить против Мантино: он был предметом гордости общины благодаря милостям, которыми осыпали его несколько нап под-ряд, а также епископ веронский—Джиберти. Но именно сдержанный ответ чужеземца, повидимому, так раздражил Мантино, что он забыл даже о красивых, округленных жестах и о декламаторском тоне и вдруг заговорил визжащим голосом, сопровождая свои слова угловатыми жестами.

— Ничего не надо облегчать, и ничего вы не облегчите. Наши страдания такие же, как страдания всех людей, и не требуют никакого специального облегчения. Наша славная эпоха просвещения исцеляет все раны силою мудрости, исходящей от древних, мудрости, которой в высшей мере наделено милостивое правительство нашего города.—При этих словах он отвесил поклон.—Неверно утверждение, будто мы страдаем больше других граждан, и опасно говорить такие слова. Этим мы отдаляемся от других вместо того, чтобы слиться с ними. А нам не следует отдаляться, для этого мы слишком слабы, мы не должны выделяться. Мы слабее всех. Граждане, припомните, что вот такими же бунтовщическими речами двадцать четыре года тому назад опасный безумец вроде этого призывал к восстанию как раз на венецианской земле, в Истрии. Его имя, да будет оно проклято, было Ашер Лемлейн...

Реубени подошел ближе к оратору. Вскрикнул, но затем быстро овладел собою и стоял неподвижно, как статуя.

Мантино вошел в азарт и раскачивался, как раскачиваются евреи во время молитвы. Его крик невольно перешел в напев, и это тоже напоминало молитву.

— Мы ничем не отличаемся от наших христианских сограждан. Мы не страдаем. Мы счастливы. Счастливее всех, потому что мы сильнее всех. Наша сила в нашем разуме. И теперь, когда наступает царство разума вы хотите, чтобы мы отступили, стали в стороне? Благодаря нашему разуму мы вскоре победим всех. Поймите это. Не знаменами! К чему нам знамена! Знамена хороши для тех! для глупцов! для христиан! А нам зачем знамена?! Нам-то зачем?! Я предлагаю, чтобы мы больше не занимались этой глупой историей с знаменами. У нас есть более важное дело: заключение рабби Халфона и мое возражение по делу английского короля.

Дальше ему не пришлось говорить. С криком: «Это важнее, чем твое собственное дело?», Реубени схватил его зашиворот и потащил к окну.

Никто не мог подумать, чтобы в маленьком, хотя и широкоплечем человеке была такая сила. И он понял итальянскую речь Мантино без переводчика? Зачем же в таком случае нужен был до сих пор переводчик? Присутствовавшие не успели опомниться, как Реубени открыл окно, приподнял Мантино и уже хотел было сбросить его в воду, как в последний момент несколько членов совета схватили его за руки.

Чужестранец больше не произнес ни слова. Он покинул зал и отправился к себе на квартиру.

Члены совета разошлись совершенно ошеломленные. Не соглашаясь с Мантино, в то же время с возмущением порицали Реубени. Какой неистовый человек! Так прилично вел себя сначала, а кончил такой дикой выходкой. Некоторые считали его просто изголодавшимся человеком, другие, однако, побаивались его.

Когда стемнело, двое богатых членов совета послали к нему своих слуг с небольшими денежными подар-

ками как бы для очистки совести. Только слуга всегда крайне осторожного рабби Шимона бен-Ашер принес вместо денег запечатанное письмо, в котором тот собственноручно писал: «Если остальные дадут, я тоже дам». Очевидно, он считал, что и этого достаточно для исполнения долга.

Деньги и письмо были отосланы обратно отправителям.

Чужестранец нигде не показывался, но в доме капитана с этого дня были заметны большие приготовления. Слуги озабоченно выбегали из дому и возвращались домой, приходили и другие евреи, которых посылали с поручениями по разным делам. Стало известно, что отъезд Реубени назначен послезавтра после полудня.

В этот день у дома остановилась великолепная гондола, самая дорогая, какую можно было нанять. Нос ее был обит серебром, над сиденьем возвышался шелковый балдахин. Кроме двух слуг, которых уже знали, было принято еще десять новых, и все были одеты в новое платье, украшенное золотом. Они разостлали ковры по улице, от ворот по лестнице набережной до самой лодки. Затем молча выстроились и ждали. Народу собралось множество. Подшучивали над старшинами, говорили, что чужестранец хотел только испытать их. Ведь ясно было, что он богаче их всех вместе взятых и что ему не нужно денег. Он хотел только испытать их добрую волю, а они сплеховали. Некоторые члены совета тоже явились проститься. Сар вышел из двери, они пошли ему навстречу, но он сделал вид, что не замечает их, и прошел мимо. Перед тем как спуститься по лестнице он снова оглянулся, окинул напряженным взором почтительно молчавшую толпу. Толпа молчала и только напирала на цепь из слуг, которые никого не подпускали к лодке. Люди толка-

лись, старались протиснуться, отвоевать друг у друга место. Каждый хотел, по крайней мере, дотронуться до платья посланца божьего. Но им не позволяли. Реубени, повидимому, искал кого-то среди напиравшей толпы. Наконец, он нашел стиснутого со всех сторон, сгорбленного, почти обессиленного старика. Он протянул ему руку и сказал:

— Подойди сюда, Эльханан!

Слуги пропустили бедного старика в полуоборванном платье и снова сомкнули цепь.

— Чего ты хочешь, Эльханан?

Старик засунул руку глубоко в карман своего длинного черного одеяния и вынул оттуда каравай хлеба и бутылку красного вина, оплетенную соломой. Покорно и без слова он принес свой дар. Реубени принял его.

— Благодарю тебя за продовольствие, Эльханан.

Старик просиял, поднял голову вверх, словно увидел 'разверзшееся небо.

Реубени взял его за руку и тихо спустился с ним по ступеням лестницы. Там он на глазах у всех простился с беженцем, которого все презирали, благословил его и подал ему руку.

Гребцы взялись за весла, белое знамя с золотыми буквами развернулось. Вскоре гондола пристала к парусному судну, которое приняло приехавших и взяло курс по направлению к Песаро.

Противные ветры задержали их в пути. Когда сар прибыл в Песаро, слухи, дошедшие по суше, опередили его. Уже во всех общинах Италии говорили о замечательном отъезде из Венеции и великолепном уроке, который он дал жадным еврейским старшинам.

В гавани Песаро его встречал весь город. Евреи и христиане. Много беженцев из Испании, которые проживали в этих местах с разрешения папы, прибыло из

всех находящихся по близости городов: Фано, Урбино, Римини, Анконы. Девушка сефардийка иступленно танцевала, приветствуя гостя как «сына человеческого и вифлеемита». «Его имя было названо прежде, чем был сотворен мир!»—воскликнула она. Реубени сердито оборвал девушку и запретил ей говорить такие слова. «Праведник скромн!»—воскликнула она и умолкла в сладострастном благоговении, судорожно сплетая руки.

Самый уважаемый член общины, рабби Мозе Фолиньо пригласил его переночевать у себя в доме. Реубени отказался. «К празднику кушей он хочет быть в Риме». Больше он ничего не сказал. Все остальные обращения и вопросы, казалось, не доходили до его ушей. Наконец, по его приказанию, слуги отстранили всех окружавших—знатных и бедняков. Когда ему подвели лошадей и мулов, он тщательно выбрал для себя и для своей свиты самых лучших. На это он потратил несколько часов и обнаружил большие познания в этом деле. Все прочие богатые дары, которые ему приносили, он не удостоил даже взглядом. Их принял слуга.—Теперь скорее в путь, в Рим!

Из Песаро они поехали верхом через Фоссомброне, Кальи, Фабриано, в горы. Останавливались только там, где это было необходимо. На торжественные процессии, выражения приветствия они не обращали внимания. Но зато Реубени очень интересовался сообщениями сицилийца и других слуг о растущем среди народных масс воодушевлении. В каждом месте, где жили евреи, находились люди настолько воодушевленные, что они желали отправиться с ним в Рим. В том числе было много марранов—полуевреев, которых в Испании принудительным крещением заставляли притворяться христианами. Они целовали знамя, произносили благословение. Многие уже наперед раздавали свои вещи и ждали

только, когда Реубени на своем пути заглянет в их городок, чтобы двинуться вместе с ним. От его прибытия в Рим ожидали чудес. Реубени отстранял от себя всех, кто к нему являлся. «У меня нет благих вестей для вас, мне нечего с вами делать»,—повторял он. Но чем суровее он был, тем ярче пылали сердца. Слугам даже ударами палок не удавалось разгонять следовавшие за ним толпы. Днем они рассеивались, а по вечерам снова собирались у его стоянки. Видно было, как они разводили костры на соседних горах, целую ночь слышалось их пение псалмов. Один из наиболее упрямых предводителей этих попутчиков, которого Реубени приказал схватить и привести к себе, мог в ответ сослаться только на странные слова талмуда: «Если спросят тебя, где твой бог,—скажи: в великом городе Риме». Наконец, после многих дней пути они спустились по берегу Тибра в холмистую Умбрию. Поля и сады уже покрылись зеленью ранней весны. Всюду—аромат цветов и пение птиц. Но Реубени, повидимому, не замечал ни ласковых ветерков, ни веселых людей, которые с угрюмых горных вершин, где стояли окруженные стенами их деревни и замки, спускались в долину, чтобы приступить к обработке земли. Его душа обуглилась, как его темное лицо, и среди этой сладострастной небесной сини ни на лице, ни в душе не было никакого движения.

Накануне праздника пурим он был уже около самого Рима. В Кастельнуово, в доме рабби Самуэля он остановился на пост Эсфири. Пятнадцатого адара, на второй день пурима, он с Монте-Марियो увидел Рим.

У его ног расстился город Льва с замком св. Ангела и с колоссальным сооружением, окруженным лесами. Это строили новую базилику Петра. А по ту сторону реки виден был холм, усеянный домами, городские

стены, колокольни и купола церквей, серым блеском сиявшие под теплыми лучами солнца. Все это казалось каким-то огромным живым, дышащим существом, отдаленный шум которого тихо доносился вместе с ароматным ветерком. Все это было окаймлено широко распростершейся серовато-зеленой долиной Кампани, терявшейся в туманных очертаниях Албанских гор.

Сар долго стоял и смотрел, потом опустился на колени, и его неподвижный взор постепенно оживился. Он плакал. При виде великого города Рима, «который стал нам западней из-за грехов наших». Потому что все ворота, через которые молитвы поднимаются на небо, закрылись в тот день, когда сгорел храм. И вот Реубени, со слезами на глазах, стоял на коленях на обращенном к Риму склоне горы, и взывал, ломая руки:

— Доколе, о господи, доколе?!

Его слуги, никогда, даже в Иерусалиме не выдавшие его таким взволнованным, стояли, не зная, что делать.

V

Евреи в Риме давно ожидали его прибытия, готовились к этому со дня на день. Теперь депутация от общины отправилась ему навстречу. Трое главных старшин, или, как их называли, «фаттори» с Обадия де-Сфорно во главе, приветствовали его. Затем слово взял ученый врач Иосиф Царфати, а последним говорил рабби Даниель из Пизы, которого как раз тогда пригласили третейским судьей для того, чтобы уладить споры между одиннадцатью еврейскими общинами Рима. Во всех речах сквозила большая боязнь за будущее, а также боязнь перед низшими слоями общины, которые с трепетом ожидали гостя и не потерпели бы пренебрежительного отношения к нему. Вопрос, что намерен делать

чужеземец, не высказывался никем, но его легко можно было прочесть на устах говоривших. Словно желая завоевать его расположение, ему принесли подарки, в том числе белую лошадь благороднейшей арабской породы с великолепным седлом и золотой уздечкой.

Когда депутаты приблизились, сар поднялся с колен. Он не говорил больше, глаза его были только полуоткрыты. Нельзя было понять, чем было вызвано у него окаменелое, замкнутое выражение лица—избытком чувств или холодным презрением ко всему, что совершалось.

Фаттори охотно вступили бы с ним в беседу. Нужно было выяснить некоторые вопросы, которые возникли с появлением Реубени и сильно волновали евреев. Действительно ли сар принес весть от десяти затерявшихся колен? Не только среди евреев, но и в образованных кругах Рима слух, дошедший из Венеции, вызвал бурю. В частности, ученый кардинал Эджидио Витербо, любитель и знаток еврейского языка, который даже велел заново напечатать Талмуд в находившейся под его покровительством печатне на Пиаццо Монтенара, старательно собирал при помощи своего учителя еврейского языка все сведения о таинственном иностранце. То обстоятельство, что один из наиболее уважаемых прелатов тоже ожидал прибытия Реубени, чрезвычайно усилило его авторитет или, по крайней мере, любопытство среди римских евреев. Многие готовы были считать его пророком Ильей, некоторые—даже Мессией. Еврейская община в мировом городе существовала при новом папе, великодушном отпрыске Медичи, Клименте VII, спокойно и свободно, но именно в Рим стекались со всех стран обломки несчастных, подвергшихся разгрому еврейских общин, на которые накладывала свою лапу Испания, жестокая, холодная военная держава неумолимого Карла. Не только изгнанники евреи и марраны из Касти-

лии и Аррагонии, но также евреи, выселенные из Калабрии и Сицилии, из Прованса и Неаполя, тысячами заполняли римские улицы, наводняя их своим отчаянием и нищетой. Единоверцы помогали, но всякая помощь была здесь бессильна, потому что одно на другое нагромождались все новые несчастья по мере того как расширялись владения Испании. Поэтому даже благоразумные элементы среди беженцев ожидали спасения только от чуда. Впрочем, самые умные и изощренные по части политики головы, несколько холоднее оценивали выступление Реубени; они связывали его прибытие в Рим с теми странными вестями, которые шли из Германии,—там монах перевел библию на немецкий язык и следовательно вырвал ее из когтей церкви, против которой он вообще восставал самым угрожающим образом. Многие евреи усматривали в этом зарю лучшего времени. И Реубени, про которого говорили, что он явился с посланием к папе, может быть, действовал по соглашению с этим монахом, может быть, принес предложения благоприятные для евреев—этих давних «пленников» римской церкви.

Старшина Обадия де-Сфорно обратился с расспросами к сару. Не встречался ли он с братом Мартином, которого зовут виттенбергским соловьем и не слышал ли он его песню, возвещающую надежду?

Но сар грубо прервал его. Им следует молчать о вещах, которых они не понимают.

Де-Сфорно, непогрешимый, как все старосты еврейских общин, начал обстоятельно обосновывать свое мнение. Но Реубени ничего не отвечал. Лицо его выражало только отвращение и гнев. Затем он попросил фаттори прежде всего позаботиться об одном: чтобы толпы фанатиков и проклятых марранов, которые против его воли следуют за ним, не были допущены вместе с ним в

город и чтобы их разместили где-нибудь отдельно, потому что он усматривает в них большую опасность для своих намерений.

Лица старшин прояснились. Значит, он умный человек, не бунтарь! — Они быстро и радостно ответили, что они самым тщательным образом исполнят его пожелания и очень признательны ему за такую осторожность. — В ответ он презрительно пожал плечами и пошел дальше, не обращая на них внимания.

Только врача Иосифа Царфати он подозвал к себе и коротко сказал ему:

— Ты лейб-медик кардинала Эджидио Витербо, кардинала Сан-Маттео?

Царфати утвердительно кивнул головой.

— Доложи завтра обо мне кардиналу. А до завтра я останюсь у тебя.

Гость знал, таким образом, кто именно из римских князей церкви — а их было немало — благосклоннее всех относился к евреям. Изумление фаттори росло. Может быть, чужеземец давно уже поддерживал связь с кардиналом, который так часто и обстоятельно расспрашивал о нем? Но все были готовы услышать что-то необычайное, и все же никто не ожидал ужасных слов, которые сар произнес совершенно спокойным голосом после того как сел верхом на белую лошадь и которые раздались в ушах депутатов ужасным громом. Реубени сказал:

— Именем царя Иосифа, брата моего, и семидесяти старейшин царства Хабор я запрещаю вам всякие бунтовнические мысли против вашего повелителя папы, да! возвеличится слава его!

И сказав это, он рысью помчался по направлению к Борго, сопровождаемый своими слугами, и вскоре исчез за стенами сада.

После аудиенции, которая была предоставлена Реубени на другой день, кардинал Эджидио задержал его у себя и просил остаться у него до вечера пятницы.

На народ произвело колоссальное впечатление, что праведник (так все его называли) предвидел и это обстоятельство. «До завтра я буду жить у тебя,—сказал он сейчас же по прибытии врачу Иосифу Царфати.—До завтра, но не дольше».

В доме кардинала Реубени никого не принимал. Знали только, что он постится, как всегда перед важными событиями, и что ежедневно по несколько часов разговаривает с кардиналом. Что было предметом их бесед,—оставалось неизвестным, так как ученый кардинал не нуждался в услугах переводчика. Но когда в пятницу вечером фаттори явились во дворец Эджидио для того, чтобы пригласить сара к себе на субботу, то оказалось, что кардинал и его гость были уже почти в дружеских отношениях и что кардинал неохотно отпускал «еврейского посла», как он называл его. Этот титул снова заставил вспомнить о словах, с которыми Реубени распрощался с депутатами общины на Монте-Марню. Если первоначально и не были склонны придавать им большого значения, то после приема, который был оказан чужеземцу кардиналом, даже наиболее хладнокровные люди были потрясены.

Что касается народа, то он уже давно перестал сомневаться. Большая часть общины последовала на этот раз за фаттори и обступила дворец кардинала. Когда Реубени, сопровождаемый слугами кардинала, появился вместе с старшинами у ворот, все умолкли в почтительном ожидании. Реубени сел на свою лошадь, фаттори

и кое-кто из дворцовых слуг образовали его свиту. Никто не произнес ни слова. Молчаливая толпа прошла мимо замка Ангела, через Тибрский мост, по узенькой улице де-Банки, по улице Юлия, где приостановилось все движение, пока не подошла к портику Октавии, к дому Рафаила Газакен, у которого поселился сар. Не прощаясь с толпой и даже не замечая ее, он вошел в дом.

Попрежнему оставалось тайной, что привело его в Рим. Он присутствовал на субботней вечерней трапезе в доме Газакена, но не произносил ничего, кроме обычных молитв и благословений. После трапезы он немедленно ушел к себе в комнату.

Всю ночь народ стоял перед домом.

Волнение еще усилилось на следующий день. Все вздрогнули, когда Реубени в синагоге громко произнес благодарность за избавление от смертельной опасности. Вся община поддержала его. Многие из молящихся поняли это в том смысле, что князь Реубени благодарил в этот торжественный момент бога не за собственное избавление от опасности в пути, а за избавление всего народа, час коего настал с его прибытием в Рим.

Вообще же Реубени держался холодно, никого не удостоил беседой. Только от своего хозяина он потребовал лучшей комнаты и больше слуг. Тогда его поместили на Трастевере в красивой вилле врача. Он осмотрел веселым взором почетную гвардию из десяти юношей, которые пришли за ним. Это была первая любезность с его стороны. Но слова, которые он произнес при этом, звучали снова загадочно и внушали страх:

— Евреи Рима сильны, их сердца, как сердца львов, и готовы к войне!

Всеобщее возбуждение достигло крайних пределов, когда на исходе субботы посланец от кардинала Эджи-

дио принес весть: его святейшество папа желает принять посла в воскресенье в одиннадцать часов дня.

Верхом на белой лошади, в сопровождении двенадцати наиболее уважаемых членов общины сар Реубени отправился в Ватикан.

Мужчины, женщины и дети толпились на пути. Толпа пугливо раздвигалась по сторонам, когда приближалась процессия. Праведник был страшен своим серьезным, измученным лицом и глазами, пылавшими под огромным белым тюрбаном. На лице его были написаны только мука и страдание. Реубени был одет в длинную белую ферредшу—парадное восточное платье из шелка с широкими рукавами. Сбоку у него была кривая сабля в ножнах, усеянных драгоценными камнями. У ворот Сан-Спирито при входе в Борго, папский город, его встретили сановники курии в сопровождении швейцарской стражи, одетой в полосатую яркую форму. Скопление народа было невероятное. Римская знать была налицо; присутствовало несколько самых красивых и пышных куртизанок с своей свитой. Весь город только и говорил что о таинственном еврейском после. И не было такого человека из общества или ротозея из толпы, который не пожелал бы присутствовать при этой замечательной сцене. Более пожилые граждане сравнивали въезд Реубени с прибытием принца Дшем. Брата султана Баязета, сына завоевателя Византии, не принимали с большими почестями, чем Реубени. Правда, продолжать это сравнение никому не хотелось; дело в том, что папа из дома Борджиа впоследствии годами держал магометанского принца под арестом, а когда, наконец, должен был выдать его, то приказал его отравить.

Однако действительно было некоторое сходство между приемом, который был оказан больше тридцати лет тому назад, и тем, что происходило сейчас. В обоих слу-

чаях отказались от обычного церемониала, который противоречил религии гостя, коему оказывали монархии почести. Поэтому еще накануне вечером посланец кардинала Эджидио Витербо сообщил следующий распорядок аудиенции: сначала во дворе кардинала он и Реубени обменяются официальными государственными речами. При этом акте могут присутствовать представители еврейской общины. Затем Реубени проследует в замок Бельведера для конфиденциального разговора с папой, в котором примет участие только сам кардинал в качестве переводчика.

Кардинал при входе сара поднялся с своего кресла и сделал несколько шагов к нему навстречу. Приветливый старик с нежным лицом и массой мелких морщинок приветствовал его со светской легкостью. Все, что он говорил и делал, носило такой праздничный характер и было проникнуто такой радостной уверенностью, что немедленно забывалась необычность этой публичной встречи одного из важнейших князей церкви, главы ордена августинцев-отшельников, с евреем. И в то же время чувствовалась значительность этого момента. Переговоры с еврейским советом в Венеции протекали в гораздо более мучительной и менее непринужденной обстановке.

Свита обоих собеседников осталась стоять у стены зала. Реубени подошел ближе, передал несколько документов, которые кардинал, повидимому, читал уже раньше, потому что теперь он почти не взглянул на них, а только утвердительно кивнул головой и усадил сара в кресло рядом с собой. Кресло стояло под балдахином, к которому вело несколько ступенек.

Затем Реубени заявил (и члены совета пришедшие с ним впервые услышали это):

— Я Давид, сын царя Соломона Реубени, да будет

благословенна память этого праведника, и брат мой Иосиф, который старше меня, восседает на троне царства Хабор и правит детьми Тада и Реубени и половиной колена Манассе, а число их тридцать крат десять тысяч. Мне же поручено царем, моим братом, и советниками его, семьюдесятью старейшинами, отправиться в Рим к папе, да возвеличится слава его. До нас дошли слухи о притеснениях, которые чинит вам наш общий враг—турок Солиман, после того как ему достались ваши крепости в Белграде и Родосе. Говорят, что еще в этом году он собирается бросить свои сухопутные войска на королевство венгерское, а свой флот двинуть на вашу Апулию. Царь Иосиф, брат мой и повелитель, хочет быть вашим союзником против этого жестокого правителя. Он двинет против султана войско в пятьдесят тысяч человек сильных, опытных воинов, и силы его объединятся с вашими для того, чтобы отвоевать обратно Константинополь, всю Грецию и острова. Но Иерусалим и святая земля, если мы завоюем их общими силами, должны будут достаться Мессии и стать наследственной долей Иакова. Для того, чтобы успешно воевать с турками, — продолжал посол, — брату нужно некоторое количество кораблей и пушек, а также пушечных дел мастера и инженеры, и он просит папу послать ему их, потому что в его царстве нет артиллерии, и только по этой причине, которая, впрочем, является решающей, войска иудейские не могут справиться с войском османов. Далее, он просит папу о разрешении вербовать евреев, живущих в христианских странах, на военную службу и годных обучать военному делу для того, чтобы можно было воспользоваться этим вспомогательным отрядом, доставив его на кораблях папы для борьбы с измаэлитами. Этот общий военный поход христиан и евреев никто не имеет больше оснований поддержать,

нежели философ из Витербо, который в своих ученых трудах перевел и разъяснил несколько произведений Каббалы, доказал их глубокое сходство с некоторыми учениями христиан и тем самым, в сущности, лично от себя уже объявил общий христианско-еврейский поход против безверия.

Реубени напомнил затем кардиналу его знаменитую речь, произнесенную при открытии Латеранского собора, в которой он призывал к крестовому походу против турок, а также и другую большую речь в церкви ордена св. Августина, произнесенную по получении известия о завоевании турками Египта и святой земли. В этой речи он, полный скорби, требовал единения Англии, Франции и Испании, заключения ими союза с папой для изгнания ужасного врага. Теперь наступил момент для такого союза, ибо опасность стала более грозной, нежели когда-либо.

— Нам известно также, что по совету и настоянию вашего преподобия, великий художник, украшение рода человеческого, Рафаэль Санцио, раннюю кончину которого оплакивают все, украсил одну из жилых комнат папы фреской, на которой изображена морская победа, одержанная при Остии над сарацинами, для того, чтобы его святейшество постоянно имел перед глазами напоминание о близкой опасности и необходимости крестового похода. И для того, чтобы выразить это еще более настойчиво и современно, ты, *reverendissime*, приказал заменить лицо папы Льва IV, который одержал в свое время эту победу, ликом Льва X, правившего в то время, когда рисовалась картина. А в качестве одного из его спутников изображен тогдашний кардинал Джулио де-Медичи, в настоящее время счастливо восседающий на престоле св. Петра под именем Климента VII. На картине он созерцает славное деяние, которое пред-

ложение мое позволит выполнить в ближайшем будущем. Так пожелаем же, чтобы господь сподобил тебя и нас узреть вскоре, еще при жизни нашей, осуществление наших общих желаний, которые мы так долго питали.

Свой ответ кардинал начал с тех слов, которые произносит папа, когда при его триумфальном въезде еврейские старшины передают ему у моста св. Ангела свиток Торы: «Confirmamus, sed non consentimus» (подтверждаем, но не соглашаемся). Точно так же и он в своих занятиях каббалистическими произведениями желал подтвердить не ложное еврейское толкование писания, а имеющиеся там указания на спасение при помощи христиан, все еще упорно отрицаемые евреями. Что же касается остальных слов посла, мудрых и достойных просвещенного ума, то он с ним вполне согласен, и для него не может быть ничего более желанного, нежели помощь храброго короля, собственноручное послание которого он передаст его святейшеству вместе с донесениями португальских капитанов, которые он получил от посла и которые заключают в себе сведения об государственном устройстве и вооруженных силах вновь открытого еврейского царства Хабор. Очевидно, это то самое царство затерявшихся колен, о котором упоминает Мефодий в своей книге «De fine mundi» и в той истории Александра Великого, что начинается словами: «Sapientissime namque Egyptii», а также епископ Акконский в своей истории Иерусалима. Все сообщения церкви в один голос говорят, что Салманассар сначала увел эти колена в плен в Мидию, а затем Александр Великий отвел им местность, которая определяется словами: «Intra montes Caspios».

Сам святой отец с искренним удовлетворением услышал неожиданную и радостную весть о появлении посла,

планы коего столь совпадают с его собственным, зрелым обдуманым намерением как в отношении общего врага, турок, так и в отношении мира и союза между королем французским и императором, которые, к несказанному горю его святейшества, ведут в настоящее время ожесточенную борьбу на итальянской земле. Для того, чтобы выслушать подробности об этих намерениях непосредственно из уст великого священника, посол приглашается в Ватиканский дворец.

Ни речь Реубени, произнесенная на еврейском языке, ни речь кардинала, составленная на чистейшей цистероновской латыни — не были переведены. Очевидно, текст обеих речей был в точности согласован в предварительных переговорах между кардиналом и послом.

Свита обеих сторон выслушала речи молча, но в то время как они произносились, взорами и жестами не раз выражала крайнее волнение.

VII

В тихом маленьком саду Бельведера, между цветущими апельсиновыми деревьями, которые так ярко сверкали в лучах весеннего солнца, что заслоняли блеск расставленных в разных местах мраморных статуй, Реубени, в сопровождении кардинала Эджидио, ожидал выхода папы. Весь длинный путь от Дамазова двора в Ватикане они шли мимо незаконченных построек, мимо колоссальных зданий Браманте, площади для турниров и парка. Все это только еще воздвигалось. Может быть, папа хотел показать своему гостю грандиозные проекты, выполнением которых он был занят, по примеру своих предшественников на папском престоле? Хотел поразить ими как показателем своего величия? Но Реубени едва взглянул на них. Задумчиво опустив

голову, он следовал за кардиналом. И только здесь, в тиши сада он осмотрелся по сторонам. В нише, которой заканчивалась тенистая аллея, стояло чудо мира — группа Лаокоона, найденная лет двадцать тому назад среди раскопок. Искаженные мучительной болью черты Лаокоона привлекли внимание сара. Он подошел к статуе и долго ее рассматривал.

— У этого человека хватило мужества пойти против своего бога!—сказал Реубени, обращаясь к кардиналу.

— И ведь он был прав, когда швырнул копье,— улыбнулся кардинал.—И тем не менее его обвинили змен.

Сар оставался серьезным, и казалось, что на его почерневшем, худом, изможденном лице отражается бледный отблеск боли, испытываемой Лаокооном.

— Это неизбежный риск. Следовало бы эту группу отлить и поставить в комнате каждого политического деятеля.

Кардинал приложил палец ко рту.

Приоткрылась тайная дверца—единственная, которую непосредственный предшественник папы, северянин и враг язычников—Адриан оставил не замурованной вокруг этого двора, наполненного, по его выражению, «идолами». Ничто так мало не соответствовало настроению нынешнего папы, как это трусливое замуровывание всех выходов. Но за короткое время своего правления он был обременен тяжелыми заботами и еще не успел отменить все мрачные мероприятия, которые делали Адриана непонятым и нелюбимым у веселого населения Рима.

Папа был одет в простой белый плащ. Это был красивый представительный мужчина, уже не тот юноша с умным, несколько любопытным взглядом, которого нарисовал Рафаэль.

— Вы — первый воинственный еврей, которого я вижу, — непринужденно начал папа. — И я еще не могу вполне уяснить себе, какое чувство это во мне вызывает. До сих пор я всегда считал одним из ваших преимуществ, что вы живете совершенно мирно, без оружия, и ожидаете дня пришествия пророка, когда лев и ягненок будут пастись рядом и дитя будет сторожить их, а лев будет питаться травой, как домашний скот.

Климент улыбнулся. Повидимому, он не мог вполне освоиться с представлением о льве, питающемся травой. Греческий или римский автор не допустил бы такой безвкусицы! Явно развеселившись, он продолжал, при чем его веские слова не вполне согласовывались с улыбкой, игравшей на его лице:

— Я всецело исполнен желания стремиться к царству мира, которое нам предсказано, — я хочу дать мир всему свету. Весь свет жаждет мира. А между тем, из лона земли, недовольной множеством кровавых деяний, которые и без того совершаются, выходят все новые воинственные племена. Теперь вот с неведомого Востока, откуда раньше вторгались татары, сельджуки и другие завоеватели, собирается выступить еврейская армия.

Реубени попросил кардинала передать, что и он признает конечной целью политику всеобщего мира и всеобщей любви, как этого требуют пророки. Но любовь не овладеет сердцами, пока один народ, рассеянный среди других, как это имеет место с евреями, несет на себе чужеземное иго и всеобщую ненависть. Италия переживает то же самое. Она почти беззащитна перед вооруженными до зубов великанами. Но беззащитность означает: терпеть ненависть и, в свою очередь, испытывать ненависть и тем самым усиливать взаимное раздражение среди народов и все больше оттягивать наступление царства мира.

Папа с живостью прервал его.

— Во всяком случае, ничто не могло бы так способствовать примирению борющихся великанов, как ваше сообщение, князь. Армия в пятьдесят тысяч человек, выполняющая давний план пап крестового похода в святую землю и гарантирующая успех этому начинанию, сразу направила бы взоры всех против великого врага христианства и Европы, с которым мы до сих пор могли бороться только хорошими проповедями и некоторым количеством, уже не столь хороших, венецианских кораблей. Мое предложение императору Карлу и королю Францу, чтобы они заключили мир и обратили силы против Солимана, сразу перестало бы быть простым предложением, а имело бы за собой армию. А только армия решает дело.

Папа встал и сделал несколько шагов. Затем он повернулся к Реубени. Лицо его оставалось еще попрежнему приветливым, но приняло то выражение хитрости, соединенной с умом, свободным от предрассудков, которое дало основание императорскому посланнику писать в своем донесении из Рима, что «этот первосвященник самый скрытный и загадочный человек в мире».

— Все равно, преувеличиваете вы или нет...—сказал папа и сейчас же остановился, словно желая подойти к вопросу с другой стороны.—Я сам достаточно долго был легатом, чтобы знать, что вполне допустимо не только распространять неверные сведения о силе противника, но также изображать в возможно лучшем свете силы своей собственной страны. И если даже допустить самое крайнее: что ваше царство Хабор совсем не существует,—он подошел ближе и в упор посмотрел на сара,—то уже один слух о нем мог бы иметь для нас благотворное значение и мог бы дать другое направление всем воинственным намерениям.

Воспоминание о той опасности, которой он сам подвергался, снова придало взору папы некоторую мягкость.

— Я, конечно, не допускаю такой для нас маловероятной возможности, но даже и в этом случае вторая часть вашего проекта являлась бы вполне честным предложением. Вооружить европейских евреев, отправить их воевать к берегам святой земли либо в соединении со вспомогательной армией на Востоке, которая должна напасть на турок со стороны Аравии, либо без этой вспомогательной армии. Как бы то ни было, мы готовы передать ваше предложение тому европейскому двору, который меньше всего запутан в европейских распрях и который поэтому в состоянии с наибольшими шансами на успех осуществить такое морское предприятие. Мы имеем в виду португальский двор, посланник которого, дон Мигуэль де-Сильва, как раз недавно был принят нами и передал нам сердечный и почтительный привет от своего короля.

Во время лукавой речи папы, которую кардинал Эджидио переводил ему пункт за пунктом, Реубени сидел неподвижный и холодный, как лед. Затем он попросил повторить ему последние слова, сказанные папой. Потому ли, что он сначала не совсем ясно их понял, или потому, что он их понял очень хорошо и именно ввиду их важности желал установить их подлинный текст. Во всяком случае, он ответил только на эти заключительные слова. Сомнений папы в подлинности его миссии он совершенно не коснулся, словно они были недостойны его и даже совсем не были высказаны. Предложение папы направить его к королю Иоанну португальскому, сказал он, вполне соответствует намерениям его брата, царя Иосифа, равно как и его собственным желаниям. Его благодарность была выражена

в лаконической и законченной форме; она давала возможность вежливо закончить беседу.

Но папа, повидимому, совершенно не собирался прекращать на этом разговор. Он кивнул головой сару, который уже собирался подняться, и взял его за руку:

— Еще одно обстоятельство, которое побуждает меня обратить на ваше предложение внимание именно португальского короля. Дон Мигуэль привез мне из Лиссабона не только выражения преданности, но также и просьбу и жалобы своего повелителя: жалобы на вас, евреев, или, вернее, на новых христиан, которые приняли крещение при короле Мануэле.

Реубени впервые утратил свое спокойствие и прервал речь папы, попросив кардинала перевести его возражение.

— Они приняли крещение не добровольно, их заставили, силой затащили в церкви,—мы поэтому называем их «анусим», т.-е. действовавшие по принуждению.

Климент, видимо, хотел поскорее миновать этот пункт. Он сделал широкий жест, как бы отмахиваясь, и стал снова воплощением философа, свободомыслящего и благородного человека.

— Я знаю, чего стоит такое крещение. По моему распоряжению, епископ Коутинго в Лиссабоне оправдал марранов, которых за соблюдение вашей субботы и пасхи и других еврейских обрядов обвинили в еретичестве и отступничестве от христианской веры. Он просто объявил их евреями. Такие же марраны, да еще хуже, живут невозбранно в моей пограничной области, в провинции Анконе, а также и в самой столице. Мы стремимся к обращению души, а не к порабощению тела. Другой образ мысли не соответствовал бы нам, ибо мы стремимся восстановить академию Платона, оза-

ренную светом веры. Но не в этом дело. Несомненно, что среди окружающих короля Иоанна есть люди, одаренные богатым умом и сильной волей, которые держатся иного мнения, нежели мы. А в делах политики, в конечном счете, решает не то мнение, которое правильно, а то, которое хорошо вооружено. Так выслушайте меня: посланник дон Мигуэль жаловался, что в его стране приобретает большую силу притворное христианство, и для того, чтобы, по образцу Испании, в корне истребить эту «чуму», как он выражается, он и вместе с ним король Иоанн желают, чтобы мы распространили на Португалию деятельность святой инквизиции, действующей в Испании. Три инквизиционных трибунала должны быть учреждены—в Лиссабоне, Эворе и Коимбре. Нет надобности добавлять, что это означает для марранов больше трех тысяч, а может быть, и все тридцать тысяч костров. Поэтому, может быть, ты ускоришь свою поездку в Португалию для того, чтобы помочь твоим братьям? Если король Иоанн примет в качестве союзников еврейское войско, то ему уже нельзя будет одновременно требовать введения у себя инквизиции.

— Ради этого я не ускорю своей поездки в Португалию даже на один день,—заметил Реубени, и холодное, почти оскорбительное равнодушие, с которым он теперь говорил, резко противоречило той страстности, с которой он прервал папу, когда тот заговорил про марранов.—Правда, я нахожу намерения португальского короля несправедливыми, но не для того я приехал из царства Хабор, чтобы отстаивать права отдельных евреев или какой-нибудь части еврейства. Мой король и совет семидесяти старейшин послали меня не для того, чтобы провозглашать заветы кротости и милосердия. Я воин, и я несусь с собою оружие. Со своей стороны,

я требую тоже оружия для того, чтобы пополнить военное вооружение моего народа. Но я понимаю, что ни Франция, ни император не в состоянии дать ни одной пушки, ни одного человека, так как близко последнее решение в их споре между собою. По этой, а не по какой-нибудь другой причине я следую совету вашего святейшества, когда вы предлагаете мне обратиться к лиссабонскому двору.

Этот гордый и сдержанный ответ, повидимому, понравился папе больше, нежели все, что было сказано до сих пор.

— Правильно! Это ново и необычно, но это правильно!—восклидал он после каждой фразы, которую переводил кардинал.—Вы стремитесь к большему, нежели обыкновенно считают возможным ожидать от евреев,—сказал он.—Они обычно вопят о милосердии и о справедливости, а при недостатках, свойственных человеческому разуму, эти вещи обыкновенно совпадают. Но вы хотите другого. Я вас понимаю. Вы стремитесь к военному и политическому влиянию, вы стремитесь к той действительности, которая всегда повелевала государствами, хотя только наше время выдвинуло исследователя и правдивого изобретателя этих действительных законов властвования. Я имею в виду нашего слугу Николо Маккиавелли.

Папа пришел в большое возбуждение. Лакеям, принесшим прохладительные напитки, он сделал знак, чтобы те не мешали. Во время своей оживленной речи он невольно пришел в движение, и остальные оба должны были последовать за ним. Три фигуры, две в ярком белом одеянии и одна в пурпурно-красном, спускались по террасам ватиканских садов. Но за внешне любезной беседою папы скрывалось страстное желание убедить, и от внимательного наблюдателя не могло укрыть-

ся, что за гладким лицом, лишенным морщин, таятся скрытые заботы и хитрость. Был ли Реубени внимательным наблюдателем? По его лицу этого нельзя было заметить. Оно оставалось неподвижным, темные глаза глядели тупо, взором, обращенным внутрь. Вся его фигура сохраняла мертвенное спокойствие. Могло показаться даже, что душа этого человека витает где-то в другом месте, что она ушла куда-то вдаль, замкнулась там и предается покаянию.

— И вот видите,—сказал Климент,—от этих законов властвования португальская инквизиция не так далека, как это кажется. Вы сами указываете на Португалию как на единственную великую державу, которая в этой войне еще сохранила нейтралитет. Между тем, инквизиция означает торжество Испании. Ведь именно испанская партия при лиссабонском дворе стремится зажечь костры, а в какой мере преобладание Испании может усилиться, благодаря сначала духовной, а затем дипломатической близости с португальским двором, в этом вы убедитесь, если узнаете последние вести, которые мне доставили из Ломбардии.

Реубени знал их, хотя они были доставлены всего лишь накануне спешной папской почтой. Он всегда был самым тщательным образом осведомлен о делах людей, с которыми ему приходилось вести переговоры, и постоянно пополнял свои сведения новыми донесениями. Он мог поэтому свободно обсуждать с папой отступление французов из Ломбардии. Папа вскоре заметил, что Реубени не был удивлен ни сообщением о смерти французского героя Баярда, ни вестью о предстоящем вторжении императорских войск в Прованс. Звезда Испании восходила, в этом нельзя было сомневаться. «А победитель вырежет ремни из нашей шкуры». Эти слова папы вспомнились сейчас посланнику.

Сразу уяснив себе это, он поклонился и сказал:

— Ради вашего святейшества я готов ускорить свою поездку в Лиссабон, насколько это возможно. Я понимаю, что много будет потеряно, если Португалия поддержит победоносную Испанию. Ваше святейшество не желает, чтобы Испания еще больше расширила свои владения, захватила еще больше итальянской территории, нежели она и без того имеет. Вы не согласны на это, даже если взамен император укрепит и расширит владения наследника св. Петра. Ваша курия со славой продолжает политику дяди вашего святейшества, великого Лоренцо Великолепного,—создание собственными силами свободной Италии на основе союза четырех главных государств: папского престола, Венеции, Милана и Флоренции. Это и побудило Великолепного дать в свое время иностранцу, который предложил ему свою помощь, следующий превосходный ответ: «Я еще не могу ради собственной выгоды подвергнуть опасности всю Италию».

Тем, что он упомянул о славном Лоренцо, сар, повидимому, окончательно завоевал симпатии папы. Папа радостно пожимал ему руку. Он немедленно изготовит послание к Иоанну португальскому, а у португальского посланника будут затребованы паспорта для Реубени и его спутников.

Казалось, у папы явилась новая надежда, тогда как Реубени ни в чем не проявлял своего волнения, хотя он и достиг цели своих желаний. Климент указал на сверкающие башни Рима и сказал растроганным голосом:

— Прекрасная Италия! потребуется еще много труда, прежде чем мы освободим ее от варваров. Мне кажется, что действительно есть какое-то сходство между судьбой обоих наших народов, поработанных чуже-

земцами,—между итальянским и еврейским народами. Сначала, когда ты заговорил об этом, сын мой, я,—прости меня,—счел твои слова несколько высокомерными. Но слеп тот человек, который не сознает своего несчастья и не признает его. Мы, итальянцы, гордимся нашим высоким образованием. Мы действительно являемся учителями всего мира, мы гордо показываем сокровища древности, которые в большом изобилии извлекаются из нашей почвы, из наших библиотек. К ним наши современные мастера стихосложения и древних языков, наши скульпторы и художники присоединяют чудеса искусства, не уступающие древним. Но на что нам вся наша наука, наш тонкий вкус, наше воспитание! И то же самое можно сказать и про вас, евреи! Ведь уже теперь Италию подчиняют себе французы и немцы, с более грубыми головами, но с более сильными кулаками, подчиняет гениальная военная организация испанцев, а главное—их золото, которое в неисчерпаемом количестве вливается в их страну из недавно открытой Океании. Вот они, подлинные силы, против которых надо бороться не изящной культурой и искусствами, а жестокой войной не на жизнь, а на смерть.—Папа, который до сих пор уверенно и красноречиво излагал свои мысли, вдруг остановился.—Рим прекрасен, но что с ним станет, если враг ворвется сюда и зажжет пожаром все, начиная с моей виллы на Монте-Марио до замка св. Ангела и Порте ди-Нона, если пронесется с грабежом по всем улицам, по всем дворцам...

На все эти слова, которые больше могли заинтересовать художника и мыслителя, нежели политика, Рубени ничего не ответил.

А папа видел мысленно Рим, гибнущий в кровавом пламени. И, словно не желая отдаться этому ужас-

ному видению, он пошел назад по ступеням террасы. Птицы тихо насвистывали свои песни над озаренными светом деревьями и оранжереями — жалобные песни весны.

— Странно, мы оба стремимся к установлению мира на земле,—сказал папа,—почему же мы все это время говорили только о войнах? О войнах, которые велись раньше, и о новых войнах, которые мы собираемся вести.

Реубени, очевидно, считал такие размышления не относящимися к делу. Он выдавил из себя только слова:

— Потребуется еще много времени, прежде чем люди созреют настолько, чтобы обходиться без войн.

— А до тех пор чуткий, тонкий человек должен быть отдан на растерзание животному, которое ничем не стесняется, или должен сам стать животным?

Прежде чем войти через портал в сад Бельведера, Климент снова мягким, неспособным к сопротивлению взором взглянул на далекий Рим. Казалось, он искал в его прочных стенах и великолепных куполах гарантии для будущего. Он покачал головой, словно желая прогнать невеселые мысли. И, наконец, повернулся спиной к великой картине, которая ничего не могла ему сказать.

В саду раздался громкий смех. Перед группой Лаокоона, положив руки на живот, корчился от смеха какой-то придворный; лицо его исказилось в гримасу, и он оглушительно хохотал. Перед ним стоял в непринужденной позе человек высокого роста в рыцарской мантии, обрамленной мехом. У него была большая борода, высокий лоб, но полное отсутствие аристократизма в чертах лица: его безобразили нос картошкой и огромный рот с толстыми выпяченными губами. Как только смеявшийся заметил папу, он моментально затих. Дру-

гой, что-то рассказывавший, тоже умолк. Оба они опустились на колени.

Лицо папы просветлело, когда он увидел человека в рыцарской одежде.

— Аретино! какой же новой шуткой ты привел в такое состояние одного из самых невозмутимо-торжественных капитанов моей гвардии?

— Ваше святейшество, это было сказано всерьез, а не в шутку. Этот несчастный мраморный старик,—он указал на Лаокоона, лицо которого выражает бессилие и боль,—живо напоминает мне старого толстого прелата, которого я вчера наблюдал в скважину стены в комнате, когда он был у моей Нанны. Эта добрая девушка, несомненно, мастерица своего дела. Но с этим старым козлом...

— Пьетро! Вы снова хотите из-за своей болтовни лишиться только что дарованного вам помилования.

— Я как раз пришел поблагодарить за него. Я спешил приветствовать первые утренние лучи солнца, которое снова возшло для меня.

— Вы не заслужили помилования, сонеты ваших «позиций» не только грязны, но и скучны, и язык у них скверный.

Хотя слова и лицо папы выражали отвращение, он тем не менее оставил своих спутников и, словно убегая, пошел рядом с быстро шагавшим Аретино.

— Ваше святейшество знают, что я не грамматик. Я люблю тот язык, на котором говорят на улице, и презираю ученый хлам, собранный из старых полуразбитых надписей. Правда, в наше время без знания этого хлама уже не решаются пожелать друг другу доброго утра и спросить, сколько стоит фунт артишоков.

— Ты щеголяешь своим невежеством, я никогда не одобрял этого. Вот такой образ мыслей и порождает

твои непристойные и пошлые стихи, которые возбуждают к тебе ненависть всех благородных душ.

— Но эти стихи, — бесцеремонно прервал его Аретино, — оказались весьма полезными, когда я их вывел на «пасквино» для осмеяния всех остальных кандидатов на папский престол и для избрания вашего святейшества.

Папа рассмеялся.

— Это верно, ты был и останешься «Aretino il veritiero», хотя божественным я тебя не желаю назвать.

— Если ваше святейшество называет меня правдивым, то не могу ли я из этого сделать вывод, что и это платье на мне не является ложью, хотя до сих пор я носил его, не имея на то права, а сегодня одел только от радости по поводу моего помилования.

— Пожаловать тебя званием рыцаря? — Папу, повидимому, не рассердило это бесстыдное попрошайничество, он только задумался. — У моего брата Льва в рыцарях были шуты и юродивые! Рыцари Рима, которые будут защищать его от врагов и пожара! Но, пожалуй, те две канцоны, которые ты прислал мне вчера, заслуживают большего, нежели простое прощение. Огромное у тебя дарование, Аретино. Только объясни мне, как могут из одной и той же головы выходить такие возвышенные и святые строфы и в то же время такие отвратительные и глупые сонеты?

— Сонеты я писал к глупым картинам Джулио Романо, такого же бабника, как я сам, а канцоны вдохновлены самым значительным и величественным образом, который я когда-либо видел. Вами самими, святейший отец, которому я почтительно предлагаю как заместителю Христа на земле примирить враждующих королей и воюющие государства и, ставши во главе их, пойти походом на турок.

— Да, верно, в этих канцонах говорилось о походе на турок!

Это напомнило Клименту о Реубени и кардинале, которые остались у группы Лаокоона. Ему не хотелось продолжать с ними беседу. Он отпустил их жестом. Но зато речи Аретино, смесь дерзости и неумеренной лести развлекали его. Их можно было слушать одним ухом, и всегда среди них попадались меткие, веселые замечания. К тому же развлекало не столько содержание болтовни, сколько ее свежесть и неисчерпаемость, что свидетельствовало об удивительной жизненной силе, таившейся в этом человеке. Эта переливающаяся через край сила и уверенность сообщалась другим, и она была почти что необходима такому сдержанному и трезвому человеку, как Климент. Это было хорошим противоядием против печального настроения, в которое обычно повергали его беседы на политические темы. Удивительно, насколько можно было по-разному изобразить одно и то же дело. Этот поход на турок, объединение монархов, все это казалось серьезным, жестоким, почти безнадежным делом, когда об этом говорил еврейский посол, а в обработке Аретино получалась изящная, легкая и приятная канцона.

Папа слегка наморщил губы: разве философы не учили сомневаться во всем? Он улыбался мудрой усталой улыбкой—улыбкой, которая уходила куда-то вдаль, минуя шутника, но которую тот мог принять как одобрение всем своим смелым выходкам и как поощрение к дальнейшему злословию.

VIII

В Риме мрак и ужас: в некоторых частях города, как Треви, Кавалло Писчино, вокруг Эсквилина, в квартале Порты дель-Пополо обнаружилась чума. Целые

улицы оцеплены тяжелыми цепями, никого не пропускают. Только стражники и могильщики с масками на лицах и смоляными факелами в руках ходят туда.

Мрак и ужас. Успехи императорской армии в верхней Италии разбудили старую кровь бунтовщиков в семье Колонна. Римские бароны, сломленные династией Борджиа и властным папой Юлием, снова торжествуют победу, предвкушают месть. На улицах по ночам раздаются крики: «Да здравствует Испания! Да здравствует империя! Да здравствует Колонна!», а сторонники Медичи, верные их гербу с изображением шара, боязливо закрывают окна.

Папа тоже охвачен боязнью, он слушает доклад господина Марсо, который часами рассказывает ему о новых военных приготовлениях Франции и о большом войске, которое король Франциск собирает у Авиньона. Папа дает аудиенцию герцогу Сесса, посланнику императора. Это элегантно одетый грубиян, который приходит каждый раз со все более беззастенчивыми угрозами. Папа предпочел бы не видеть их обоих: и любезного болтуна и грубияна. Но коллегия кардиналов, в которой наряду с приверженцами императора много симпатизирующих французам, заставляет его, вопреки своему желанию, все чаще и серьезнее вести переговоры с обеими сторонами. Как будто эти переговоры чему-нибудь помогут!

Климент отлично знает, что все зависит исключительно от счастливого случая, а именно: удастся ли ему в последний момент примкнуть к тому, кто одержит решительную победу, но что он почти совершенно не в силах что-нибудь сделать для того, чтобы обеспечить победу той или другой стороне. Сознание своего бессилия и при этом—огромной ответственности приводит его в грустное настроение. Ни современники, ни потомство

не пощадят его, если он, на свое несчастье, поставит не на ту лошадь. И уже теперь по улицам бегают опоясанный лишь кожаным передником пророк Брандано с развевающимися рыжими волосами, с распятием в одной руке и с черепом в другой.

«Рим, покайся, — восклицает он, — тебя постигнет участь Содомы и Гоморры!» Когда папа благословлял народ на площади св. Петра, полуголый Брандано взобрался на статую Павла и визгливым, сумасшедшим голосом осыпал его ругательствами. «За грехи твои будет разрушен мир». Разве он грешит? Он разумнее и добрее своих предшественников, но военные бедствия он не в силах отвратить, точно так же, как не может приостановить распространение ереси в Германии и наступление турок на Венгрию. Теперь отчаянное время, парализующее человеческую волю; ежедневно чума уносит двести человек. Всякий боится проснуться утром с голубыми нарывами подмышками — ужасным знаком чумы. Неудивительно, что снова появились фанатики-флагеллянты. Босыми ходят они по городу, обходя семь паломнических церквей, яростно бьют себя по голым спинам треххвостными кнутами. Святые дары носят на разукрашенных носилках, которые держат на плечах четыре священника, одетые в полотняную одежду. Это должно напоминать шествие Израиля со скинией завета вокруг стен Иерихона. Испуганный народ умоляет бога вспомнить старый союз. «Misericordia! Misericordia!» — раздается из тысячной толпы. Но слышит ли бог? Молния ударила в церковь Санта-Мария Маджоре. Ночью страшный шум будит римлян. В воздухе видят полчища вооруженных людей, все они без голов и размахивают алебардами над несчастным городом.

Но не все поддаются ужасам этого печального времени. Есть люди, которые, как Бенвенуто Челлини, от-

правляются в Кампанию изучают развалины прошлого и стреляют диких голубей, свивших себе гнезда в развалившихся стенах. Образуется общество художников, скульпторов и золотых дел мастеров, в котором верховодит Джулио Романо, иллюстратор нашумевших «позиций» Аретино. По воскресеньям каждый приводит с собою свою «ворону» (так называют они своих любовниц), и устраивается веселое пиршество. Более образованные люди—поэты и ученые—встречаются в «Римской академии», которая собирается иногда на вилла Колокчи, иногда у кардинала Эджидио, а охотней всего—в прекрасном большом саду у форума Траяна, который разбил у себя благодушный Гориц фон-Люксембург, начальник канцелярии по приему прошений, друг всех гуманистов, один из немногих немцев, состоящих на службе при римской курии. Здесь устраиваются простые обеды и ведутся остроумные разговоры; нацепляют на деревья сонеты, в которых воспевается старик-хозяин, его гостеприимство и «приятный гнев». Гориц яростно ненавидит все уродливое. То, что преподносится в благородных формах, по образцу древних, приветствуется им, будет ли это эпос Санацарро «О рождении св. девы» или описание новой загадочной болезни «*Syphilis sive de morbo gallico — libri tres*», сделанное Фракастарро в стихах, подражающих Вергилию. Это и многое другое впервые становится общественным достоянием благодаря чтениям у Горица. Здесь люди находятся в своей компании, хвала и порицание выражаются свободно, скромное угощение подкрепляется превосходным настроением. Пиршества у крупных банкиров носят более пышный характер. Все эти Киджи, Спанокки, Альтовати соперничают в блестящих празднествах с кардиналами, из коих один только Ипполит Медичи имеет у себя на иждивении триста художников и разных литера-

торов. Одни воспевают его славу, другие выдумывают танцы, декорации и представления для его званных вечеров.

А на следующее утро страшные вести из Ломбардии, гром оружия, доносящийся издали.

А вечером пир у прекрасной Тулли. Она «meretrix honesta», знатная куртизанка и возлюбленная Филиппо Строцци, доверенного лица папы. Здесь тоже читают сонеты и эпиграммы, декламируют старые произведения вроде «Гермафродита», написанного Антонио Бекаделли, утверждение которого, что «гетеры полезнее самых благочестивых монахинь», было встречено смехом и восторгом. И вдруг все затихает, раздаются дрожащие звуки кем-то настраиваемой гамбы. Сейчас будет играть знаменитый Якопо Сансекондо, величайший музыкант Рима и такой красивый, что Рафаэль изобразил его в своей картине «Парнас» в Camera della Segnata в виде Аполлона, хотя он и еврей. Сама хозяйка затягивает песню. У нее превосходно обработанный голос. Песню эту сложил когда-то Лоренцо Великолепный, повелитель Флоренции, для своей пьесы с пением «Вакх и Ариадна».



В стороне от всего — еврейская община. Ее не интересуют ни тревожные вести, ни колдовство, ни шумные пиршества. Там, где живут евреи, вокруг «Platea Iudaeorum» у моста Кватро Кампи, в Трастевере, всюду говорят только об одном — о Реубени. С тех пор как его принял папа, не было такого еврея, который был бы равнодушен к этому человеку. Одни им восторгались, другие ненавидели, одним он внушал уважение, другим отвращение, но приверженцев было уже значительно больше, чем скептиков. Самые невероятные ожидания предшествовали каждому его шагу. Еврей, которого

сильные мира принимали не как просителя, а как равного, который выступал перед ними как независимый правитель! Со времени великого Ирода не было тому примера! Ведь это должно было коренным образом изменить положение загнанного, преследуемого всюду, безнаказанно мучимого народа! По всей Италии, по всем странам, где были рассеяны евреи, из уст в уста переходила весть: «Бог не отверщает больше лица своего, мы — дети царей, и царство возвращается к нам».

Было известно, что обе бронзовые колонны в базилике Ватикана взяты из храма Соломона и что каждую субботу вечером на них появляются капли, словно они оплакивают позор изгнания. Базилика была уже наполовину сломана, чтобы очистить место для нового собора св. Петра, но та часть, где находились бронзовые колонны, еще уцелела. Евреи ходили по субботам вечером смотреть на них. О, чудо! колонны больше не плакали.

Бог сжалился над Иерусалимом. Близок конец!

Ходил слух, что по ночам под аркою Тита раздавался жалобный голос, возвещавший о падении Рима. Рим разрушил храм, а теперь храм разрушит Рим. Суеверные евреи всегда избегали проходить через триумфальную арку — памятник их поражения. Только когда в город въезжал новый папа, их заставляли, с целью унижить их, украшать коврами эту самую арку Тита. А теперь каждый вечер можно было видеть евреев, в особенности молодежь, среди развалин форума около арки или в самой арке. Они напоминали собою черное стадо баранов между камнями, заросшими кустарником. Они проводили там целые ночи; все хотели слышать пророческий голос. В каждом веянии ветерка, пробежавшего по груде развалин, слышались таинственные звуки, словно где-то играли на арфе. И, наконец, раздавался этот голос: «Пробуждение, пробуждение»...

• Народ дрожал от страха и любви, когда Реубени показывался. Шопотом рассказывали, что сар знает не искаженное имя бога, которое пишется семьюдесятью двумя буквами. Даже в книге «Разиель», книге великих тайн, это подлинное имя бога не приведено полностью. Если его выговорить, то небо заполняется огненным пламенем. С нетерпением ожидали того момента, когда господин сядет в убогом одеянии вместе с нищими на Тибрском мосту, у замка св. Ангела, чтобы на следующий день объявить себя Мессией. Ибо так было предсказано и так должно было исполниться буква в букву.

Одно единственное событие: Реубени. Вся община ничего больше не хотела знать. Правда, мнения были различны, и вражда, с давних пор господствовавшая между сторонниками одиннадцати синагог, получила новую пищу. Кем был Реубени? Мессией или его предтечей или только князем, который приносил с собою светскую помощь вместо ожидаемой помощи божией? А от этой светской помощи не будет ли еще беды для еврейства? Или, может быть, он был волшебником и лжепророком? В таких предостерегающих голосах не было недостатка. Но большинство из тех, кто и слышать не хотел о его божественном происхождении, придавали тем большее значение тому обстоятельству, что весть о потерянных коленах Израилевых, которую он принес в Европу, поднимет авторитет еврейства и внесет новый фактор в соотношение политических сил.

Это вынужден был признать даже Обадия де-Сфорно, хотя это несколько мешало его излюбленной мысли, что спасение евреев придет от брата Мартина Лютера. Подчиняясь возраставшему воодушевлению, он не мог не признать, что Реубени очень ловко защищал свое дело перед кардиналом. Особенно тонко было сделано

указание на заигрывание кардинала с каббалой, удачны также были похвалы по адресу Рафаэля. Этим посол хотел показать, что евреи не чужды новому светскому образованию.

IX

Сар проявлял мало интереса к той суете, которая создавалась вокруг него. Он редко показывался на людях, большую часть времени проводил в своих комнатах. В равной мере уклонялся от встреч с друзьями и врагами, ни с кем не беседовал, кроме чиновников курии, которые должны были передать ему ответ папского двора. По несколько раз в неделю он посещал кардинала Эджидио, с которым запирался для длительных бесед. Иногда к нему приходил необузданный, веселый Аретино; однажды вечером он привел с собою капеллу папских флейтистов и устроил импровизированный концерт в честь сара. И странно было, что два таких столь противоположных человека, известный насмешник и серьезный молчаливый посол, нравились друг другу. Встречи их повторялись. Может быть, сначала папа сам обратил внимание Аретино на Реубени и послал его в качестве доверенного лица с поручением, но впоследствии Аретино приходил по собственному желанию. Его не всегда тянуло в веселое общество. Наоборот, он часто предпочитал склонных к грусти людей, как папа Климент или еврейский посол; ему нравилось подобно бабочке порхать вокруг них со своими шутками. Он словно трудился над разрешением загадки, как можно грустить на этой прекрасной, сочной, сладострастной земле.

Аретино привел сара к Иоанну Горицу. Римские литераторы, поэты и ученые заинтересовались им, они ожидали красочных описаний далекого еврейского царства, казавшегося чудом. Дружески приветствуемый самим Горицом—«*senex Coricius*», так называли его гума-

нисты, намекая на корицийскую пещеру на Парнасе— Реубени принял участие в празднестве, организованном в саду. Там читали стихи, прославляли доброго немецкого покровителя всех художников, любителя античного мира. Вспоминали гостеприимные вечера в его вилле, воодушевленные веселой беседой, которые никогда не переходили в низменные сплетни, следуя правилу, которое было начертано на красивой цистерне, стоявшей в саду: «Bibe, lava, tace». Реубени среди этих образованных веселых остроумных людей напоминал темное облачко,двигающееся по ясному небу. Иногда, присоединяясь к какой-нибудь группе, он произносил несколько слов, но вскоре этот человек, прибытия которого ожидали с таким нетерпением, очутился один в стороне от всех, на мраморной скамье под темным лавровым деревом. Крутом были руины капитолийского склона и форума Траяна; их бережно сохранили при разбивке сада. Камни были так же молчаливы, как он сам. Лишь иногда приходил Аретино, осведомлялся о его самочувствии и сейчас же убегал. Другие стояли в стороне и смотрели на человека, погруженного в свои грустные мысли. Было в нем что-то жуткое, не допускавшее к сближению. Он сидел, и казалось, что он каждую минуту может вскочить и в яростных словах излить свое отчаяние. Его лицо и поза свидетельствовали, что в этом человеке сознание своего достоинства и силы борются с порывом, способным разбить все оковы и перевернуть все его существо.

Никто не решался заговорить с этим одиноким человеком. Он приподымал голову, словно прислушивался к этой внутренней борьбе, а рукой держался за бороду, точно искал опоры.

По отношению к евреям он был еще более сдержан, нежели в христианском обществе. На празднествах у

римлян он еще появлялся, хотя и держал себя замкнуто. Но от разговоров с евреями он почти совершенно уклонялся. Речи евреев, часто выводили его из терпенья. Они говорили не то, что надо. То, что он желал бы сказать, казалось предназначенным не для них, а то, чего они хотели, не интересовало его. И тогда в его темных глазах вспыхивали желтые огоньки, целый дождь искр, а в уголках рта на мгновение вздрагивала гневная складка.

Но во всем этом отрицательном отношении к евреям не было никакой враждебности. Чувствовалась только боль, крайнее напряжение, бдительность и что-то вроде сознания огромной ответственности. Однажды в конце недели, в течение которой он снова питался только скудной пищей, ему подали бокал с подкрепляющим напитком. Он попросил воды с сахаром, сказав, что так он привык заканчивать свой пост, но его заставили выпить вина. После этого он заболел. Он очень боялся, как бы не подумали в публике, что его собственные соплеменники тяготятся им и отравили его. Опасение, что на общину падет подозрение в убийстве, волновало его больше, нежели страх за собственную жизнь. Даже во время приступа лихорадки, когда другие стучат зубами, он сохранил свою вдумчивую энергию, приказал прежде всего позвать врача христианина и дать ему исследовать вино, оставшееся в бокале, из которого он пил. Было установлено, что вино не содержит в себе ничего опасного. Он потребовал к себе нотариуса, который составил протокол обо всем происшедшем, и в заключение протокола Реубени собственноручно начертил еврейскими буквами: «Они желали этого для моего блага, потому что не знали моей природы, да будут же они благословенны, хозяин дома и старшина». Лишь после этого он подумал о себе, заказал горячую ванну и ночью

несколько раз пускал себе кровь. На следующий день он поставил банки, вообще обнаружил пристрастие к самым резким способам лечения. Всякие легко действующие средства он отвергал. И к болезни он проявлял только чувства ненависти и раздражения. Все его состояние напоминало состояние борца в бою. Слышно было, как он бормотал ругательства по адресу невидимого врага. Его губы выражали отвращение и презрение. Казалось, что перед ним стоит противник, но он не признает его равным себе, а отшвыривает его в угол, издевается над ним. Иногда он напоминал сумасшедшего. Его сожители, встревоженные, стояли у постели, в которой яростно метался больной, совершенно не похожий на обычных больных. Он взглянул на них и стал утешать их.

— Я знаю, что я не умру, пока не приведу изгнанников в Иерусалим.

Боль его усилилась, зубы оскалились, он терял сознание. Когда он пришел в себя, первые его слова, произнесенные с необычной простотою, были:

— Не бойтесь, потому что я знаю наверное, — я не умру от этой болезни.

Настал вечер, больной горел в лихорадке. Иосиф Царфати — хозяин дома и врач, исследовав его, нашел состояние весьма тревожным и считал долгом рекомендовать умирающему молитву «виддуй» — покаяние в грехах. Он сделал это с обычным обоснованием, что такая молитва «не приближает и не удаляет смерти». Но сар злобно выпрямился и хриплым голосом, который едва был слышен, но который таил в себе скрытый звук трубы, сказал:

— Нет, я не произнесу этой молитвы, потому что бог со мной, я нужен ему для его работы, вы же — уходите, — и угрожающим жестом заставил встревоженных людей покинуть его комнату.

На следующий день, после сильного пота, опасность миновала.

Прежде всего он потребовал себе новую комнату. Та, в которой его застала болезнь, была ему противна.

Его поместили в одной из комнат, которые обычно занимала младшая сестра Царфати—Дина. В открытые окна из сада проникал аромат первых летних цветов, пальмы бросали в окна свою тень, пронизанную теплыми зелено-золотистыми лучами солнца.

Дина ухаживала за больным. Кризис миновал, но последние судороги болезни еще в течение долгих дней и даже недель терзали голову и тело нетерпеливого больного. По вечерам, когда лихорадка усиливалась, он жаловался, что змеи Лаокоона подползают к нему.

Она пыталась его утешить и заводила речь о его деле, которое он называл «благою вестью». Сначала она это делала крайне осторожно, потом, когда ей показалось, что он не без удовольствия беседует с нею, она бурно высказала ему свою веру в него. Она в него верила с самого начала, увидела в нем спасителя народа. Ее красивое лицо густо покраснело, когда она обратилась к нему с словами таинственной книги Даниила: «Ему даны величие и царство».

Он улыбнулся.

— Значит, не доктору Мартину Лютеру?

Он знал, что в доме часто бывает старшина де-Сфорно, который имел большое влияние на Иосифа Царфати.

— Может быть, Лютер выполнит великие дела для своего народа, — ответила она умно и серьезно, — а вы— для своего.

— Это хорошо сказано!

Ее ясные, простые мысли хорошо действовали на него, так же, как и ее спокойный невинный взгляд. Темно-каш-

тановые волосы, сложенные в высокую прическу, — они у нее были очень густые, — обрамляли лицо у самых глаз, золотисто-карий блеск которых смягчался длинными густыми ресницами. Круглые щеки, розовые и в ямочках, твердой линией облегали бледно-розовые, плотно сжатые губы, открывавшиеся только во время речи.

Приободренная его похвалой, она продолжала.

— Последние папы все относились к нам хорошо, и я не вижу, почему нам следует желать крушения их власти?

Он посмотрел на нее насмешливо и в то же время нежно, как смотрят на умного, ребенка, который приводит в изумление своими познаниями и стремлением походить на взрослого. А она его упрасивала:

— Скажите еще что-нибудь, учитель! Я так охотно слушаю вас.

— Наша ошибка, — сказал он задумчиво, — заключается в том, что мы ожидаем нашего спасения всегда извне — от других. Когда я недавно был в Венеции, там только и говорили, что об английском короле Генрихе. Некоторые вбили себе в голову, что он будет еврейским Мессией, если мы поможем ему расторгнуть брак и жениться на Анне Болейн. Здесь, в Риме, я вижу, что все взоры устремлены на германского монарха. Мы постоянно заняты чужими заботами, постоянно мы на положении паразитов — если не у чужих радостей, то, по крайней мере, у чужого горя. И ничто не служит нам уроком.

— Что же следует нам делать?

Он глубоко вздохнул и уже больше не слышал ее вопросов и речей, а всецело ушел в свое горе. Она заметила, что он не обращает на нее внимания, и тихо вышла из комнаты.

Чтобы развеселить его, она на другой день привела с собой трех подруг. Девушки пели мадригалы в четыре голоса, потом танцевали. Музыканты на лютнях и скрипках аккомпанировали им. Дина отвесила поклон Реубени:

— Это мы делаем в вашу честь, господин, чтобы вас покинула печаль.

И снова закружились стройные девичьи руки, изгибались в танце нежные тела под такт мелодии. Голубой воздух, запах травы, шелест пальмовых листьев за открытым окном. Радостью выздоровления дышала насыщенная ароматом комната и весело приветствовала танцующих.

— Нравятся вам наши танцы?—спросила Дина.

Реубени слабо кивнул головой.

— У вас хорошие намерения, но бог знает мои мысли и знает, что сердце мое денно и ночью принадлежит только его делу.

Девушки удалились.

— Дина!

Она уже была у двери и вернулась к нему.

Он шутливо погрозил ей пальцем.

— Для какого праздника заучила ты эти песни и танцы? Уж не готовится ли твоя свадьба?

Она запротестовала.

— Так в чем же дело?

— Папа подтвердил «Capitoli» рабби Даниеля. Все этому рады. Теперь во всем Риме будет только одна община. Брат мой на следующей неделе устроит в честь рабби большой парадный обед.

Сар поморщился.

Дина подошла поближе, молитвенно сложив руки.

— У меня к вам просьба.

Он удивился ее взволнованному тону.

— Что с тобой, дитя мое?..

— Вас тоже пригласят. До сих пор вы всегда отказывались. Но на этот раз—если вы можете, если ваше здоровье, как мы надеемся, к тому времени восстановится—на этот раз вы не должны отказываться. Не делайте этого, прошу вас.

— Что тебя так мучает, скажи мне все, Дина.

— Меня мучает...—Она запнулась и опустила глаза.— Я одного не понимаю, совершенно не могу понять. И нет того часа, когда бы я о том не думала... Вы присутствовали на празднествах римской академии, были у господина фон-Горица, были в гостях у многих кардиналов, а у нас ни разу не были. Ни разу не почтили своим присутствием свреев. Вы нас презираете.—Она почти расплакалась.—Вы готовы бороться за нас, но не вместе с нами. Я мучаюсь и не могу понять этого. Разве мы так презренны? Разве мы так дурны?

Ее благородное лицо пылало гордостью, и это шло к ней. Ему понравился этот гнев, вызванный чувством собственного достоинства, в котором чувствовались какие-то отзвуки недавней музыки и ритмического танца.

Он рассказал ей то, чего от него никто еще не слышал. Рекомендательные письма папы к португальскому королю были в его руках. Но португальский посланник дон Мигуэль чинил препятствия и не желал давать паспорта ему и его спутникам, ссылаясь на то, что появление еврейского князя в Лиссабоне ободрит марранов и, может быть, даже вызовет с их стороны открытый бунт. На посланника можно воздействовать только давлением со стороны папских чиновников, которым поручено это дело. Но это именно самый слабый

пункт во всем деле, потому что в канцелярии лениво ведут переговоры с доном Мигуэлем, а может быть, затягивают их с коварным намерением, в угоду противоположным течениям при римской курии, и желают помешать дальнейшему путешествию Реубени. И таким образом он уже сидит тут недели без всякого движения, и дело, которое было начато так успешно,—затормозилось.

— Вот что заставляет меня посещать эти праздники. Не для того я прибыл в Рим, чтобы принимать участие в обедах и комедийных представлениях. Но мне приходится ходить туда, где собираются влиятельные люди. Я должен искать друзей там, где может быть легче всего их найти. Но тебе, девушка, я скажу...—Он поднялся, и безумный огонь его глаз был так невыносим, что она отвернулась в сторону.—Но тебе я скажу, что работа эта не менее тяжела и высасывает не меньше крови, нежели все, что я делал до сих пор.

— О да, я знаю, знаю,—сокрушенно вздохнула она.

— Ты знаешь это, Дина,—продолжал он более кротким тоном и нежно положил руку на ее густые волосы,—все-таки ты многого еще не знаешь и никогда даже не постигнешь. Ты превратилась бы в соляной столп, если бы знала все. Но я скажу тебе только одно—ты ведь умная и не будешь этим злоупотреблять! Пойми: как ужасно, что мне приходится отстранять от себя наиболее несчастных и измученных наших братьев, марранов, вместо того, чтобы поднять их из праха и обнять их, когда они опускаются передо мною на колени. Как охотно я бы это сделал! Ведь они верны, вернее всех. Под подозрительными взорами свирепой инквизиции они, не взирая на тысячи опасностей, твердо держатся за союз с нами. Между тем ты ведь сама была свидетельницей, Дина, как я самым жестокосердным образом говорю

им «нет» и добавляю: «Для вас у меня нет вести». Если они примкнут к нам, это вызовет раздражение и сопротивление христианских держав. Этого мы не должны допускать. Все наше огромное дело, освобождение евреев после пятнадцати веков унижения, подверглось бы опасности, если бы я поддался чувству, которое испытываю к этим верным братьям, если бы поддался моему хорошему чувству! И так во всем: хорошее, близкое, то, что мне хочется делать—я делать не могу. Перед глазами должна быть далекая цель, а мимо всего прочего надо пролетать, как буря.

Он еще никогда так не говорил. Тяжко вздыхал он, раскрывая свои тайны перед девушкой, которая слушала его, затаив дыхание. Она стала на колени у кровати, опустила голову и закрыла лицо ладонями. Только от времени до времени, когда Реубени прерывал свою речь, она взглядывала на него—слезы сверкали у нее на глазах, а из его уст лились новые жалобы.

— Самое ужасное случилось в Венеции. Я должен был оттолкнуть престарелого честного человека, единственного, который надеялся на спасение. Он был беженцем, лишенным всякого положения, как и другие пришлые евреи в Венеции. А мне нужно было получить доступ к старейшинам. Мне нужны были они и их помощь. Мне приходилось возиться с этими торговцами перцем, и только когда мои старания в отношении их оказались безуспешными—только тогда, с большим опозданием, я мог дать волю своему чувству и поблагодарить старика Эльханана за его юношеское сердце. Когда это уже не могу повредить, не могло помешать делу. То же самое теперь в Риме. Я действую не под влиянием моего доброго чувства, а повинаясь суровым требованиям дела. Я сижу среди монсиньоров, среди апостольских астрологов и секретарей, среди всякого

рода литераторов и ловлю слово, которое должно указать мне наиболее благоприятный путь. А тем временем я выслушиваю бесконечные рассуждения, скучные стихотворения, пережаренного Ливия и подогретого Горация.

...Нет, однажды все же случилось нечто, что меня порадовало. Это было у кардинала Ипполита де-Меди-чи. Там был человек, который всегда сидел уединившись от других, как я, и на которого никто не обращал внимания. Потом оказалось, что это не литератор, а скульптор.—Их произведения хотя и высоко ценятся, но к ним самим относятся пренебрежительно, потому что они не говорят по-латыни. Так вот, этот человек в течение всего вечера внимательно наблюдал за мной, а потом пригласил пойти к нему. Я спросил, чего он, собственно, хочет. Он хмуро попросил у меня разрешения сделать в моем присутствии несколько ударов резцом на уже законченной статуе, которая находится в его ателье, потому что поза и выражение ее как-то странно напоминают ему некоторые черты, которые он подметил у меня в этот вечер. Странно потому, что он работает над этой статуей уже много лет, а между тем—таковы были его слова—только сегодня, взглянув на меня, он сумел определенным образом одухотворить свое произведение. Потом беседа наша оживилась. Он рассказал, что этот памятник—несчастье, преследующее его всю жизнь. Он задумал его так грандиозно, что памятник хотя, быть может, и не выше его собственных сил, но во всяком случае превышает силы современной эпохи, которая, несмотря на все призывы к добродетелям древних римлян и христиан,—не возвышается над средним уровнем. А может быть,—и здесь он еще больше наморщил лоб, прорезанный множеством глубоких морщин,—произведение это все-таки превы-

шает его собственные силы, которые он переоценил в свои молодые годы, а теперь, когда ему пятьдесят лет, он видит, что он все же только дитя своего времени, а не полубог античного мира. Если бы было иначе, то он сумел бы силами полубога преодолеть низменные преграды, которые мешают завершению его труда. «Только в том виде, как я задумал этот памятник в два этажа, с сорока фигурами, изображающими все искусства и добродетели, завоеванные провинции, небо и землю,—он был бы достоин античного мира и, может быть, способен снова создать в этой жалкой стране поколение героических римлян. Но ничего этого не удастся сделать. Я ненавижу свою славу, потому что она основана на недоразумении. Не будучи художником, я знаменит своими картинами. Я вижу вокруг себя только развалины моего дела. Я не хочу обижать вас,—продолжал он,—но мне кажется, что вы находитесь в таком же положении. Вас окружают почестями, но новое поколение героических евреев не восстанет, точно так же, как и римские герои, о которых я мечтал. Прежние времена не возвращаются, и что бы мы ни делали они никогда не возвратятся». С этими словами мы подошли к его мастерской. Он зажег несколько восковых свечей, и я увидел перед собою мраморное изображение величественного мужчины. «До сих пор я думал, что он гневается только на свой народ,—сказал скульптор,—но теперь я знаю, и это должно быть видно по его глазам, что он гневается и на себя, за то, что, несмотря на всю свою силу, он недостаточно силен—точно так же, как вы и я сам».

Дина слушала с напряженным вниманием.

— А где находится это ателье?—спросила она, когда он кончил.

— На площади Петра, у коридора, ведущего к замку св. Ангела.

— Тогда это был скульптор Микель Анджело Буонаротти.

Реубени смутился, когда он услышал знаменитое имя.

— Я его не спрашивал, и вообще в начале нашей беседы не совсем внимательно слушал, потому что как раз в этот вечер меня постигла большая неудача: один из прелатов, на которого я твердо надеялся—изменил мне, и, в результате этой мелкой борьбы, я чувствовал себя усталым до полусмерти и не вполне соображал, когда шел со стариком. А потом он стал мне все больше нравиться и под конец совсем увлек меня, хотя он, как это часто делают старики, в беседе все время заговаривал о своей болезни почек, а я терпеть не могу, когда говорят о болезнях. Но это было только так, между прочим, а потом он снова загорался, и даже несколько комическая одежда, в которой он принялся за работу, не портила его. Он оставался величественным, несмотря на бумажную шапочку, наверху которой, словно украшение шлема, была прикреплена горящая свечка. Он объяснил, что это его собственное изобретение. Свет падает всегда куда нужно, а руки свободны и могут работать молотком и долотом. С этой свечкой на голове он прыгал вокруг статуи, и свет и тени пробегали по мрамору и, казалось, растапливали его. А потом он снова подбегал ко мне, чтобы присмотреться вблизи, и снова отскакивал. Удары звенели по камню, и мне казалось, что все разлетится на кусочки. Когда, наконец, после двухчасовой работы он остановился в изнеможении, я не мог заметить сколько-нибудь существенной перемены в статуе, но он заявил, что доволен. Правда, из сорока статуй, которые должны украшать могилу, это единственная, которую он закончит. Он с безутешной грустью говорил об этом,—но в то время как другие при таких словах имеют подавленный вид, у него

это выходило иначе. Что бы он ни говорил, даже самое печальное, на всем сиял какой-то свет как бы от внутреннего огня, который неугасимо горел в нем и, помимс его волн, превращал всякое поражение в победу. Чувствовалось, что даже в его изнеможении и отчаянии бог не покидает его. Казалось, что эта связь с всевышним нерушима, что ее не может уничтожить никакая сила, даже воля самого мастера. Слова его о том, что он устал, звучали правдиво, но в то же время они казались выражением упрямства и детского преувеличения, а рядом с этой великолепной статуей они почти что вызывали улыбку. Если даже то великое, к чему он стремится, не будет исполнено им, во всяком случае то, что он сделает, будет полно величия. Какая отрада этот человек. Настоящий герой! Это сильно ободрило меня. На следующий день я снова мог заняться своими мелкими визитами, осторожным нащупыванием среди людей с холодными сердцами.

Воспоминание о несокрушимой силе души Микель Анджело выявило и в самом Реубени черты той таинственной радости, которая обща всем великим душам. У некоторых эта радость проявляется очень редко, но вполне она никогда не отсутствует, и Реубени стал не без задора декламировать стихи Абрагама Ибн-Эзра:

Был я утром у вельможи,
Слышу—выехал верхом;
Робко вечером спросил я,
Говорят—улегся спать.

Дина весело подхватила:

И всегда—иль нету дома
Или только что уснул.
И другого нет ответа
Бедному, что под счастливою
Не рожден звездой.

Она испугалась:

— Да это совсем не так,—простите—что я говорю! Не рожден под счастливой звездой? Да ведь вам дарованы слава и царство.

Реубени отвернулся.

Дина винила во всем свою неловкость. Как могла она процитировать такие неудачные строки. Ей и в голову не приходило, что Реубени был в дурном настроении, потому что слишком далеко зашел в своих признаниях. Ведь он был Мессией. Правда, он должен был еще ждать, как пророчествовал Исайя—«подобно корню в тощей земле», как «муж, страждущий и знакомый с болезнями», но настанет день, когда он «заставит многие народы воспрянуть от изумления и почтения». И «цари из-за него крепко сожмут уста свои».—Дина ни на минуту не сомневалась в этом. То обстоятельство, что Реубени явно страдал как физически, так и духовно, только укрепляло ее веру в него.

Когда он снова повернулся к ней, выражение лица его было совсем другое. Обычное, неподвижно холодное.

— Позови мне своего брата и другого врача,—сказал он суровым тоном,—я хочу, наконец, быть совсем здоровым.

Девушка пугливо вздрогнула. Хотя это было его обычное лицо, но оно пугало ее. Разница в сравнении с тем человеческим нежным вдохновенным выражением, которое она только что видела, была слишком велика.

— Простите меня,—робко сказала она.

Слышал ли он ее?—Он кивнул головой, словно думая о чем-то другом.

Она повернулась, чтобы уйти, и боялась расплакаться. Нет, одну еще она должна была сказать. Это всегда занимало ее, придавало всему, что совершалось, особый блеск—было ее целомудренно охраняемой девичьей тай-

ной. Теперь надо было высказать это в искупление того, что она оскорбила сара!...

Слова с трудом выходили из ее горла, словно язык, который должен был произнести их, преграждал им путь.

— Вы спросили, господин—был ли тот танец свадебным? Так знайте же: я никогда не выйду замуж—кроме как в Иерусалиме.

И она так быстро убежала, что шелковые занавеси у дверей еще долго колыхались после этого.

В следующие дни сар избегал разговаривать с ней. Он медленно поправлялся, мог уже сидеть в кресле.

Он заставлял теперь своих слуг прислуживать себе. Дину он больше не хотел видеть.

Но однажды она еще раз заговорила с ним. Пришла, дрожа, с заранее обдуманной речью и готовым планом.

Она сообщила, что в Венеции свергнут весь еврейский совет. Этот бунт произошел вскоре после отъезда сара. Все смещены, даже Мантино, который был прежде всесилен. До такой степени настроение всего народа склонилось в пользу князя из царства Хабор. И это сильно подействовало на римских фаттори, с де-Сфорно во главе. Теперь они рады будут оказать услугу Реубени и примкнут к его партии, только чтобы это не было слишком заметно, но так, чтобы в случае удачи они могли сказать: мы в этом принимали участие. Ей это известно на основании разных заявлений, намеков. А такая услуга действительно очень нужна.

— Вы в ваших стараниях подогнать чиновников курии, пожалуй, не подумали об одном—простите мою дерзость, но я знаю, я дитя этого города, я знаю их нравы и знаю новую поговорку, что в Риме вместо десяти заповедей теперь следуют десяти буквам: «De re-

cupiam», т.-е. давай деньги. Денежная сумма, предоставленная де-Сфорно...

Он сердито прервал ее:

— Довольно. Благодарю. Никогда.

— Это единственный путь...

— Этим путем мы идем уже много сотен лет. Я знаю это, но я хочу, чтобы мы пошли, наконец, другим путем.

Дина смотрела на него в полном отчаянии.

— Ты не можешь понять, дитя,—сказал он более мягким тоном, но в словах его было нечто такое, что отстраняло ее далеко-далеко, может быть, навеки.— Нельзя, конечно, вменить тебе, слабой девушке, в вину то, что составляет вину столетий. Ты, дитя мое, не виновата, что не понимаешь многого.

Ей было больно от его холодности.

В слезах она бросилась перед ним на колени, схватила его руку, страстно целовала ее, а слезы лились на его костлявые, тощие пальцы.

Он вздрогнул. Боль и страсть двигали его левой рукой, когда он гладил ее красивые волосы. Она не решалась поднять голову.

Одно мгновение он только слегка коснулся рукой ее головы и уже отдернул ее обратно. Это была не ласка, а привет издали, с другого берега широкой реки.

В тот же вечер он сказал посетившему его Аретино:

— Все, что вы рассказываете о женщинах и их проделках, может быть, и верно. Я этого не переживал—не знаю. Один только раз, очень давно—тринадцать лет прошло с тех пор—тогда я пережил много дурного. Но это было совершенно иначе, гораздо возвышеннее того, что вы рассказываете. Там не было той слепой необузданной жажды наслаждений и еще более скверной жажды наживы, которая заполняет ваши истории. И, может быть, они все-таки правильны. К той карти-

не, которую являет собой этот жалкий мир, они очень подходят.

— Вздор,—прервал его Аретино,—вы берете неправильной тон. Только таким ворчунам, как вы, мир кажется жалким, потому что вы не следуете моей заповеди, которая объясняет все, все до конца, которая мудрее всех изречений семи мудрецов Греции и семидесяти раввинов. Я говорю: люди должны больше спать с красивыми женщинами. В этих словах все сказано. Всякие меланхолии, всякие ложные догматы—порождения больного мозга, всякие войны, политические и религиозные распри проистекают от того, что человечество отклоняется от единственно приятного для него занятия и вследствие боли и злобы, испытываемой из-за упущенного наслаждения, занимается потом всякими глупостями и взаимной враждой.

— Я знаю ваше мнение, вы достаточно часто мне его проповедывали. Но позвольте мне сегодня внести хотя бы частичную поправку. В красивой женщине любят не женщину, а цвет своего народа. В ее благородных чертах я читаю добродетели предков, сумевших завоевать хорошее место, хорошую землю, на которой можно процветать. В ее смеющихся глазах, в милом разрезе рта я вижу очень серьезные вещи: первый мужественный захват владений и борьбу за землю, упорную борьбу поколений, неутомимость, суровую дисциплину, благородную простоту убеждений, всю суровую историю народа, даже его восхождение к богу. Все это в образе женщины представлено легко и играючи, но тем не менее это видимая форма самых плодотворных и скрытых сил, какие только существуют.

Аретино рассмеялся:

— Я же говорю: слишком мало спят. Иначе бы вам и в голову не пришло ничего подобного.

— Нет, вы только выслушайте до конца. Когда чувствуешь, что история народа идет на ущерб, а женщина все еще прекрасна, потому что в ней все еще скажутся старые геройские подвиги,—прекрасная женщина живет, так сказать, милостью давно ушедших поколений, с добродетелью и силой коих она уже не связана и даже память которых хороший, но разменявшийся на мелочи ум ее невсезачемно осмеивает,—скажите сами, разве такая прекрасная женщина не является самым ужасным обманом нереальности? И когда видишь, как она мучается и желает стать снова великой и вернуться в Иерусалим, дочь моего народа, и когда хочешь поэтому привлечь ее в свои объятия, потому что она прекрасна—добра и прекрасна—и когда сознаешь, что если сделаешь это вместо того, чтобы сделать единственно правильное, а именно—начать с корня, а не с цветка, окрасить новой, очищенной кровью призрачную, бледную фигуру прекрасной женщины,—скажите, разве тогда не кажется, что в одно и то же время вы говорите «бог велик» и тут же поносите его?

Реубени вскочил с кресла. Его рука, еще слабая, ухватилась за оконную раму. Все тело дрожало. Если бы Аретино не поддерживал его, он упал бы. Участие к взволнованному, обессиленному человеку светилось в глазах Аретино, но рот насмешливо вздрагивал.

— И что вы вечно возитесь с вашим богом! А главное, нашли у кого спрашивать о богохульстве. Я дурно говорил обо всех, но о боге никогда—потому что его я не знаю.

XI

Сар оправился и снова хлопотал по своему делу у кардиналов и в канцеляриях.

Но дело не двигалось. По обоим вопросам решение все откладывалось. Посланник дон Мигуэль по-прежнему вел бесконечную переписку с португальским двором, в то же время Реубени не удавалось получить определенного разрешения на вербовку армии из годных к военной службе евреев в Риме. Правда, он приказал завести списки, подвергал осмотру юношей, которые заявляли о своем желании вступить в армию, начал даже обучать их военным приемам. Но на этом дело и остановилось. В то же время эти приготовления послужили его противникам материалом для агитации против него. Они заявляли, что будет безумием разрешать вооружаться евреям, этим опаснейшим врагам церкви Христовой. Не в качестве союзников христиан, как обещает Реубени, а в качестве врагов используют они свое оружие.

Кардинал Эджидио, правда, держался твердо. Точно так же покровительствовал Реубени престарелый Лоренцо Пуччи, главный начальник тюрем и решительный враг инквизиции и доминиканцев, который в свои молодые годы поддерживал борьбу благородного Рейхлина с теми, кто требовал сожжения Талмуда в Кельне. Этот Лоренцо Пуччи был строгим католиком, но он любил пробуждавшийся молодой мир, который так серьезно стремился к красоте и действительному братству всех сильных людей, без различия сословий и происхождения. И он смертельно ненавидел Испанию и исходившие из этой страны мракобесия посягательства на все свободные порывы. У папы Реубени еще раз добился аудиенции. Прием был оказан отеческий, благосклонный, но решения не последовало никакого. Продолжительная беседа с папой и на сей раз постоянно сбивалась от стоявших на очереди политических вопросов на общие жалобы по поводу надоевшей

всем военной смуты. Разговор закончился любимым словечком: *videbimus*—посмотрим.

Правда, у него было больше чем когда-либо оснований к нерешительности. Военное счастье беспрерывно колебалось и, повидимому, никак не могло прочно обосноваться в лагере какой-нибудь из сторон.

Была зима. Прошел почти год с тех пор как Реубени прибыл в Италию. И ничего не было достигнуто.

Реубени держали про запас в качестве орудия курии против инквизиции и против усиления императорского влияния в Португалии. Но этого средства не пускали в ход, пока оставалось неизвестным, кого следует бояться больше—императора или французов. Посланник знал, что в этой обстановке интригами нельзя было помочь делу.

Из Венеции прибыл Мантино. Не собирался ли он мстить за свое падение? В Венеции, где он утратил всякий авторитет, он не мог больше оставаться. Но в Риме Мантино имел великого покровителя в лице епископа Джиберти, который был теперь управляющим канцелярии в Ватикане. Неудивительно, что Реубени почувствовал, как с прибытием Мантино все скрытые препятствия при курии заметно усилились. Можно ли было назвать случайностью, что этот же самый епископ Джиберти теперь более резко выступал также и против Аретино, которого он всегда преследовал? Аретино ответил на это злым стишком, который он вывесил на «пасквину»—сломанной статуе, на которой римляне привыкли читать насмешки на злобу дня.

Вскоре после этого последовал удар кинжалом. Аретино свалился раненый с лошади. Все знали, кто нанял бандита. Но Климент, подпавший теперь всецело под влияние Джиберти, не принял своего прежнего любимца,

и Арентино не имел даже возможности изложить ему свои жалобы и подозрения.

— Я всегда не любил этого желчного епископа,— сказал он Реубени, который посетил его во время болезни.— Это тоже один из тех, которые слишком мало спят.

И как только он выздоровел, он отправился в лагерь к капитану Джованни Медичи, в лагерь «черных банд». Это—«дьявол, который, по крайней мере, не притворяется ни чем иным».

А «притворщикам в Риме» он посвятил в своем «Раджонаменти» ядовитую главу: «Эти умники не открывают рта, чтобы не сдвинулись складки, в которые они сложили свои губы перед зеркалом; а если они иногда и открывают свой рот, то делают это с величайшей осторожностью, чтобы снова сложить губы в надлежащие складки. И к распутным женщинам они ходят тихо, тихо, кошачьей походкой. А когда они оказывают свое внимание какой-нибудь из них, они при этом добавляют: «Мы такие же грешные, как и все». Застегнув потом штаны, они приводят свои губы в движение и не перестают бормотать: «Господи, помилуй». «Domine ne in furore» и «Exaudi orationem». И затем немедленно отправляются в больницу, чтобы растирать ноги неизлечимо-больным. Пускай их щиплют в аду раскаленными щипцами».

Обилие пороков, в котором Арентино так хорошо себя чувствовал, неоднократно отпугивало Реубени, но, тем не менее, какая утешительная живость и какая доброта и ласка были в этом, всегда веселом человеке!

Несколько дней спустя после отъезда Арентино на сара напали двое замаскированных мужчин, в то время как в одиночестве он совершал свою очередную прогулку вечером по Колизею.

Нападавшие были вооружены кинжалами, но Реубени тоже всегда носил за поясом дамасский клинок. В его маленьком, но широкоплечем и крепком теле было много силы. И мужество его принудило обоих бандитов немедленно перейти к обороне. Одного он ранил, тогда оба быстро обратились в бегство.

Было естественно предположить, что это нападение связано с нападением на Аретино. Но какое могло быть на то основание у епископа Джиберти? Или, может быть, в курии были и другие лица, которые считали Реубени таким опасным врагом, что хотели обезвредить его подобным образом?

Загадка эта не была разрешена и еще усилила ту таинственность, которая и без того окружала личность Реубени. Правда, Реубени хотел сохранить все в тайне. Но были свидетели происшествия, видевшие его издали. И вскоре распространился слух, который сделал сара героем, при чем рассказывали, будто он обратил в бегство пять или десять бандитов.

Любовь и суеверный страх народа, и без того уже считавшего его божеством, превзошли все пределы. «Праведнику хотели поставить западню, но сам господь послал ему на помощь своих ангелов».

Как ни странно, но все эти мелкие неудачи и препятствия, заставлявшие Реубени почти целый год безрезультатно оставаться в Риме, несколько не подорвали его авторитета среди широких народных масс. Народ попрежнему видел его в сказочном блеске. Для него он был принцем, прибывшим с Востока, располагающим бесчисленными войсками и, в сознании своей силы, защищающим права Израиля перед высшим тронем христианского мира. Подлое покушение на убийство никого не запугало, а вызвало только новый взрыв восторга.

Образовалась добровольная лейб-гвардия из молодых евреев, которые охраняли дом посла. И, казалось, не было конца случайным происшествиям, возвеличившим его славу. Ибо едва только успел умолкнуть на еврейских улицах разговор о непонятном покушении на убийство, как произошло другое событие, которое произвело впечатление даже на скептиков.

В церкви святого Петра, в Винколи, Микель Анджело выставил свою статую Моисея. Впечатление было огромное. О ней говорили: «Когда видишь лик этого святого и великого человека, то кажется, что он требует покрывала, чтобы закрыться от нас, так лучезарен его лик, так верно воплощает он величие бога». Другие, наоборот, усматривали в лице грозного вождя—*terriblissimo capitano*—больше выражение гнева, нежели божьего света. Казалось, что он сходит с горы Синай, держа скрижали завета в правой руке, и, остановившись отдохнуть, прислушивается, как народ поет и пляшет вокруг тельца, а верный его спутник Иоса говорит ему: «Слышишь военный шум в лагере!» И вот схвачен его взгляд, схвачен момент перед яростным порывом, перед вспышкой, которая принесла бы верную гибель! И в борьбе с такой дикой страстью к разрушению его сдерживает сознание его неповторимой, огромной миссии. Голова поднимается лишь слегка, словно он прислушивается к происходящей в нем внутренней борьбе не меньше, чем к народу, беснующемуся в долине,—и рука хватается за бороду, словно ища опоры.

Вскоре вспомнили, что сар Реубени, когда он усаживался в стороне на празднествах, принимал такую же позу: не лицо Моисея, которое, несмотря на одухотворенность выражения, было выхоленное, полное, не изборожденное морщинами, а вот эта поза и еще, пожа-

луй, что-то в ищущем, неуверенном выражении глаз напоминало о нем.

И вдруг стало известно, что Реубени послужил моделью для статуи. Может быть, это выдала Дина, не будучи в состоянии сдержать свою радостную гордость?

И вот евреи, мужчины и женщины, поскольку они могли преодолеть свой страх перед посещением церкви, стали толпами ходить в церковь св. Петра в Винколе. «Пускай они это делают, они молятся не человеческому, а божьему произведению», — так записал ученик Микель Анджело Джорджио Вазари в своих записках, которые он вел о жизни современных художников и в особенности своего учителя.

Много евреев, в частности еврейская знать только теперь имели мужество оценить выдающиеся качества Реубени. Ведь знаменитый Микель Анджело подал им пример. И потому было уже не так неприлично полусуто, полусерьезно — называть замечательного чужеземца вторым Моисеем.

XII

— Если вы намерены сделать решительный шаг, то сейчас самое подходящее время!

Человек, говоривший это Реубени, уже неоднократно заводил с ним беседу, когда приходилось дожидаться в папских канцеляриях. Этот флорентинец был уже пожилым мужчиной и называл себя «статс-секретарем», а иногда даже «канцлером», так как когда-то, давно, действительно занимал такой пост. Но сейчас это был безработный и не особенно популярный писатель (историк и сочинитель ученых комедий), написавший недавно по поручению папы «Историю Флоренции». Для того, чтобы передать манускрипт этой истории, он прибыл

в Рим, надеясь получить какое-нибудь дипломатическое поручение или хотя бы незначительный пост, связанный с политической деятельностью, которая занимала все его помыслы. Однако явные и тайные враги, которых у него было много, мешали его успеху так же, как и успеху сара. Папа милостиво принял его, но на ходатайство его не давал ответа. Так как им обоим часто приходилось бывать в одних и тех же учреждениях, то они познакомились и в долгие часы ожидания расхаживали вместе по бесконечным коридорам Ватикана.

Секретарь дал сару для прочтения некоторые из своих произведений, которые пока имелись только в рукописи, много раз переделанный труд «De principatibus» и обширные «Исследования о первых десяти книгах Тита Ливия». Возвращая ему эти книги, Реубени сказал, что теперь он понимает, почему Николо Маккиавелли — так звали секретаря — пользуется самой скверной репутацией и почему его все избегают, хотя он только честно советовал то, что многие монархи и правительства знали и делали с давних пор: дурное. Но тем самым он погрешил против одного из своих основных принципов, согласно коему монарх (при чем это одинаково обязательно и для всякого общественного деятеля, в том числе и для писателя) должен прилагать все старания к тому, чтобы казаться хорошим, совершенно независимо от того, каков он в действительности.

— Вы, мессер Николо, сами, может быть, хороший человек, но своими писаниями прославили себя как самого порочного человека и богохульника.

После этого разговора Маккиавелли считал сара «посвященным», относился к нему с известным почтением, насколько это было возможно при его ироническом и озлобленном направлении ума. И на этот раз, советуя

сделать решительный шаг теперь или никогда, он говорил это полушутя, полусерьезно, с безобразной улыбкой, которая широко раздвинула на гладко выбритом лице фокусника его без того широкий рот с отвисающей нижней губой. Это лицо, синевато-бледное, меланхолическое, казалось бы незначительным и каким-то безвольным, если бы не резко выделяющийся длинный нос. Этот римский нос превращал его в карикатуру на Юлия Цезаря.

— Я полагаю, что вам следует приняться за дело, потому что сейчас покушение и история с «Моисеем» расположили всех в вашу пользу.

Реубени вспыхнул.

— Ведь все это ложь, все это страшно преувеличено. Микель Анджело видел меня всего один раз, и всем разумным людям должно быть ясно, что он лепил свою статую много лет и хотел изобразить того великого папу, на могиле которого она должна стоять в виде памятника, или делал ее, повинувшись своему собственному гневному воображению.

— Пускай так, но ведь не в том дело, что думают разумные люди. Чернь всегда руководствуется успехами и слухами, а весь мир—это чернь.

— Этому я не верю. Вы слишком презираете людей. Бывают и хорошие люди, и иногда их дела венчаются успехом.

— Этого я никогда не отрицал. Я только сказал, что человек, который всегда желал бы делать хорошее, должен погибнуть среди множества людей, которые дурны. Поэтому правитель, желающий проявить себя,—а вы находитесь именно в этом положении,—должен уметь поступать дурно, т.-е. совершать хорошие поступки или отказываться от них в зависимости от обстоятельств: быть то человеком, то снова животным.

Это и имели в виду древние, когда они в качестве воспитателя для монарха избрали кентавра Хирона—получеловека, полуживотное.

Реубени отступил на шаг.

— Хладнокровие, с которым вы все это говорите, осуждает высказанное вами мнение. Может быть, это и правильно, но нельзя с таким легкомыслием преподносить и применять это. Я могу, хотя и с трудом, представить себе, что человек, который испытывал тысячи мук, полуобезумев от отчаяния, вопреки своей доброй воле, как бы со скрежетом зубным решается на дурное дело, потому что иначе ничего сделать не может, потому что он находится в положении, когда приходится служить богу обоими побуждениями—хорошим и дурным. Я могу себе представить, что такой человек оправдывается перед своей собственной совестью, потому что он страдает, потому что дурное дело, которое он начинает, больше всего причиняет боль ему самому. Может быть, так должно быть...

— Я никогда не говорю о том, что надо,—прервал его Маккиавелли брызжащим, педантичным голосом.— Я говорю о том, что есть. Я основываюсь на исследованиях, которыми я занимаюсь уже несколько десятков лет, на опыте истории древних времен и моего времени. Я никогда не руководствуюсь фантазией. Многие изображали республики и государства в том виде, как они существуют только в их воображении. Я же, например, когда был в Лукке, собирал сведения о прежнем властителе этого города, Кастручио Кастракани. На этих сведениях и на подлинной природе событий я и основываюсь, а не на философских системах. Одно единственное слово этого человека говорит мне больше, нежели все прекрасные речи, которыми Данте возвещал о будущем мирном государстве. Вот эти слова

моего Кастракани: «Бог любит сильных, это видно из того, что он всегда наказывает слабых через посредство сильных».

Секретарь улыбнулся сладенькой улыбкой, словно попробовал кончиком языка какое-то очень вкусное блюдо.

— Или, например, другое его изречение: «Я никогда не пытался победить силой, когда мог победить обманом, ибо только победа, а не искусство побеждать доставляет славу».

Сар взглянул на него с огорчением.

— В том-то и дело, что вы в глубине своего сердца любите этих злодеев, которых вы венчаете вашим двусмысленным словом *virtù*. А для меня отвратительна эта геройски преступная доблесть. Она может быть допущена только как принудительный выход из положения.

— Такова уже жизнь! ничего не поделаешь!—горячо уверял Маккиавелли, словно его собственная жизнь была поставлена на карту.

— Нет, это только маленькая частица жизни и пока еще не лучшая,—ответил сар грустным, но решительным тоном, свидетельствующим, что он не менее упорно, чем секретарь, думал над этим вопросом.—Поверьте, к этому надо подходить гораздо осторожней. Вот вам пример: вы говорите о вашем Кастракани так, словно побеждать обманом нехорошо, но побеждать силой не представляет собою ничего плохого. Но разве всякая война, с ее насилием и убийствами, разве всякое убийство человека или животного не является самым большим злом, какое только можно придумать?

— Вы имеете в виду открытую, честную войну?—спросил Маккиавелли, недоверчиво покачивая головой.

— Да, открытую, честную войну.

— Но где же тогда будут геройство, честь, мужество, подвиги Фемистокла, Эпаминонда, Александра и Сципиона?

— Все это имеет второстепенное значение, в сущности, дело идет совсем о другом.

— И это говорите вы, воин, желающий вооружить евреев и собирающийся отправиться вместе с ними в поход против турок!

Уже и раньше они неоднократно резко спорили в своих беседах. Но на этот раз разговор незаметно зашел глубже. Реубени не любил пререканий и обычно не говорил ни о чем, кроме того, что непосредственно было связано с его дипломатическим поручением и в чем он усматривал поддержку для своей миссии. Но секретарь поймал его как раз на этом пункте, ловко переводя теоретический спор на предполагавшуюся войну с турками. Реубени не мог отступить.

Бесполезно прождав и на этот раз, они вместе вышли из Ватикана. Не переставая спорить, они дошли до Тибра. Зимний ветер гнал его желто-зеленые волны. Они переѣхали через мост св. Ангела и прошли мимо Пантеона **через** весь город.

— Взгляните, мессер Николо! Рим остался прекрасен даже без когорт. А мой народ! Нужда его обезобразила: люди стали маленького роста, с большими головами, с узкой грудью, искривленные, пугливые, больные. Редко когда в них бьется старый источник радости жизни, красоты Израиля. Так вот, понимаете, когда в таком тяжелом положении, почти накануне гибели, не брезгаешь никакими средствами, даже самыми грешными, когда в борьбе со смертью хватаешься за оружие...

— А разве Италия не борется со смертью? Разве не громят ее варвары, разве не умоляет она бога о

спасении? Вас среди ваших называют Мессией. Мы уже тоже несколько столетий как ищем Мессию.

— У вас есть свое государство, вы не рассеяны, вы находитесь на своем месте,—жаловался Реубени.

Но Маккиавелли не слушал его и продолжал:

— Мы надеялись найти Мессию в лице Кан Гранде, в лице Кола ди-Риенци, Владислава неаполитанского, Карла французского. Я сам считал таким—цезаря Борджиа, а впоследствии нашего Марса под тиарой—папу Юлия, с которого Микель Анджело лепил Моисея. Все это потерпело неудачу. Фортуна не пожелала. Или, может быть, причина в том, что герои эти были сильными и дурными людьми, но все же недостаточно дурными?

Где Реубени уже слышал такие слова? Призраком пробегают они в туманах Кампаньи. Облекаются в определенную форму, снова всплывают: «Тайна великого дракона, лежащего на потоках»,—доносится издали голос привратника Герзона.

— И разве такая война, война за объединение Италии, по-вашему, не является самым возвышенным велением, не должна вестись всеми средствами, хотя бы самыми жестокими?—закончил свою речь секретарь.

Реубени не хотелось, повидимому, спорить с разгорячившимся противником; он желал высвободиться из сплетения доводов и возражений, которыми опутывал его Маккиавелли.

— Вы уклоняетесь,—наступал на него секретарь.—Защищать и охранять эту красоту—и является целью моей войны. Это сильно действующее лечебное средство против одряхления Италии.

И Реубени внезапно почувствовал, как его выманивают с прочной позиции, нападают на него сзади. Он сказал последнее, что ему еще осталось сказать:

— Вы рекомендуете зло, и совесть у вас при этом спокойна. А я делаю то же самое, но с угрызением совести. Делаю это, но одновременно хочу ограничить зло. Можете считать это великим или мелочным. Но, по всей вероятности, это единственная возможность.

Голос его упал, он с трудом переводил дыхание и едва мог продолжать свою речь.

— Вы сами знаете, что вы сейчас сказали сущую нелепость, мессер Реубени. Ограничить зло? Ведь оно требует от нас всего, всего. И если разжигать его умеренностью и комическими угрызениями совести, то получатся самые печальные последствия. В своей книге о Тите Ливии я очень обстоятельно это доказал: «Римляне всегда избегали золотой середины. Покоренным городам они предоставляли права гражданства или совершенно уничтожали их. Если бы они их щадили, то им пришлось бы иметь дело с бесконечным рядом восстаний. Нет ничего более вредного, чем умеренность и золотая середина. И ничто не свидетельствует так явственно о неблагородной, ничтожной душе».

Реубени казалось, что дорога, которая вела в бесконечность, высасывает у него все силы. Ноги его еще двигались впотьмах, но еле-еле, и он ощущал какую-то беспредельную слабость! Это старый исконный враг — это Рим, строящий дороги и разрушивший Иерусалим. В его представлении все спуталось. Вот бесконечная вереница красивых еврейских рабов. Они воздвигли Колизей — под кнутом Рима, теперь их уведут. И он среди них — их уведут навсегда, распыляют по колониям нижней Италии.

— Нет, этого не может быть, — с трудом выговорил он и искал какого-нибудь факта, хотя бы такого, в котором ему строго-настрою запрещено признаваться, лишь бы хоть на момент снять с себя эту тяжесть. — Допустим, человеку приходится украсть у родной ма-

тери, отнять у нее деньги, с трудом заработанные в течение десятилетий. Это можно потому, что так требует призрак спасения, показавшийся вдали, призрак спасения гибнущей души и спасения народа. И вот шкатулка взломана, в руках свертки с деньгами, кошельки. Что можно взять отсюда? Только самое необходимое, лишь столько, чтобы хватило на дорогу? Или же надо просто уступить злу и жестоко забрать все?

— Все, все!—И легким жестом Маккиавелли подтвердил, что и в данном случае умеренность неуместна, что она бессмысленна, мслочна.

«А что, если этот упрек в мелочности есть коварная змея, подосланная дьяволом?..»

Они повернули назад и пошли по направлению к Риму, потом снова пошли обратно. Давид уже не сознавал, сколько часов они так бродили. Но вдруг он почувствовал, как секретарь прочно уселся у него на груди, оседлал его, направлял его туда, куда хотел. Неужели он совершенно выдал себя?

— Не годится,—поучал Маккиавелли,—быть мягко-сердечным, когда стремишься к великому. Мягкость есть лишь остаток испорченной крови, которую благородные души стараются возможно скорей выпустить из жил. Признайтесь же, наконец, что вы меня понимаете! Более того—что никто не может лучше вас подтвердить мое учение о приобретении новых государств. Вы находитесь в хорошем обществе. Я уже ссылался в моем произведении на Моисея, Кира, Ромула, Тезея. И я называю также и Реубени среди тех, кто, благодаря счастью или собственным заслугам, из простых людей стал монархом. Признайтесь,—я уже давно это знаю,—что всю вашу миссию вы просто выдумали, все это княжество Хабор—для того, чтобы создать себе княжество среди евреев Европы. Ведь если бы это государство

Хабор действительно существовало, то за три-четыре года, с тех пор как вы уехали оттуда, вслед за вами прибыл бы сюда какой-нибудь курьер или новое посольство. Разве оставляют своего принца в одиночестве в течение многих лет? И потом еще другое: у папы и кардиналов вы всегда появляетесь с переводчиком, словно вы знаете только язык той далекой страны, а со мною и с другими, в интимном кругу, вы говорите на чистейшем латинском языке и на родном наречии вы изъясняетесь тоже весьма прворно.

Реубени остановился. Он вдруг почувствовал прочную почву под ногами. Сразу рассеялись все фантазии и слабосильные видения, окружавшие его вместе с туманом Кампаны. Он понял, что едва не стал жертвой демонической силы убеждения Маккиавелли. Непосредственное нападение не поколебало его, а, наоборот, разбудило и вернуло ему самособладание. Он подошел к самому краю бездны — но зато к нему вернулось зрение.

— Вы еще сравнительно недавно в Риме,—сказал он совершенно спокойно,—и не знаете, что вначале я действительно говорил только на своем родном языке. Все остальное, что вы сказали о моем посольстве, я оставляю без внимания, иначе мне пришлось бы заколоть вас здесь же, на месте. Знайте лишь одно, что язык вашей страны я изучал постепенно, и за последнее время я уже обхожусь без переводчика и у его святейшества и у кардиналов.

Маккиавелли с изумлением видел, что его собеседник ускользает от него.

— Вы не доверяете мне?—плаксивым тоном спросил он и сделал оскорбленное лицо, как кокетливая женщина, которая считает себя обиженной.

Сар весело рассмеялся. У него было такое ощущение, словно он освободился от чар колдовства. Теперь, когда

они стояли, шаги их не отдавались гулко во тьме. Да, всему виной равномерное цокание сапог по каменным плитам, эти однообразные звуки обволакивали магическим сном его мозг. Теперь среди внезапной тишины были слышны только успокаивающие звуки природы. Тихий шум листьев, доносившийся издали, блеяние овец, где-то звеневший колокольчик, где-то раздавшийся крик... Реубени вздохнул с чувством облегчения. Когда они снова двинулись в путь, он сказал:

— Как можно вам доверять—при ваших принципах!

— Моя бедность есть лучшее доказательство моей честности,—сказал Маккиавелли; вся тяжесть, которая только что обременяла сара, казалось, упала на него.

Сар чувствовал себя все более непринужденно.

— В таком случае, вы не следуете собственному учению. Но кто поручится, что современем вы не станете вашим лучшим учеником! А так как вы считаете допустимым и естественным применять насилие и хитрость для достижения всякой выгоды, — то кто же поручится, что вы не шепнете на ухо какому-нибудь папскому чиновнику то, что я доверяю вам, как тайну. Ведь, может быть, таким образом вы приобретете его благосклонность.

Секретарь насторожился. Он, повидимому, только теперь заметил, что Реубени шутит. Он злобно хихикнул в знак одобрения. Теперь и он согнал с себя наваждение. Потому что он тоже был словно зачарован, пока они шагали по дороге. Что случилось с ним, почему он так яростно убеждал своего собеседника, почему старался привлечь его на свою сторону? Какой чуждый ему дух говорил здесь за него? Прищуриваясь, глядел он на огоньки остерии, к которой они опять приближались, и покачивал головой. Мысли, которым отдаешь всю жизнь, иногда не подчиняются вашей воле

и похожи на воду в открытом сосуде, когда его неловко несут. А вода, если придет в движение, непременно прольется через край, сколько бы вы тут ни старались... И он сразу осознал, как бессмысленно было стремиться кого-нибудь убедить. Лучше бы он заболел о том, чтобы у него у самого все было в порядке. Но все то новое, никем еще не продуманное, что должно было впервые перебродить именно у него в голове и быть высказано им, давило и мучило его всеми муками духовного рождения. Неудивительно, если ему хотелось облегчить себя, особенно когда он натолкнулся на человека, которого считал более или менее близким себе по духу.

Реубени почувствовал, что он был сейчас несправедлив по отношению к великому, недостаточно оцененному человеку.

— Простите,—сказал он и подал ему руку.—Вы как-то сказали, что у нас есть общий враг — Испания — и что мы должны быть друзьями и союзниками. Так будем же ими...

Секретарь подал только два пальца.

— Друзьями? в лучшем случае союзниками до тех пор, пока нам это обоим выгодно. Не забывайте моего учения.

И тут они оба громко расхохотались. Это был великий, освобождающий хохот двух сильных людей...

Они подошли к остерии.

— Зайдемте!

Реубени отказался.

— В таком случае, не пеняйте, если я предоставлю вам идти одному обратно в Рим.

Реубени остался один. Какой ужасной опасности он избежал! Он еще долго бродил у ворот Себастьяна и по термам Каракаллы. Он все еще не мог успокоиться.

Он был счастлив. Сейчас победил соблазн, представший в виде окрыленного острым умом мужчины, соблазн не менее опасный, чем искушение женской красоты. Маккиавелли, Дина—оба они старались проникнуть в его доверие, и обоих их он отразил. «О боже, ты сберег меня—не дал разрушить мое дело неразумием». Он ощущал свою избранность и величие своей задачи. Все это сразу перестало быть для него бременем. С утренним ветерком к нему вернулась сила, вместе с легким ароматом зимней травы, с последним голубоватым мерцанием звезды, легко угасавшей над его головой.

Солнце взошло. Он повернулся к востоку и смиренным шепотом стал читать слова утренней молитвы.

XIII

В таком состоянии его застали его верные ученики.

Они были взволнованы тем, что он всю ночь не возвращался домой. Многие думали, что он стал жертвой нового нападения. Во всех направлениях были разосланы отряды его «лейб-гвардии». Велика была радость тех, кому выпало на долю счастье сопровождать потом учителя в город. Некоторые уже с тупой покорностью были готовы примириться с наихудшим. Увидя его, они закричали дикими голосами, словно теперь лишь осознали, какая непоправимая потеря угрожала им.

Его любимый ученик, Элиагу бен-Якоб, со слезами на глазах поцеловал ему руку. Когда они несколько успокоились оказалось, что у них масса новостей... От синьоры Бенвениды Абрабанель, самой уважаемой еврейской дамы в Неаполе, вчера прибыли посланцы с двенадцатью знаменами, богато затканными золотом, по одному знамени на каждое колено Израилево. И в добавление к этому она прислала еще крупную сумму денег.

Тем самым жена известного своей ученостью и олагодворительностью Абрабанеля, финансового советника при дворе короля неаполитанского, открыто становилась на сторону Реубени,—событие, которое должно был увлечь всех, кто еще колебался.

Было ясное утро, деревья стояли залитые солнцем, когда они толпою подходили к городу. Все были счастливы, что с ними их любимый учитель.

Улица, такая пустынная ночью, снова сильно оживилась. Повозки на высоких колесах, запряженные волами, поднимали облака пыли.

У молодого Элиагу была сегодня особая просьба. На самом краю дороги, в жалкой хижине, покрытой кукурузной соломой, приютилась еврейская семья прибывшая из Германии. Мужчина с тремя дочерьми и старым глухонемым слугою. Они остановились здесь на пути в святую землю. Старшая дочь схватила в Риме упорную лихорадку, которая сменилась состоянием оцепенения, похожим на сон. Паломники не могли продолжать свой путь. Уже неоднократно отец больной приходил в дом сара, умоляя его оказать чудодейственную помощь. Но никто не решался доложить об этой просьбе, — тем более, что было совершенно невозможно доставить больную девушку в дом Реубени, так как каждое движение усиливало ее боли. Пришлось бы заставить самого Реубени пойти в хижину. А тут, когда случайно они проходили как раз мимо...

— Хорошо, я сделаю это,—сказал Реубени. Чувство благодарности придавало ему силу, которой он никогда не ощущал в себе раньше. Ему всегда казалось святотатством, когда, уступая настояниям народа, он испытывал судьбу своими исцелениями. Но сегодня его прямо толкало на исцеляющий подвиг: «Здесь нет никакого святотатства. Я силен. Со мною бог».

Они вошли в хижину. Темная передняя, заполненная всяким хламом. Оловянная посуда с шумом покатилась с полки. Дальше — комната, тоже плохо освещенная. Сквозь единственное окно, завешенное тряпками, скудный утренний свет падал на кровать, в которой лежала бледная девушка.

Истерический выкрик. Отец только теперь заметил вошедшего. Пал к его ногам.

— Господин, господин—она умерла час тому назад. Рядом с отцом плакали, упав на колени, двое детей. В темном углу, согнувшись, сидел слуга.

Реубени подошел к кровати, взглянул на девушку и взял ее за руку.

— Дочь твоя не умерла, — тихо сказал он, — она спит.

В тот же момент тело вздрогнуло, побледневшие уста зашевелились, девушка медленно открыла глаза и, словно поднятая рукой Реубени, выпрямилась на подушках, слегка повернув голову к стене, словно испытывая страх или какой-то стыд.

В комнате царила глубочайшая тишина, никто не решился сказать ни слова, словно боясь помешать чуду, которое совершалось на глазах у всех.

«Да будет благословен пробуждающий из мертвых».

Никто не произнес этого благословения, но у всех оно мелькнуло в голове.

И Реубени — повелитель над жизнью и смертью — он тоже повернулся лицом к стене. Но его широко распростертые руки показывали, что он глубоко переводит дыхание и испытывает какое-то нечеловеческое ощущение силы... Больше возвыситься он не мог. Нельзя было ему самому более отчетливо доказать, что он призван быть спасителем народа.

— Ты Мессия, — торжественно произнес Элиагу бен-Якоб.

Как тогда старый Герзон — на галлерее башни...

За спиной Реубени уже нередко это говорили. А женщины, дети и помешанные не раз кричали ему это в лицо. Но это не имело значения. А теперь впервые то же самое публично говорит рассудительный человек, говорит в присутствии учителя и учеников. Что ответит он? Все молчат, затаив дыхание. Взоры всех устремлены на него. И из его уст готово вырваться великое признание: «Ты сказал это».

Но одно мгновение он еще медлит произнести эти слова.

И вдруг в тишину врывается какой-то звук, словно рычание собаки. Что это, человек или животное?.. Слуга вылез из угла, упал на колени перед Реубени, целует край его плаща. Какая радость — на минуту он умолкает, глядит на него, не может оторвать глаз — ни одно слово не в состоянии вырваться из его рта, хотя дико шевелятся ярко-красные толстые губы, словно они желают выплюнуть самих себя и все содержимое рта. Но вслед за тем голос начинает снова греметь, все сильнее, звуки сливаются в один протяжный резкий крик — как тогда, в железной лавке матери.

Они узнали друг друга — и этим скованы оба: господин и слуга. Нет никакого сомнения, это он! Через моря и горы, через долгие четырнадцать, богатых событиями лет пришел он — вестник из незабвенной страны юности.

Это он — Тувия, глухонемой слуга из родительского дома в Праге.

Все смотрят на него, как на бесноватого. Неужели Реубени сотворит новое чудо, изгонит из него беса так же, как он пробудил от смерти девушку?

Но сар, который только что был повелителем, теперь дрожит всем телом. Он не может стоять на ногах.

У него хватает только силы дать рукою знак, чтобы все вышли. Все! Он хочет остаться наедине со слугою. Или с бесом, который сидит в слуге. — И ученики вместе с пришельцами из Германии выходят в переднюю, даже выносят девушку с постелью. Она жива и не чувствует больше боли.

Они остаются вдвоем.

Слуга кивает головою, хватает Давида за руку, целует ее.

Буквы, начертанные углем, пляшут на стене, как тогда. Тогда слуга написал одно только слово: «Сумасшедший». Теперь он пишет все, что хочет сказать.

«Отправился с Краликом в Иерусалим. Кралик умер. Подобрали чужие люди. В Вене. Тоже хотят в Иерусалим».

И смотрит на него глупо доверчивым взглядом. Тувия с еврейской улицы в Праге. Он видит перед собою Давида Лемеля и никого больше. О Реубени он ничего не слышал — ведь он глухой. Живет в Риме уже несколько недель и ничего не знает, так как никто не дает себе труда объяснить ему. Не слышал даже святотатственных слов о Мессии, которые только что были сказаны здесь. Совершенно не представляет себе, что он стоит перед пророком или, может быть, даже самим Мессией. Для него Давид, несмотря на длинную бороду, бурнус и тюрбан, остается маленьким Давидом, которого он еще носил на руках, Давидом Лемелем, не сыном царя Соломона, из Хавора, не братом Иосифа, а именно Давидом Лемелем, сыном Самсона Лемеля, который пишет стихи для тфилен на еврейской улице в Праге.

Давида охватывает жуткий страх, он вырывает у него уголь и пишет сам: «Отец».

Ответ он знал уже наперед, уже первая буква говорит все: «у».

Давид Реубени, который только что был властителем жизни и смерти, спасителем народа, видит себя побежденным смертью. Какое унижение! В один момент рушится все, что создала безумная фантазия!

Тебя превозносили за пробуждение мертвых! Так пробуди же его, пробуди!

Хвала истинному судье!

Давид видит перед собой отца, безупречного ученого, святого человека, который никогда ничего не делал иначе как во исполнение заповеди учения. Давид не решается поднять глаза. Да будет память его — память праведника — благословением нам.

«А мать?»

О матери Давид даже не решается спросить. Но ведь совершенно ясно. Иначе почему бы Тувия оказался на службе у чужих людей, почему он пошел к ювелиру Кралику? Разумеется, только потому, что дом опустел и все умерли.

Как жутко ему, как страстно хочется увидеть мать! Стакой силой нахлынуло на него это желание, что он способен забыть все, что свершилось с тех пор, если бы только было возможно взять—вот сейчас—мать за руку...

Он не спрашивает дальше и словно для того, чтобы уклониться от беседы, пишет на стене еще имя Голудного Учителя: «Гиршль».

Важно покачивая лысой головой, Тувия снова пишет: «умер». Ведь Гиршль был еретиком, и эта глупая, тупая «совесть народа» еще и после смерти негодует на него, с удовольствием свидетельствует о справедливом наказании, постигшем отщепенца.

Но почему не останавливается рука? ведь он больше ни о чем не спрашивает. Но рука все пишет дальше спокойно, бесчувственно. Ее нельзя остановить, нельзя не понять того, что она пишет. «Мать тоже умерла».

Давид вскрикивает. Ученики просовывают головы в дверь. «Нет, нет, нельзя».

Отец и мать умерли. Иначе не могло быть. Мать на одре смерти — такая, какой он видел ее в последний раз при прощании, в ее спальне. Бледный месяц бросает свои лучи на подушку — маленькое лицо, озабоченное, неподвижное, бледное, как лицо чужой девушки, которая только что лежала здесь. Но тогда он не разбудил, тогда не мог сказать: «Девушка не умерла, а спит». И не мог разбудить обремененную заботами, всю жизнь не знавшую ничего, кроме забот, так редко улыбающуюся. Если бы она его увидела перед собой в тот момент, переодетого, готового для путешествия, — она бы навсегда перестала улыбаться. И Давид сразу чувствует себя низвергнутым с трона, ему кажется, что он гибнет в пучине наводнения, заливающего долину между гор, где ветер и дождь свистят вокруг елей. О позор, позор! И тогда и сейчас! Ничего не изменилось. Отец и мать умерли, — а чего он достиг? И он горько спрашивает себя: неужели это единственный успех за все четырнадцать лет, которые он провел в нечеловеческих усилиях?

И как тогда, четырнадцать лет тому назад, он снова стоит на лестнице, с которой не может сойти, потому что головокружение словно железными когтями вцепилось в него.

Он двинулся в путь Мессией, а возвращается разоблаченным авантюристом.

Он чувствует, как им тихо овладевает бессилье, надвигается огромная волна, которая без шума и пены похоронит его в своем мягком зеленом потоке. Он опирается о край стола. В этот момент, прежде чем он лишается сознания, в его мозгу снова быстро пробегают все воспоминания.

Побег из предательского постоянного двора, из холодной, залитой водою долины, над которой носился призрак смерти. К южному морю, к Вест-Индии. Четырнадцать лет безумно трудных путешествий на море и на суше, сначала слугой, потом купцом, потом вождем воинственного отряда кочевников — путешествия и опасность совсем такие, о каких он когда-то ребенком читал в книгах Гиршля. Но теперь это не книга, а действительность. Мужеством и беспощадным, суровым трудом добыто то, чего нельзя получить хитростями, выклянчиванием и разными уловками: красота Иафета в шатрах Сима, власть и сила. Не было мук, которым бы он не подвергал свое тело. Голод, бессонница, морские бури и вихри в пустыне, жгучее солнце, дочерна изжегшее ему лицо, нападения, стычки и постоянная угроза смерти. На португальском корабле он попадает в Персию, пробирается через Тигр и Ефрат в пустыни Аравии. Он ищет десять затерявшихся племен, свободное отечество. И царство Хабора — он находит его, это не сон, — но почему возлюбленные братья окружают его как врага, почему метание копий, почему темница и истязания и неделями тянувшийся путь по пустыне? Никто не говорит ему ни слова, никто ничего не объясняет. И все же это время, проведенное среди недружелюбных друзей, кажется ему чудом из чудес. Он видит царя, семьдесят старейшин, еврейское войско, организованное в отряды, сверкающее шлемами, и знамя, которое гордо и независимо реет в воздухе... Нет, нет, никто не давал ему поручения отправиться от имени еврейского царя к папе — и тем не менее, правда все, что он говорит: существует такой царь Иосиф, существует мощное свободное государство, — он только высказывает невысказанные слова далеких героев, он от их имени продумывает то, о чем они не решаются

подумать, и даже стал исполнять это, ибо пришло уже время, и близок конец.

И нужно же было ему в последний момент пройти по римской дороге, зайти в эту хижину для исцеления, к которому его обычно никогда не влекло. А теперь повлекло — на гибель.

Давид пробуждается среди глубокой тьмы. Ученики стоят вокруг него, поднимают его с земли.

Он почти не видит, не замечает их. Видит только Тувия, который тоже возится около него. Чего он хочет, предатель? Ищет доказательств в его карманах, пока он неспособен к сопротивлению? Вот сейчас он все раскроет, начертит огненными буквами на стене древнее изречение: «Сосчитан, взвешен».

Нет, нет, не найден слишком легким. Хотя узким, темным умам никогда не понять, даже если им возвестят это с неба, все же Давид отчетливо сознает, что нет другого пути для спасения народа, кроме того опасного и позорного пути, на котором его каждое мгновение ждет гибель и по которому он пошел в полном сознании зла и опасности. Тувия не поймет, а Маккиавелли понял бы! Сильное лекарство, которое одно только может помочь смертельно больному...

Воспоминания о резких и, в сущности, бодрящих словах, которые он слышал этой ночью, окончательно возвращают его к жизни.

Он подымается, ученики отступают.

Его взор ищет Тувия. Этому единственному свидетелю нужно заткнуть рот. Кто решится упрекнуть его — повелителя над жизнью и смертью, если он убьет одержимого бесом! Другого выхода нет.....

Но Тувия спокойно и скромно стоит в своем углу.

Он занят тем, что стирает тряпкой следы угля со стены. Делает ли он это из любви к порядку или от вне-

запного прояснения сознания, что надпись на стене может повредить его господину,—во всяком случае, это спасает ему жизнь.

Подавленный сар собирается уходить. Окружающие принимают это за смирение. Ведь он всегда протестовал, когда прославляли его чудеса. Взгляните на истинного праведника: он почти в сокрушении покидает то место, где проявилось его величие, а теперь он даже плачет. Обнимает старого оборванного слугу, не может оторваться от него.

— Отдайте мне вашего слугу, я откупаю его у вас,—обращается он к отцу воскрешенной им девушки.

Оказывается, что Тувия сам, без спросу присоединился к их семье и живет без жалованья, почти исключительно на подаяния. Никто не знает, откуда он родом, никто не умеет объясняться с ним. Ум у него помрачен. И ум и язык отказываются ему служить. Одно только он сумел объяснить паломникам: что стремится попасть в Иерусалим. Каждый раз, когда в молитве произносятся определенные слова, он с жалобной просьбой протягивает к ним руки, — потому-то они и взяли его с собой. Если сар желает взять на себя заботу о несчастном глупце, они будут только признательны ему...

«А я еще боялся, что он предаст меня! Этот полумный старик, на которого никто не обратил бы внимания!»

Реубени опускает голову, словно склоняясь перед высшей силой. Желтые искры сверкают в его глазах, морщится складка у губ, словно закрывая, запечатывая углы рта. Он выходит один. Ученики, к которым присоединяется Тувия, идут далеко позади.

Как мало отделяет нас от преступления безмерного и бессмысленного. А тут еще болтают, что можно ограничить грех! Достаточно одного шага — и мы в его власти.

26 февраля 1525 года в Рим пришли первые вести о сражении под Падуйей. Король французский в плену, армия его разбита! Немцы и испанцы стали господами Италии. За несколько часов окончательно и навсегда решился исход кампании, которая тянулась годами, с переменным успехом.

Известие подтвердилось. Неистовее, чем когда-либо, раздавался на улицах Рима радостный клич гибелинов: «Да здравствует империя! Да здравствует Испания! Да здравствует Колонна!» Папа и его окружающие сначала не могли поверить, что наступил великий час, которого они давно ожидали, час победы или гибели. Но и теперь еще Климент не мог принять решения. Он сам не знал, чего он ждет. Но он ждал. «Папа словно омертвел», — доносил венецианский посол своему правительству.

Но для планов Реубени наступил благоприятный момент. Преобладающее положение императора было так прочно, что нельзя было отдавать в его руки и в распоряжение его инквизиции еще и Португалию. Те, кто в римской курии поощрял миссию Реубени, внезапно взяли верх и от посла Португалии с большей настойчивостью, нежели раньше, потребовали выдачи паспортов и сопроводительных грамот.

Реубени сам словно пробудился от крепкого сна. Он пришел к убеждению, что был слишком снисходителен к себе. Какое право имел он ограничиваться только применением благородных и чистых средств? Почему не использовать одновременно и более грубое, менее достойное оружие, раз на карту поставлено все, раз его попытка так невероятна — так блестяща, в случае удачи и так жалка в своем обмане, в случае если она прежде-

временно сорвется! Почва, по которой он шел, могла в любой момент разверзнуться и поглотить его.

А между тем...

...Общение с самыми привлекательными в духовном отношении, с самыми влиятельными людьми мирового города первоначально, конечно, служило ему только средством, чтобы ускорить осуществление его плана, но что, если приятность этого общения постепенно заманивала его, отвлекала от его задачи! Эта мысль пугала его. Он обвинял себя в медлительности, в мягкотелости. Не было такого низменного средства, которым он был бы в праве пренебрегать. Не следовало пренебрегать и планом Дины, предложившей позорный подкуп, стародавнее хитрое попросаиничество, которое применял староста пражской общины Элия Мунка, когда этого требовало бедственное положение общины.

Сар решительно страхнул с себя бездеятельность. Раньше он сам не сознавал ее. Он почувствовал ее только потом, все равно как иногда утром с неприятным ощущением вспоминаешь о сне, который видел ночью. Но теперь, с наступлением дня, ему улыбалось счастье в своих непостижимых сочетаниях. Уже битва под Падуйей резко изменила положение. А теперь, в дополнение к этому, благодаря случайным обстоятельствам, на которые Реубени не мог оказать ни малейшего влияния, был отозван строгий дон Мигуэль, и его место занял другой посланник, который легкомысленно относился ко всему этому делу и думал не столько о возможности бунта со стороны марранов, сколько о том, как услужить некоторым монсиньорам, которые обратились к нему с просьбой о содействии. А эти монсиньоры получили деньги, переданные им старостой Обадией де-Сфорно через надежных посредников. Реубени получил эти суммы от Сфорно благодаря Дине, предло-

жение которой он еще недавно пренебрежительно отверг.

Ей он ничего не объяснил. Сказал только, что теперь он принимает ее предложение.

Девушка повиновалась робко и почтительно.

Пути, которые вели к цели, действительно были запутаны и в достаточной мере нечисты.

Реубени теперь очень быстро получил паспорта для себя и для своей свиты. И не только паспорта — но и пригласительное письмо португальского короля, написанное в очень сердечном тоне, при чем король выражал свою радость по поводу того, что он может приветствовать у себя знаменитого еврейского посла. Оказалось, что это письмо уже несколько месяцев, как лежало в посольстве. Дон Мигуэль по собственному произволу не отдавал его сару.

На прощальной аудиенции папа подарил ему платье из красной парчи, вытканной в Дамаске.

— Будь силен и мужествен, — сказал ему слабый и робкий Климент, словно поручал ему дело, которое считал для себя непосильным. — Не бойся ничего, бог с тобой.

Реубени взглянул на Лаокоона. Змеи не казались ему такими страшными, как раньше.

Вскоре парусник «Царь Иосиф» отплыл в море под звуки труб. Рядом с белым знаменем с четырьмя золотыми буквами развевались знамена двенадцати колен, пожертвованные синьорой Абрабанель.

Многие знатные римские евреи провожали сару. Поехали вместе с ним через Витербо, Сиену и Пизу. Они стояли на пристани в Ливорно и глядели вслед уходящему кораблю.

Среди них и даже во всей Италии не было, за исключением Мантино и немногих его приверженцев,

ни одного еврея, которому бы не казалось, что этот парус, слившийся на горизонте с серым небесным сводом, несет с собою все надежды Израиля.

XV

Сантарем.

Перед окнами Реубени расстилался старый город, расположенный на горе и увенчанный Алькасабой, полуразрушенным мавританским замком.

Из дворца тамплиеров, в котором поселил его король Иоанн, сар видит с левой стороны расстилающуюся плодородную равнину, через которую широкой золотой лентой протекает река Тейо. Холмы на берегах реки покрыты тысячами оливковых деревьев, словно зелено-золотистым дымком. Ветер, доносящийся сюда с моря, никогда не дает покоя этим деревьям. Каждый раз, когда он с силой набегает на них, их узкие листья сверкают серебром.

Медленно плывут плоскодонные парусники вниз по Тейо, осторожно минуя песочные отмели, которых так много на реке.

Горячее осеннее солнце сияет на красных кирпичных крышах, купающихся в охлаждающейся тени фруктовых садов и кипарисовых рощ.

Даже перед этим очаровательным, полным внутренней мелодии ландшафтом для Реубени нет покоя. Он сидит за письменным столом, у открытого окна, и не поднимает головы, ни на минуту не порадуется окружающему его пышному великолепию. Он лихорадочно работает. Уже целых три дня, почти не оставляя времени для сна. В этот вечер он должен закончить записку, которую просил его составить португальский король, когда давал ему первую аудиенцию.

На всех креслах и подушках вокруг письменного

стола разбросаны его путевые заметки. Реубени хватается то за один, то за другой лист.

План, который он изложил на аудиенции и который он теперь основательно разрабатывает при помощи заметок, составленных в годы путешествий, сводится в основных чертах к следующему.

Восемь португальских кораблей с четырьмя тысячами человек появляются в Красном море. Экипаж состоит из евреев, которые будут набраны и обучены самим саром. Команду несет португальский адмирал совместно с саром. Король португальский, кроме того, предоставляет некоторое количество офицеров, орудия, саперов и окопных мастеров. Ближайшей целью является завоевание портового города Джидды, где будет заложен форт. Отсюда должно быть обеспечено сухопутное продвижение в глубь Аравии к царству Хабор. Этим будут достигнуты две цели: евреи из Хабора сумеют, после основательной внутренней подготовки, вторгнуться в Палестину, а тем самым турки будут отвлечены от нападения на христиан в Европе. Есть также надежда, что одновременно христианские державы двинутся крестовым походом на империю османов. Для португальцев, в свою очередь, бесспорной выгодой будет то, что мавританская торговля, идущая из Ост-Индии через Константинополь в Европу, будет взята под угрозу, а при дальнейшем продвижении из Хабора будет и совсем прекращена. Во всяком случае, поселения и фактории в Джидде и Хаборе явятся новыми опорными пунктами, откуда португальские мореплаватели сумеют, пополнив свои силы, пробиваться к малабарскому берегу, ко всем богатствам, которые лежат в Калькутте и от которых до сих пор большая часть торговой прибыли доставалась маврам.

План значительно изменился с тех пор как Реубени

излагал его папе. Теперь он составлен совсем в португальском духе. Королевство Хабор рассматривается как промежуточная станция на пути к пряностям Калькутты: к гвоздике, корице, перцу, имбирю, к камфоре с острова Борнео, к мускату из Тибета.

Таким образом благородно, просто и прилично мы получим все, что нам нужно—самое скромное, в маленьком объеме, для того только, чтобы иметь возможность достойно жить. Ах, как низко опустились мы по сравнению с другими народами, если даже столь малое мы можем получить только окольным путем, только при помощи хитрости!

Но все равно в таком виде, и только в таком, король Иоани и его советники заинтересовались планом еврейского посла из страны Хабор. И даже очень заинтересовались. Реубени был принят с великими почестями в Альмериме, королевской резиденции вблизи Сантарема. Король предложил ему сесть и надеть шляпу, что не разрешается никому из придворных кавалеров. Только по одному поводу он с самого начала выразил ему свое недовольство: что марраны, пришедшие в полное неистовство после высадки Реубени, целовали ему руку. Тщеславный и несколько ограниченный король, ребенок с белокурой курчавой короткой бородой, немедленно выразил по этому поводу свое порицание, очевидно, под влиянием испанской партии при его дворе, которая была настроена против Реубени.

— В Португалии принято целовать руку только у короля. Пусть они воздают тебе всякие почести, но только пусть не целуют руку. Поэтому, если ты хочешь сохранить мою милость, не разрешай никому выражать тебе почтение таким образом.

Реубени удалось в пространной речи доказать, что он совершенно не интересуется марранами и вообще

внутренними делами Португалии. Как он выразился, он, «побуждаемый любовью к богу и королю португальскому, исколесил, с опасностью для жизни, много вражеских стран, и теперь он не требует ни золота, ни драгоценных камней, а только помощи, которая позволит ему расширить владения короля». Затем он особенно подчеркнул помощь, которую предлагает царство, принадлежащее его брату Иосифу, против мавров и индусов. При этих словах по данному им знаку были развернуты все знамена. Король пожелал взглянуть на них. Он хотел рассмотреть вблизи вышитые золотом буквы и гербы отдельных колен. При этом на его розовом толстощеком лице, на котором тускло мигали маленькие глазки, светилось какое-то сусверное почтение. Что делалось за этим низким лбом, в голове, которой была доверена власть над мировой державой? Реубени сложил знамена перед королем и спокойно выжидал, пока Иоанн жадно и в то же время нерешительно, облизывая языком верхнюю губу и обращаясь наполовину к нему, наполовину к одному из сопровождавших его монахов, высказал, наконец, свою просьбу.

— Я охотно принял бы в подарок одно из этих знамен.

У сара, когда он передавал ему знамя, мелькнуло воспоминание из дней ранней юности. Как пражские евреи вымаливали у ехавшего верхом короля Владислава его хлыстик! Теперь ему было ясно: силою своей мысли он сам навязал королю эту недостойную просьбу, словно желая окончательно смыть в своей памяти воспоминания о том позоре...

Детская затея!

Реубени сердит, что он все еще поддается влиянию мелких побочных чувств, что он еще не окончательно убил в себе стремление к возмездию, к мести, жажде

чести и другим подобным радостям. Надо быть совершенно трезвым, совершенно бесчеловечным—ради одной цели, которая так велика и трудно достижима. Этого требует от него его задача и требует по-настоящему, в полном объеме. Ведь с помощью восьми кораблей, которые хочет предоставить в его распоряжение король (а он уже почти определенно обещал), можно будет создать свободный народ, без искалеченных душ и искривленных тел—свободный народ, которому вся земля будет радоваться!

Солнце заходит за кукурузными полями и фруктовыми деревьями. Теперь вспыхивают виноградные лозы, протянувшиеся от дерева к дереву. И кажется, что деревья, словно танцоры, держат друг друга за руки и пляшут пляску жагвы вокруг полей и сплетаются в хороводы среди золотистых рядов кукурузы.

Он закончил свое писание.

Сар подписывает его тридцатью двумя именами, именами всех предков, вплоть до царя Давида, сына Иесея. Так пожелал король Иоани. И нет ничего легче (злая грустная усмешка искажает изборозженное морщинами лицо Реубени) как выдумать тридцать два имени.

Слуга докладывает, что прибыл посланец от короля.

Входит молодой человек. Его блестящая красота и легкая поступь находятся в резком контрасте с атмосферой этой комнаты, омраченной страданиями и муками совести. От ветра, который ворвался в открытую дверь, вздуваются все разбросанные листочки, и кажется, что они враждебно высовывают языки вошедшему.

Португальский кавалер делает легкий поклон, рука его небрежно держится за шпагу. Одну ногу, в тонком чулке, он изящно выставил вперед.

— Я Дниго Пирес, секретарь апелляционного суда.

Casa da Supplicação является одним из двух верховных судов в стране. Он учрежден королем Мануэлем Великим и должен следовать повсюду за королевским двором и принимать жалобы населения на местные суды.

Кавалер, в столь юные годы призванный на такую высокую должность, испытывает некоторое беспокойство под взглядом Реубени. Он говорит поспешно, словно торопится как можно скорее освободиться от своего поручения, которое давит его, как бремя.

Он предлагает отдать ему доклад, чтобы доставить его королю в Альмерим. Но едва ему удастся судорожно выжать из себя эти слова и получить доклад, как он бросается на колени перед саром. К мужественной музыке зазвеневшей шпаги примешивается странный звук опьяненного восторга, почти женской страсти, необузданной, забывшей о всякой предосторожности.

— Вы мой повелитель, а я пред вами один из рабов ваших.

Реубени уже успел привыкнуть к подобным сценам дикого, необузданного обожания. Его впечатлительность притуплена подобными встречами. Но почести, оказываемые ему знатым придворным строго церемонной Португалии, производят на него особенно странное впечатление. Все же он сохраняет полное спокойствие и холодно, как всегда, отвечает:

— Пожалуйста, встаньте! Я к вашим услугам.

Юноша уже овладел собой и поднялся.

— С тех пор как вы появились у нас в стране, господин мой и повелитель, я видел во сне страшные видения. Я хочу рассказать вам все, как было.

Он грациозно садится. Даже в волнении его не покидает аристократическое изящество. Его манеры отличаются законченной непринужденностью. Это совсем

не поведение безумца, а человека свободного и благородного происхождения, которому ни в чем не приходится себе отказывать и который всегда следовал влечениям своего сердца. Рядом с бледной сжавшейся, высохшей фигурой Реубени резко выделяется буйно расцветающая красота его гостя. Свежее смутло-розовое лицо, упрямое, с красиво очерченными полными губами; очень белый лоб под шелковистыми вьющимися каштановыми волосами, лоб, который словно светится от чистоты его простых и решительных мыслей. И точно так же светятся большие детские карие глаза. Они смотрят ласково, в жадном ожидании.

— Господин мой и пророк, наконец, я в руках царя царей благодаря его посланцу Давиду Реубени.

— Я не посланец божий и не мудрец,—равнодушным, усталым голосом возражает Реубени,—и я не пророк и не сын пророка. Я грешный человек, более грешный, чем кто бы то ни было, воин, покрытый кровью, убивший сорок человек своих врагов...

Пирес вскрикивает в порыве нетерпения. Он испытывает то невероятное душевное напряжение, которое растапливает, как воск, все возражения и как бы беспрепятственно проникает в сущность вещей.

— Так убейте же меня, если считаете недостойным служить вам, потому что мне следует по закону тридцать девять ударов плетью перед синедрионом.

Реубени делает слуге знак, чтобы тот удалился. Он догадывается, что перед ним марран. Марраны встречаются на самых высоких должностях в королевстве. Эти «*conversos*» или «анусим»—«принужденные», которых при короле Мануэле принудили креститься, боязливо соблюдают внешние обряды христианства, но в доме у себя они держат еврейскую книгу, по которой тайно молятся. Пугливость, недоверие характеризуют

каждый их шаг, потому что по первому же доносу они могут очутиться перед судом. Но Диего Пирес, повидимому, по характеру своему не принадлежит к этим пугливым людям. Не обращая внимания на то, что слуга еще не вышел за двери, он продолжает:

— Я жил в мрачных шатрах Кедара, а теперь примите меня к себе, в лоно ваше.

Сар, недовольный, приказывает ему молчать, закрывает окна, смотрит, не подслушивают ли у двери. Затем он быстро предупреждает дальнейшие признания.

— Чего вы хотите от меня?

Пирес тихо складывает руки молитвенным жестом и покорно опускает их на голову.

— Я ничего не хочу, кроме как быть сожженным на святом алтаре, быть принесенным в жертву всевечному богу нашему.

И столько блаженства в этом прекрасном лице, что у Реубени застревают в горле ругательства, которыми он привык осыпать марранов.

— У меня нет вестей для тебя,—говорит он едва слышным голосом, так что юноша даже не может разобрать этого.

— А теперь я расскажу вам мой сон,—доверчиво торопится высказаться Пирес, охваченный жадой спасения и утешения.

Реубени, уже успевший овладеть собой, знает, чем это кончится.

— Когда вас крестили?—прерывает он кавалера. Ничто не бывает ему так тягостно, как сны и рассказы о них. Сам он давно уже не видит снов. От снов можно отвыкнуть, если сурово приучать себя. И он хочет поскорей положить конец этой беседе.

Пирес с верой вскидывает светящиеся глаза на Реубени.

— Вы один можете дать мне истолкование...

Реубени сидит у письменного стола и нетерпеливо перелистывает бумаги.

— Я пришел не с чудесными знамениями и в каббале я ничего не понимаю. Я явился сюда как скромный посол государства к повелителю другого государства и занимаюсь заключением союзов и государственными делами.

Охваченный пылом, Пирес не обращает внимания на отказ.

— Вы спросили, когда я был крещен. Тем самым вы назвали весь мой позор. Срамота Египта на теле моем. Я совсем не обрезан, не принят в союз Авраама, потому что я был крещен немедленно после рождения.

Он дрожит от отвращения, словно одно упоминание об этом факте грязнит его.

Реубени с недоумением смотрит на него. Как чужд ему такой фанатизм! Действительно, у него нет ничего общего с непрощенным гостем.

— Проклятый страх помешал моим родителям исполнить надо мной веление закона.

— Родителей не проклинают.

— Они не родители, а враги. Мне пришлось тайком от них, невзирая на строгий запрет, пробираться к учителю.

«Так же, как я ходил в еретическую школу,—думает Реубени.—Только вот его потянуло к правоверному учителю. Меня толкало из еврейства, а его толкало обратно в еврейство,—какой мы все-таки странный народ!»

Пирес истолковывает размышление Реубени как проявление участия к себе.

— Только от этого учителя я впервые узнал свое настоящее имя. Меня зовут не Диего Пирес, а Соломон

Мольхо. *) Называйте меня так, а не иначе, господин мой, потому что родители мои никогда не называли меня хорошим, истинным именем. Но они боялись, что со мною поступят так же, как с моим старшим братом, которому на несчастье еще не было четырнадцати лет, когда король Мануэль нарушил свое обещание и предложил португальским евреям на выбор: креститься или покинуть страну. Детей нельзя было брать с собой, и потому в те дни ужасов многие были задушены или заколоты руками отчаявшихся родителей. Или же родители принимали крещение и оставались в стране, для того, чтобы, по крайней мере, быть около своего ребенка, которого отняли у них и крестили. Оставлять детей при себе им не давали. Так было и у нас. Моего брата заперли в монастырь. Родители склонились перед церковью. А меня, рожденного уже в христианстве, они оберегали особенно бдительно. Держали меня вдали от всего хорошего, чтобы только не потерять и меня. А теперь родители умерли. О брате я не знаю ничего, кроме лишь того, что он ненавидит и преследует евреев,—так уж его воспитали. Я совсем одинок. Только вам, моему господину и пророку принадлежу я. Я явственно слышу голос с тех пор как вы находитесь здесь, в стране. Я вижу сны, и мне открылось, что вы явились сюда для моего спасения. Если вы захотите, вы научите меня в одно мгновение мудрости Соломона, если вы захотите, то вы, мой повелитель Давид, станете отцом слуги вашего Соломона, и снова, как в дни далекого прошлого, царь Давид будет иметь сына Соломона. И только тогда я стану царственным, как это говорит мое имя—Мольхо. Итак, умоляю вас, помогите мне родиться вторично. Я знаю, это будет рождение

*) Мейлех—по древне-еврейски: царь.

кровью и служба на алтаре всевышнего—потому что вы возьмете меня неродившегося, коснетесь меня ножом и наложите на меня кровавую печать возвышенного творца моего.

Реубени с удивлением слушал эту путаную, стремительную речь. Но вдруг он отчетливо увидел и отпрянул назад,—это шпион испанской партии.

— Оставьте меня теперь! Придите завтра.

Среди «анусим», этих высоко одаренных, но всеми презираемых и отталкиваемых людей, много доносчиков, состоящих на службе у судов и у частных лиц. Такие люди способны на все. Христиане относятся к ним подозрительно вследствие их вынужденного крещения. Евреев в Португалии больше нет. Поэтому марраны одиноки, им не к кому прислониться, у них нет друзей, и они доступны тайным проискам и злобе во всех их проявлениях.

Мольхо отвечает поклон, повинуется, у него нет никаких подозрений. Он рад, что ему дана возможность побеседовать завтра.

Подозрительный человек! И все же Реубени с удовольствием смотрит ему вслед. «Сильные шаги, совсем не чрезмерно большие, как обыкновенно у евреев, а пропорциональные высокой стройной фигуре. Да, этот человек умеет ходить, не закидывает ног, как я это делал когда-то. О, мы могли бы быть красивы, если бы нас воспитали на свободе, а не в гетто. Тогда бы мы не робели перед каждым ландскнехтом вроде Ганса Зиндельфингера». Во дворе Мольхо легко вскакивает на коня и уезжает. «Такими сильными и молодыми будем современем мы все, если удастся осуществить мой план!»

Борьба идет за высшее достижение.

Он зовет слугу.

— Никогда не пускать ко мне этого человека! Ни при каких обстоятельствах!

Письмо к королю: с просьбой оказать милость и присылать кого угодно, только не секретаря Диего Пиреса, с поручениями к еврейскому послу.

— Седлайте лошадей! Немедленно доставьте это письмо в Альмерим, констеблю королевского величества—лично!

XVI

Такая предосторожность имела свои основания.

Как раз за последнее время сильно на шумела история с новым христианином Генприкве Нунес. Этот человек, по происхождению испанский еврей, поступил на службу к доминиканцам в Португалии и позволил себя использовать для шпионажа среди марранов. Он получил доступ в их самые интимные круги. Так как он рассказывал, что его преследует испанская инквизиция за верность иудейству, то ему были раскрыты все хитрости и уловки, при помощи которых можно было обходить церковные правила в Португалии, где тогда еще не было таких больших строгостей. А потом он выступил публично с длинным перечнем всех правонарушений марранов, предал всех, указал даже на родного брата. И как его теперь ненавидели! Но ничего не могли с ним сделать. Нунес находился под покровительством придворной партии, настаивавшей на введении инквизиции в Португалии. Он получил почетное прозвище Фирме-Фе—«твердый в вере». Решительный удар, который надеялись нанести при его помощи сторонники инквизиции, казалось, удался. Рассчитывали, что вскоре и в Португалии уже не будет больше никакого снисхождения возвращающимся обратно в иудейство. До сих

пор марранов судили только светским судом. Эти суды были недостаточно ревностны и плохо разбирались в делах религии. Совсем иное дело инквизиция, которая боролась со злом в его корне. Там, где появился инквизитор, он налагал на всех обитателей прихода прежде всего обязанность донести в течение шести или двенадцати дней все, что они о ком-нибудь знают или слышали и что даст основание подозревать человека в ереси или в общении с другими еретиками или хотя бы в том, что он в своем образе жизни отступает от истинной веры. Кто своевременно не доносил о чем следовало донести—отлучался от церкви, и если в течение года он оставался отлученным, то он уже и сам рассматривался как еретик. Зато даже еретик в течение этого льготного срока мог освободиться от наказания, если донесет на других еретиков. Система эта, по уверению одного из специалистов инквизиции—Бернарда Гвидони, оказалась чрезвычайно действительной. Все общины были охвачены ужасом. Всякий, кто когда-нибудь сделал или сказал что-нибудь такое, что пахло ересью «*heresim redolebat*» или о котором ходили слухи, хотя бы распространяемые его врагами, мог ожидать, что на него донесут самые близкие люди. И по мере того как истекал льготный срок, страх усиливался, человек не мог знать—может быть, именно в этот день он лишался последней возможности помилования, ибо все доносы держались в строжайшей тайне и даже в последующем процессе обвиняемому никто не называл источников и свидетелей. Самые мужественные не выдерживали и под конец бежали к инквизитору и предавали себя сами из боязни, что их предадут другие. Родители доносили на детей, дети на родителей, мужья на жен, жены на мужей. Так прославляет папа Григорий X достоинства инквизиции. А еврейский поэт Са-

муэль Ускве называет инквизицию «диким зверем», перед которым крещенные по принуждению испытывали такой ужас, что на улицах озирались по сторонам, не собираются ли их схватить. «Сердца у них дрожат, как лист на дереве, и они в ужасе останавливаются, боясь попасть в западню. Каждый удар этого зверя вызывает в них тревогу, и им кажется, что он поражает их в самое нутро. Потому что в своем бедствии все они представляют собою единое страдающее тело. Со страхом кладут они за столom кусок в рот, а вечером, когда все успокаивается, они испытывают еще больший страх. Радостные празднества, свадьбы и рождения—превращаются для них в печаль и муку. Дикий зверь бросает их в огонь, убивает их сыновей, сжигает супругов. Дети становятся сиротами, богачи превращаются в нищих, люди благородного происхождения становятся разбойниками, целомудренные и сдержанные женщины, в нужде, без опоры, попадают в дома терпимости».

Так было в Испании. В Португалии к тому времени еще не существовало инквизиции, но после разоблачений Фирме-Фе не оставалось сомнений, что в ближайшем будущем инквизиция обрушится и на португальских марранов.

Но вдруг неожиданный поворот. Король отверг все предложения доминиканцев. Самые яростные сторонники инквизиции—как епископ Цеуты, были удалены от двора. Даже королева Катарина, которая, как испанка, жаждала ауто-да-фе, ничего не могла сделать в пользу своих друзей.

После подачи докладной записки Реубени несколько раз был приглашен к королю и буквально двумя словами, мимоходом сумел одержать эту победу, оказавшую совершенно опьяняющее действие на марранов.

Он отвратил меч, который уже был занесен над их

головами. Действительно прав тот мудрец в Талмуде, который говорит, что нельзя отчаиваться в милости господя, даже если голова уже лежит на плахе!

Все с восторгом приветствуют освободителя. В сущности, никто уже не надеялся освободиться от испанских мук. И вдруг сразу стало светло и свободно!

В Италии партия скептиков еще жестоко боролась с теми, кто верил в миссию Реубени. На темном иберийском полуострове никто не сомневался. Здесь с одной стороны были только угнетенные и замученные, а с другой—великий избавитель от огромного бедствия! Слава его уже перенеслась на другой берег Средиземного моря, в Африку. Из Фецы и Танжера прибывали депутации от тамошних евреев. «Наши предки были царями и во всем мире верят, что царство вернется к нам». Шейх Фецы, отправивший посольство к португальскому королю, отправил одновременно послание к сару Реубени. Он сообщал, что в глубине Африки тоже находятся два потерянных колена, Симона и Беньямина. Земля их хороша и обширна. Их царя зовут Барух бен-Мелак-Яфет, и так же, как царь Иосиф в Хаворе, он повелевает тридцатью мириадами. Еврей по имени Иосиф Кордилла доставил известие от царя сарифского, царство которого находится «на запад от Фецы, на краю мира». Там уже дальше нет никакого царства, а только пустыня. В стране же этой проживают евреи, обладающие большой силой. Они занимаются земледелием, и многие желают участвовать в морском путешествии в Азию.—В самой северной провинции Португалии, в Трас-ос-Монтес «анусим» среди белого дня видели на небе четыре знамени—явление, которое было замечено и христианами. С тех пор они постились каждый понедельник и четверг. Они послали спросить у Реубени, «близок ли страшный день?»—Прибывали также послан

цы с братским приветом из Тлесема, Масхары, Богари. Всюду люди окрылялись надеждой.

Даже в стране гнета—в Испании снова пробились полужасыпанные источники. Оставшиеся верными иудейству целыми толпами бежали через границу в Португалию, где, как им казалось, марранам обеспечено лучшее будущее, по крайней мере—спокойная жизнь. Их сборным пунктом было Кампо-Майор.

Напрасно требовал Селайа, инквизитор пограничного испанского города Бадахос, выдачи ему испанских подданных.

Не добившись этого, он решил применить насилие и арестовал в качестве заложников несколько марранских семей, проживавших в Бадахосе. Ужас охватил беженцев в Кампо-Майор. Они знали, что это значит попасть в подвалы инквизиционного трибунала. Поэтому они отправили несколько своих представителей к Реубени, чтобы попросить у него помощи и совета, ибо Реубени уже считался князем и главой всех евреев, находившихся в изгнании.

Реубени не принял их.

Его любимый ученик Элиагу попытался заступиться за несчастных. У каждого были друзья или родственники среди невинных страдальцев в Бадахосе, и каждого мучила совесть, что он, хотя и невольно, был причиной бедствий, обрушившихся на тамошних евреев. Что же было делать: неужели добровольно возвращаться в рабство? Да это и не помогло бы. Инквизиция редко выпускала жертву, попавшуюся в ее лапы. Почти всегда находился какой-нибудь предлог продолжать процесс и совершенно уничтожить грешника... Откуда могла притти помощь как не от сильного человека, который имел доступ к королю!

Но сара это не трогало.

— Рассказывают, что в Бадахос прибыл Фирме-Фе и что инквизитор арестовал заложников по его совету. У нас есть оружие, и мы, тем не менее, оставляем в живых этого предателя?

Сар не дал ему дальше говорить.

— Они перешли границу, надеясь на вас.

— Я не звал их.

Среди своих успехов, о которых слава гремела по всему обитаемому миру, Реубени был жестче и печальнее, чем когда-либо. Муки его росли с каждым днем, потому что теперь действительно все было поставлено на карту. Король созвал кортесы. Надо было ожидать окончательного решения. Было опасно повредить ему каким-нибудь неосторожным словом или жестом; то обстоятельство, что он предупредил введение инквизиции—это торжество, которое с благодарностью заставило биться сердца тысяч людей, для сара было делом второстепенным и, может быть, даже мало отрадным. Он опасался, что вызванное этим возбуждение умов может помешать его собственному делу.

Реубени был исполнен решимости не идти на компромисс с судьбой. А такой сильный побочный успех был почти равносителен опасности. Он мог все погубить.

«У меня нет никакой охоты,—злобно говорил он самому себе, когда ему казалось, что им овладевают мягкие чувства,—у меня нет никакой охоты закончить мои дни на городской башне беззубым, полусумасшедшим, обессиленным «Мессией», рисующим картинку с изображением развалин Иерусалима».

Не было такого позора, воспоминанием о котором он не разжигал бы себя, когда чувствовал, что им овладевает слабость. Он прекрасно знал, что дело, в сущности, идет совсем не о его личном благополучии на старости лет. Но он нарочно убеждал себя низменными мотивами,

желая уберечь себя от воодушевления, которое теперь, по его мнению, было вреднее всего. Холодное выполнение плана до конца—и больше ничего! Для того, чтобы отрезвить себя, он говорил с собою, как с человеком, которому доступны лишь самые низменные побуждения.

.

— Посланец короля—Гарсна де-Норонха.

Входит Гарсна, одетый в черный плащ; у него белокурая борода.

Он срывает длинную белокурую бороду, распахивает плащ. Это Пирес-Мольхо. Он опускается на колени перед саром.

— Уже несколько недель как ваши слуги не пускают меня к вам. Простите эту маскировку. Я должен узнать от вас самого, делается ли это по вашему приказу.

— Да.

Жестокий по отношению к самому себе, Реубени не мягок и с другими. Правда, его предположения, что Мольхо—шпион, не подтвердились. Он опасался тогда, что Мольхо не доставит рукопись королю, что он ее выманил, чтобы передать противникам. Но ничего подобного. Король получил рукопись, и для остальных она осталась в тайне. Значит, в Мольхо нет коварства? Такой вывод необязателен. Лучше избыток осторожности, нежели недостаток ее.

— Да, таково было мое распоряжение. А теперь оставь меня.

Юноша бледнеет от глубокого огорчения. Слезы выступают у него на глазах.

— Но почему же, почему?

Реубени, несколько этим не тронутый, даже с некоторым удовлетворением наблюдает за действием своих слов. Тем временем из передних покоев доносится шум.

Двери распахиваются—слуги уже не в состоянии про-

тнать отчаявшуюся толпу. Это они, посланцы из Кампо-Майор, пострадавшие, возбужденные, одетые в лохмотья. Они явились сюда в том виде, как перешли границу.

— Помогите! Пощадите!

Легко было сказать с деланной строгостью ученику, в то время как депутация ждала у двери: «Я не звал их». Перед этими людьми с возбужденными глазами, иссохшими лицами, судорожно размахивающими в воздухе руками, сар не в состоянии ничего сказать. Тем не менее он с усилием выжимает из себя слова отказа. Только они звучат слабо, неубедительно, как бы противореча самим себе:

— Я не звал вас.

— Он пытается заключенных!—выкрикивает кто-то из толпы.

Голоса беспорядочно перебивают друг друга.

— Мы знаем тюрьмы в городской стене Бадахоса... они мрачны и воюют, как ад, беспощадны, как Фирме-Фе.—Чтобы вынудить признание, он изобретает новые пытки.—Там вытягивают тело и душат за горло тем, кто отказывается дать показания, они вырывают зубы, один за другим срывают ногти с пальцев, сдирают кожу живьем.

Тут уже трудно сослаться на великую миссию—трудно отказывать в нужде, которая надвинулась непосредственно...

Одна из женщин на коленях подползает к Реубени.

— У меня сестра там!

Это звучит как стон раненого зверя, в этом слышится ужас, способный объять весь мир.

Разве можно назвать ничтожным бедствие, не оставляющее в человеке ничего человеческого? Ведь оно выходит за пределы сил человеческих, своей бурей оно кружит облака на небе.

Реубени мог противостоять толпе. Теперь ему угрожает отдельное лицо. Он видит его непосредственно перед собою. Черные косы с седыми нитями, толстые потрескавшиеся губы, раскрытый рыбий рот. Ему кажется, что он видит также перед собою искаженное муками пытки лицо ее сестры,—она, должно быть, похожа на нее. Ему становится дурно; у него спирает дыхание, он только хрипит и тихо, бессвязно, не слушая самого себя, говорит слова, которые он уже произносил сотни раз.

— Я пришел не с чудесами, а как воин, чтобы вести переговоры.

Как жалко, как ничтожно все это по сравнению с тем, что ожидают от него, чего жадно от него требуют!

Бывают моменты, когда ничто не утешает: только взгляд на красивое человеческое лицо, как на последнюю твердую точку, сопротивляющуюся бедствию,—единственное, что не может быть обесценено и лишено благородства никакой путаницей мыслей. Так Реубени в крайнем отчаянии жадно впивается в чистые черты Мольхо, в его молочно-белый лоб. Это еще подлинный закон, не искаженное правило, по которому был создан весь мир, чтобы существовать и быть счастливым. И уже не сильный и злорадный, а умоляя о сострадании, он поднимает руку.—«Теперь ты видишь, в каком я положении»,—вот что говорит его жест.

Мольхо понимает это как призыв высказаться. Он ничего не заметил из всего, что творилось вокруг учителя, он только видит все время его одного и себя. Только эти два человека существуют для него в мире. Он смиренно подходит.

— Мне было видение, в котором надо мною была исполнена заповедь обрезания вашей рукой.

Реубени вскрикивает. Ему кажется, что у него сни-

мают голову с живого тела. Все шатается. Просьбы всюду только просьбы, все хотят ослабить—никто не помогает—и все просят о вещах, которых он не смеет делать,—ранят его сердце. И к чему же, к чему все это безмерное горе!

Безумие было бы спасением, и он уже чувствует его в своей крови. Он уже готов броситься на толпу, исступленно подставляя ударам обнаженную грудь. Но в это время слугам и ученикам, наконец, удалось вытеснить из комнаты всю нахлынувшую толпу. Только Мольхо хочет увильнуть и снова вынырнуть со стороны. Палец Реубени издали прищипливает к стене: «И его, и его». Юношу выводят, а сар в бессилии опускается на кресло.

На следующий день приносят письмо.

«Мой господин и пророк. Я знаю, что вы с основанием не доверяете мне, потому что до вчерашнего дня я еще не исполнил над собой веления господа. Теперь перестаньте не доверять мне. Кровь была вчера, как сильный источник. Если вы хотите оказать мне милость, то пришлите врача-еврея и не скрывайте от меня ничего из возвышенных тайн».

Реубени поспешно послал Элиагу, который был знаком с искусством врачевания. Тот принес невероятную весть. Мольхо сам совершил над собой обряд обрезания. Вечером он нанял комнату на чердаке у старика маррана, а ночью произвел над собою ужасную операцию. Его не отпугнули ни страх перед неслыханной болью, ни сама боль.

Не иначе как ангел оберегал его. Без этого он умер бы от кровотечения, не дожил бы до утра. Но и теперь еще жизнь его в опасности.

Сар немедленно отправляется к нему.

Когда он приходит в комнату на чердаке и видит, как страдалец, бледный, как смерть, лежит в постели,

гнев его пропадает. Из темной постели больного навстречу ему распускается белое сияние воодушевления. Мольхо с восторгом протягивает ему дрожащую руку.

— Теперь нет на мне позора.

Грудь его сильно вздымается, он говорит шопотом, глаза закрылись. Напрягши все силы, чтобы сказать эти последние слова, Мольхо сразу опадает, как пустой пузырь.

Обморок или смерть. Темно в глазах.

Реубени сидел до вечера у его постели. Ученики ходят на-цыпочках, они ухаживают теперь за героем веры. Священное значение совершившегося запечатлено тихой и ясной решимостью на всех лицах. Реубени испытующе поглядывает на них каждый раз, когда прерывает свои размышления. «Я хотел воспитать в вас воинов, а вы бредете, как овцы. Давно, давно я уже не видел на лицах такого сияния глубокого благочестия. С тех пор как не видел отца—да, пожалуй, с тех пор. Вот так спокойно, без мук, без сомнений, он читал свою книгу и ничего не видел, кроме священной книги»...

Вечером Реубени отсылает учеников, оставляет только одного—прислуживать больному. Через два часа его сменяют. Так они чередуются до утра. Остается только Реубени. Его удерживает у этой постели беспорядочная борьба чувств.

Он уже не сердится на юношу. Ведь тот не виноват. Он иначе не умеет. Он ратует за букву закона, который любит с тем большей страстью, чем больше его разлучают с ним. «А я, я сам хотел уйти от него, как от всех марранов, как от всякой опасности для моего великого плана. Но он не позволил отвергнуть себя, с силою схватил отстранявшую его руку и этим победил меня».

Реубени ударяет себя кулаком. Ему хочется ощущать

боль. Он отстранил этого молодого дикаря, чтобы не подвергать свой план опасности. Но именно это Мольхо принял как какой-то тайный призыв. «Какая нелепость!.. Именно то, чем я хотел его отпугнуть, толкнуло его на поступок, полный мрака и безумия—и какая опасность грозит отсюда для всех, для всего народа, для близкого спасения Израиля.

«Подумал ли он об этом?

«Конечно, нет, он ни о чем не подумал. Только на мне лежит с давних пор гнетущее бремя думы! а он ни о чем не подумал, и, тем не менее, сейчас мне кажется, что виноват не он, а я. Да, не он: в своей благородной сердечной простоте он никогда не может быть виноват!

«Умереть с прекрасным юношей, который так легко дышит,—это было бы самое лучшее! Без забот, без этой тяжести в висках, которая никогда меня не покидает!»

Реубени склоняется к бледным устам, вздрагивающим от времени до времени от боли и вместе с тем от удовлетворения—в глубоком сне, словно в конце пути. Он едва противостоит соблазну поцеловать эти чистые уста. «О, если бы он мог взять у них в поцелуе хоть частицу их бесконечного спокойствия!»

Радостное спокойствие благого дела! Сердце удовлетворено и затихло, совсем затихло!

В полночь в комнату входит, не постучавшись, какой-то человек. Оскаленное в улыбку лицо негритянского типа. Дряхлые морщины, редкие зубы между выпяченными губами, широкий придавленный нос. Глаза мигают.

— Кто это?—вскакивая, спрашивает Реубени.

Старик вежливо кланяется:

— Хозяин этого дома. Меня зовут Альдика.

— Марран?

— О, нет,—я верный сын церкви.

— Значит, хитрец, который ни в чем не признается.

А мне сказали...

— Клевета.

И здесь Мольхо снял комнату без дальнейших размышлений! Какая неосторожность!—Следовало бы оставить его здесь одного вместо того, чтобы делать этого человека, с негритянской внешностью, хранителем всей тайны спасения Израиля.—Но немисливо оставить умирающего.

Все заботы, все мысли снова, как железные балки, обрушиваются на голову Реубени.

— Ты не скажешь ни слова о том, что ты тут видел?—кричит он на хозяина, который все время улыбается, даже стоя у постели больного.

— Конечно, нет,—но все-таки это рискованно...

— Дай ему крузато,—приказывает сар ученику.

Альдика взвешивает золотую монету на ладони:

— Я купил новый замок и повесил внизу на двери.

— Дай ему еще два.

Извиваясь, как змея, это низкопоклонное существо исчезает. Не видно даже, как он отворяет дверь. Такой всюду пролезет.

«И всегда мне приходится заниматься подобной мерзостью. Он вот спит себе в своей чистоте и так проспиг до смерти, не заботясь о том, что творится кругом. Излить свою жизнь в великом порыве, принести самого себя в жертву,—разве можно сделать больше! И разве это не выше, чем все муки, вся грязь, из которой я не знаю выхода?»

Больной вздрагивает. Маленькая лампочка мигает.

Никто не дает ответа на вопросы этой ночи.

На выздоровление Мольхо почти не было надежды. Но произошло чудо.

По распоряжению Реубени его ежедневно посещали ученики.

Ему не приходилось настаивать. Они ходили охотно. Поступок Мольхо представлялся им прославлением имени божьего, триумфом их господина и дома Иакова, который с каждым днем ограждается новыми мощными стенами.

Сам Реубени больше туда не ходил. У него были дела поважнее. Заслуживал ли этот молодой марраи того, чтобы он столько думал о нем? К тому же много времени отнимали переговоры с двором. По два-три раза в неделю Реубени приходилось ездить в резиденцию в Альмерим—его докладная записка изучалась советниками короля, и от него постоянно требовали новых разъяснений. Король тоже снова пригласил его к себе. Снова Реубени должен был доказывать, что он не позволяет марранам целовать ему руки. Затем король порицал, что ученики стоят, когда сар сидит за столом, так как это тоже королевская привилегия. Реубени, не дрогнув в лице, должен был обещать, что он запретит в дальнейшем такие подозрительные церемонии.

Ревностнее чем когда-либо он занимался своим делом. Но иногда среди деловых забот его охватывало сомнение, что, может быть, лучше держаться вдали от всяких трудов, спокойно, как Мольхо, и, сидя около него, самому постепенно выздоравливать, оставаясь чистым...

Но это сомнение пробегало лишь как мгновенный

страх. Реубени гнал от себя злое внушение. Ему даже становилось непонятным, как вообще могла притти ему в голову такая расслабляющая мысль.

Его путь был ясен, каждый шаг в сторону был предательством делу, построенному на размышлении многих лет.

Однажды ученики передали ему убедительную просьбу Мольхо, чтобы учитель его как-нибудь посетил.

— Нет. Я слишком занят.

В другой раз, когда они стали особенно настойчивы и сообщили от имени Мольхо, что тот должен сказать учителю о божественном явлении, которое было ему ночью,—он запретил вообще упоминать в его присутствии имя Мольхо.

Когда они ушли, он задумался: «Уж не боюсь ли я его?»

Странно, после того дня, когда совершилось обрезание, он не видел этого юношу и даже, как ему казалось, не особенно часто о нем вспоминал,—просто не имел для этого времени,—и, тем не менее, в его жизнь вошло что-то новое, чего он не мог охватить. Надо взглянуть в лицо этому призраку! Решительным движением он поднялся из-за письменного стола, за которым в сотый раз чертил на карте путь в Калькутту и в еврейское царство Хабор. «Восемь португальских кораблей с еврейскими воинами появляются в Красном море»,—он повторял себе эту фразу—основное ядро всех его желаний. Когда он произносил эти слова, они всегда потрясали его—в них была какая-то законченность, твердость, какая-то трезвость, которая опьяняла его больше, чем весь экстаз этого и потустороннего мира.

Нет, не надо бояться!

Дом был расположен в саду, окруженном высокой

стеной. Железный молоток у двери звучал глухо. Только после нескольких ударов ключ в замке повернулся, и появилась испуганная негритянская физиономия Альдика, который сейчас же замигал, блестя всеми зубами:

— Было условлено, что будут стучать иначе.

Реубени, не ответив ни слова, пошел вслед за стариком, шагавшим большими почти ползучими шагами, которые были ему так противны.

При свете осеннего солнца сад производил безотрадное впечатление. Под блестящими верхушками благородных каштанов рос густой кустарник, дикие розы, дорожки заросли, дом—тоже старый и полуразрушенный. Внутри пришлось идти по бесчисленным коридорам, проходить множество дверей, мимо стен, увешанных темными коврами, подыматься по маленьким ступеням, уходившим в сторону от главной лестницы,—это был необозримый лабиринт. Один Реубени, наверно, заблудился бы здесь. Наконец, сквозь завесу ковра он услышал голос Мольхо. Альдика хотел войти, но Реубени удержал его.

Жестом он приказал ему уйти, а сам остался стоять и прислушался.

Голос был сильный и звонкий. Молодой Мольхо рассказывал ученикам о своей ранней юности, о турнирах, в которых он участвовал, о любовных приключениях, на которые его соблазняли привычки его сословия, о крестовом походе на мавров в Африку. Все это он передавал тоном крайнего отвращения. Там, у других, не было ничего хорошего,—за внешним блеском было гниение, нелепость лживого учения, вечная тьма.

Реубени испугался. С какой легкостью отвергал этот юноша все, что казалось ему всегда трудно постижимым, опасным, но заманчивым ядром подлинной жизни.

«Пусть живет красота Иафета в шатрах Сима». А юноша Мольхо, который с самого начала привык к этой красоте и силе Иафета, как безумный, бежал оттуда, стремясь к совсем иному—к очищению, покаянию, о которых он теперь говорил ученикам, дрожа от радости, как «о времени любви», когда «прекращаются дни луны, сменяющиеся между добром и злом». «И только тогда у нас явится сила стоять во дворце святого царя связанными узлом семидесяти ликов древа жизни учения. Тогда мы образуем мощную стену, высокую скалу вокруг разрушенного города. И в это время покаяния помазанный царь будет царем своего народа. Мертвые всюду восстанут из гробов. И вечером будет день. И не будет больше ни сатаны, ни горя».

Это звучало как открытый бунт против осторожной политической работы Реубени, которая заменялась теперь фантастическими чудесами и необузданной мистикой. Реубени отдернул занавес и вошел.

Его ученики сидели вокруг молодого маррана. С каким восторгом они ему внимали. Их лица напоминали ему лицо его благочестивого отца, и сам Мольхо—молодой, прекрасный, пылкий и в то же время озаренный сиянием спокойной радости, которую Реубени привык видеть в своем отце и которая всегда была ему враждебна—с самых первых дней, как он себя помнил—была враждебна и в то же время вызывала восхищение.

Неужели он позволит совратить своих учеников?

— Нравы чужих народов,—сказал он, обращаясь к ним без всякого приветствия, как учитель, поймавший детей за недозволенной игрой,—не так скверны, как их изображают. Необходимо научиться у них многому прекрасному и внедрить их смелость в сердца наших слабых людей.

Все затихло.

Только Элиагу после некоторого молчания решился заговорить. Раньше он был самым верным из всех, но со времени появления Мольхо стал беспокоен, застенчив и упрям.

— Но ведь мы говорим в молитве: благословен всевечный, не создавший меня по образу других народов.

Реубени ничего не ответил. Он глядел только на Мольхо, который не произносил ни звука. К юноше снова вернулся его здоровый цвет лица: лоб был безоблачно ясен, щеки—смугло-розовые, но еще не вполне окрепшее тело, повидимому, не могло выдержать огромного напряжения: в первый раз он при полном сознании встретился с учителем уже не в качестве отщепенца, а евреем, имевшим право на братское доверие. И из глаз его упал луч всепоглощающей любви, в то время как грудь его вздымалась, волнуясь в немом ликовании. В этом не было протеста, это лицо говорило о безусловном признании, неспособном ни к какому сопротивлению. Реубени подошел ближе как бы из любопытства. Так вот он—противник, которого он так боялся, которого он сначала считал шпионом, а потом соблазнителем, напештывателем ложных мнений, и оба раза одинаково жестоко старался удалить от себя... Мольхо схватил его руку и поцеловал. Наконец, раздался его голос, прерываемый слезами:

— Царь, помазанник среди нас! Сар Давид Реубени—имя его.

Этого Реубени меньше всего ожидал. Только что ему казалось бунтовщическим все, что говорил Мольхо ученикам. А теперь—слова обратились так, что звучали приветом Мессии,—как тогда в Риме, после пробуждения девушки, как некогда на галлереем баинии еврейских ворот в Праге.

Ответ, который надлежало дать: «Ты сказал это», — не сходил с его уст.

Совершившаяся персмена была слишком резка. Он еще не вполне ее осознал и продолжал смотреть на Мольхо, который попрежнему судорожно не сводил с него глаз.

«Скажи же», — казалось, говорил взгляд Мольхо.

«Скажи же», — говорил также и взгляд Реубени.

Мольхо повиновался, при этом он боязливо опустил глаза.

— Мне снилось, что старец в блестящих одеждах и с весами в руке подошел ко мне. А с неба голос возвестил: «Это облик души господина твоего, сара Реубени». И тогда старец открыл уста свои и сказал мне: «Я отец твой, а ты сын мой, снискавший благоволение мое».

Мольхо говорил это все без задней мысли. Он не подозревал, как приятно отдавались эти слова в сердце бездетного. Реубени было уже тридцать четыре года, сердце его увяло, у него был только великий план — и больше ничего. И вдруг это неожиданное счастье. Ему отдавалась юность, отдавала себя ему в услужение, в молодой крови вздымались волны, приведенные им в движение.

С подобными же словами Мольхо явился к нему и в первый раз. Тогда они звучали для него дико. Теперь они были ему приятны. «Серьезный, как мой отец, великий и чистый, — и все же мой сын, мой молодой пылкий сын. Значит, я с моими грехами — только короткий перерыв в цепи, я удостоился без ущерба перенести свет, исходивший от моего отца на него, который будет после меня».

У него было такое ощущение, что, наконец, наступил для него момент, когда ему не надо сдержи-

вать свои добрые чувства. Они вырвались, заставили его склониться над постелью больного.

— Я обнимаю сына моего по духу, я могу это сделать,— наступил день.

А Мольхо шептал:

— Как во сне моем—уста к устам и глаз к глазу.

— Мы оба,—прервал сар молчание,—мы оба теперь поведем вас и вместе соберем рассеянных со всех концов земли.

— Царь, помазанник поведет, я повинуюсь,—сказал Мольхо так тихо, словно даже это воздаяние почести было недопустимым противоречием.

В преданном тоне этого голоса для Реубени было что-то приятно туманящее. «Правильно,—нашептывал ему счастливый внутренний голос,—правильно, так и надо, мой послушный, добрый сын. Ты не упрям и не чужд мне, как я был в отношении моего отца, ты милый сын, примиряющий меня с моим отцом в могиле».

Принимая почести, которые оказывал ему ученик, он в то же время был свободен от всякого высокомерия, ему казалось, что это почитание является только достойной формой, в которой должна совершиться смена вождей. «Хорошо и справедливо, что он любит меня—преемник и сын, ибо я начал дело и потратил много труда, но теперь он его доведет до конца и превзойдет меня. Достойно и естественно, что не понадобилось спора и насильственного свержения, ибо мы мирно сменяем друг друга. Я всем сердцем приветствую его, сильного,—ведь я так устал».

Добровольно отказаться, уступить с радостным сердцем и видеть сына в зените подвига,—когда сам освобожден от трудов и спокоен,—какая надежда открывалась перед ним!

XVIII

Самым привлекательным в Мольхо было то, что он совсем не знал, какое впечатление он производит. Он не замечал даже, что Реубени стал относиться к нему как к другу, как к равноправному товарищу, что еще никогда сар ни с кем так близко не сходилась. Мольхо оставался попрежнему робким, почтительным, смиренным учеником перед великим учителем.

В Реубени проснулась новая жизнь. Он с удвоенной уверенностью боролся за конечный успех, добился приглашения на заседание кортесов, которое было созвано в Торрес-Новас. Речь его сверкала умом и убеждением, и он без труда одержал верх над доном Мигуэлем де-Сильва, бывшим посланником в Риме, которого друзья инквизиции призвали на помощь как надежного противника Реубени. Снова, как и в деле Фирме-Фе, их надежды были разрушены.

Сообщая своему верному помощнику об отдельных ходах и контр-ходах, Реубени испытывал такое чувство, словно возводил умные хитросплетения на степень возвышенного подвига. Этим он приобщал соратника к служению благому делу.

Правда, Реубени всего не мог сказать. Откуда он явился, кем он был, как обстояло в действительности дело с царством Хабор—вся эта рискованная ложь должна была поддерживаться до последнего момента, пока дело не увенчается успехом и ложь не станет истиной, все это должно было остаться тайной даже для Мольхо и омрачало какую-то смутной мукой даже эти радостные дни.

Впрочем, для Мольхо они были лучезарны, он не замечал никаких пятен. Теперь он был принят в союз,

и притом самым учителем, который уже не таился от него. Это отражалось и на интимном общении с учениками, которому он отдавался с полным увлечением. Впервые в жизни он чувствовал себя среди единомышленников. Друзья, образованные итальянские евреи, подтвердили ему то, о чем он лишь смутно и пылко догадывался в одиночестве, что он тайком собирал, где мог: учение, которое приводило его в состояние блаженства.

А тут еще сар, говоривший с ним, как отец. Он с умилением прислушивался к каждому слову Реубени. И потом, должно быть, тихо говорил про-себя: «Оно уже настало, это время любви, когда бог возвещает своему народу: «Я любил тебя вечной любовью»».

Сделать какое-нибудь замечание, возражение, дать совет,— чего, быть может, ожидал от него Реубени,— Мольхо не решался.

Реубени делился с ним не только своими успехами, но также и заботами и горестными сомнениями. Ему, правда, удалось помешать введению инквизиции. Это было, конечно, успехом. «Но, в сущности, это политическая цель, которую преследует папа, а не я». Странная ирония, неудача или — что еще хуже — половинчатый успех: «То, что я выдвинул на первый план, желая угодить папе, действительно и оказалось на первом плане. Достигнута второстепенная цель. Удовлетворен мой доверитель, чье поручение было для меня только предлогом. А сам я неудовлетворен. Какая коварная игра!»

На такие рассуждения Мольхо не мог ничего возразить.

Он рассказывал о видениях, которые ему предвозвестили великое время, переживаемое им ныне. Видения не прекращались и теперь. С детской доверчивостью

Мольхо признался сару, что и теперь каждую ночь его посещает старец, который, в сущности, представляет собой душу Реубени, и что этот «маггит», или «советник» готовится к великому поручению, которое будет дано ему в недалеком будущем.

— И ты исполнишь это поручение?

Шутит учитель, что ли? Мольхо смотрит на него с невинным изумлением.

— Ты никогда не колебался? Даже тогда, когда занес на себя нож и когда мог рушиться весь мой план,—если бы распространился слух, что я вернул тебя, маррана, в иудейство?

— Господь не хочет, чтобы ваш план потерпел неудачу.

— Значит, ты ни на минуту не подумал, что в твоём начинании может быть что-нибудь неправильное и злое?

Мольхо помолчал, потом медленно сказал таким тоном, точно давал ответ на экзамене, отвечал что-то совершенно элементарное, что сар, конечно, и сам без него знает:

— Мне не дозволено делать что-нибудь другое, кроме того, что мне указывает небо.

В Реубени поднялось чувство легкой зависти. Как легко этому юноше. Под покровом такой уверенности он не может, в сущности, потерпеть неудачу.

Они шли вдоль берега Тахо. Мольхо сорвал камыш, на длинном стебле которого колебалась большая темная щеточка. Сар задумчиво смотрел, как камыш колыбался в руке Мольхо, которая во время ходьбы двигалась вперед и эластично откидывалась назад.

— А когда ты видел меня во сне, у меня были весы в руках?—спросил он сдавленным тоном.

— Да.

— И я пытался привести их в равновесие?

— Да, верно.

В глазах Мольхо жажда и надежда услышать толкование. Но Реубени сказал только:

— Трудно привести весы в равновесие. — И после продолжительного молчания добавил:—Малейший перевес—и перекладина весов опускается, даже падает вниз. Твой тростник держится сам собою.

Неоднократно Мольхо радостно рассказывал сару, что ему удалось укрепить в вере души заблудших. Он говорил об этом с таким воодушевлением, что Реубени не хотелось лишать его радости, не хотелось указывать на незначительность подобной работы в то время, когда судьба всего народа должна претерпеть колоссальное изменение.

«Жажда новообращенного обращать в свою веру других»,—думал он и шел мимо, не уделяя этому внимания.

Нужно проучить этого упрямца, показать ему, ради каких недостойных людей он приносит себя в жертву.

— Позови сюда Альдику.

Пришел, щуря хитрые глаза, старый негр.

— Признайся, что, когда этот юноша лежал здесь без сознания, ты принял от меня взятку.

Альдика молчал.

Реубени поднес кулак к его лицу:

— Припомни—три крузадо! Я сначала дал тебе один крузадо, а потом еще прибавил два. Если бы я этого не сделал, ты немедленно побежал бы к алькаду и донес бы на всех нас.

— Будь милостив, господин мой,—визжал Альдика,—ты ошибаешься. Я заказал на эти деньги новый свиток Торы, так как наши не соответствуют учению

И в доказательство он повел сара по разным лестницам, которые, как полуразорванная паутина, висели

в разрушенном доме. Они сошли в погреб, уперлись в стену, но, отодвинувши камень, вошли в пещеру, со стен которой капала вода. Несколько скамеечек, возвышение для алтаря, маленькая лампочка, наполненная маслом,—то была подземная синагога марранов, где они сходились для тайного богослужения. Как во всех этих молельнях-катакомбах, в ней имелся еще второй выход. Пещера выходила на дно заброшенного колодца среди сада. Альдика объяснил, что сад нарочно держится в таком запустении и дом нарочно не чинится для того, чтобы у шпионов не явилось мысли, что здесь устраиваются собрания общины.

Это печальное место собраний так опасливо хранилось в тайне, что даже Мольхо до этого момента не знал о нем, хотя уже давно жил в доме и пользовался доверием многих членов общины.

— Теперь ты мне веришь?—приниженно сказал Альдика, вытаскивая новый свиток Торы из-под прутьев, которым был покрыт пол пещеры.—Да простят нам на земле и на небе эти позорные меры предосторожности,—прибавил он дрожащим голосом, обращаясь к сару.—Иностранным евреям, как вы, здесь ничто не угрожает. Но если кто принял христианство, хотя бы насильно, как это сделали, к нашему несчастью, мы, того сжигают на костре живым, как еретика.

Он скрестил руки на груди и обхватил себя за плечи, словно сжимаясь перед облизывающим его пламенем.

Сару он стал неприятен до отвращения. Именно потому, что в этой жалкой пещере-молельне, освещенной скудным светом, он сознавал всю опасность, которой подвергались марраны, именно поэтому он им не верил. Человеческая сила имеет известный предел. Если обрушатся муки, выходящие за этот предел,—Альдика, по всей вероятности, не выдержит и предаст своих това-

рищей. Он не производил впечатления человека особенно сильных душевных свойств. Реубени знал дурное побуждение, он очень далеко заходил в области греха и не в силах был освободиться от этого подозрения, хотя и не мог доказать его.

Он оглянулся на Мольхо. Никакого беспокойства. На его лице было только выражение немного счастья. Видно было, что он безусловно доверяет Альдике, его верности религии, его готовности к самопожертвованию. Любовно улыбаясь, с наклоненной головой, он ходил взад и вперед по низкому помещению. Останавливался у каждой скамейки, ласково гладил ее рукой. Затем он положил руку на голову совершенно смущенному, растерявшемуся Альдике:

— Шатер мира воздвиг господь над главою твоею.

— Пойдем!—решительным тоном сказал Реубени.

Юноша радостно подошел к нему. Радовался он своей победе? Что он по отношению к Альдике, по крайней мере, на первый взгляд, оказался прав, это только укрепило сара в прежнем убеждении: одному легко, а другому трудно! Против этого ничего нельзя было поделать. Но его испугало и заставило отпрянуть с чувством ужаса, какого он никогда еще не испытывал, то почтение, которое теперь, в этот момент явного его поражения светилось в робком молитвенном взоре полуоткрытых глаз его ученика. Мольхо опустил на колени перед Реубени и указывал на Альдику, но не так, как если бы желал сказать: «Это не то, что ты думал», а как бы говоря: «Это твое, это достигнуто тобою, учитель! Для нас уже наступила пора любви».

В этом был соблазн, была опасность. Со времени этого преклонения в подземной пещере Реубени знал: «Я был прав, когда с самого начала сопротивлялся ему.

Правда, он делает вид, что исполняет мою волю, и, что еще более изумительно, он сам в своей невинности верит в это. Но вот это-то и хуже всего! Потому что, по существу, это так далеко от меня и так чуждо мне! А, между тем, это чуждое стремится войти в меня, хочет стать моей кровью, моим сыном и другом, если я своевременно не замечу опасности и не дам отпора. Разве я уже не дошел до того, что кажусь себе перед ним иногда не более чем смелым обманщиком? Мы слишком мало грешим, сказал я себе в свое время. А сейчас перед этим ребенком я говорю — слишком много грешил я, слишком много. Без греха нельзя, в этом я убедился. Девушка развратом спасла город. Грех Эсфири—без этого не обойтись. Но Мольхо все-таки обходится! И это больно. И какая загадка, что он может оставаться кротким и добрым без всякой примеси греха, который мне нужнее воздуха».

Реубени испугался. Уж не примешивалась ли здесь ненависть, ненависть к преемнику, к сыну.

У него не было времени предаваться таким размышлениям, ужасное событие взволновало его.

Однажды утром на главном портале собора в Лисабоне был приклеен листок со словами: «Мессия еще не пришел, Иисус не Мессия, христианство—ложь». Реубени негодовал, его возмущало, что марраны позволили себе такую глупую, бессмысленную выходку. Он не был виноват в этом, он отгородился от них семью стенами жестокосердия! Но разве это помогло? Опасность оставалась опасностью. К тому же не исключена была возможность, что возмутительное воззвание исходило совсем не от евреев, а от инквизиции, которая желала возбудить у короля подозрение против Реубени.

Он спросил Мольхо о его мнении, но у того была

только радость на сердце: «Наступило время, когда господь обнаруживает истину учения своего».

Реубени резко оборвал его.

У него явилось злое подозрение: может быть, кто-нибудь из друзей Альдики, в порыве первого воодушевления, под впечатлением проповеди Мольхо, позволил себе такую неблагоприятную выходку.

Он стал расспрашивать. Может ли Мольхо поручиться за своих слушателей?

— В этом нет надобности,—гордо подняв узкую рыжую голову, сказал дрожащим голосом Элиагу, сидевший в кругу учеников.—Мольхо нечего отвечать. Я сам был в Лиссабоне, я сам это сделал.

Остальные ученики молчали. Никто не возражал, никто не высказал неодобрения.

Позвали садовника и слуг.

После короткого расспроса выяснилось, что Элиагу сказал неправду. Он уже много дней как не выезжал из Сантарема.

Реубени не стал дальше расспрашивать. Это было явное возмущение. Значит, Мольхо уже настолько овладел их сердцами, что они изменили учителю. Он оставил это дело, испугался злобы, которая подымалась в нем. Еще одно слово—и он, как зверь, бросился бы на Мольхо.

Когда он обернулся, он увидел старого слугу Тувию, делавшего ему знаки. Уже не раз Тувия показывал, что он всецело на стороне Мольхо, что он считает неправильным, когда господин сердито говорит с его любимцем. Глухонемой не мог понять, что говорили Реубени и Мольхо друг другу. Но каждый раз, когда начинал говорить Реубени, он морщил нос, недовольно качал головой и тем самым явственно выражал свое неодобрение. На Мольхо, наоборот, он смотрел всегда

с восхищением и во время его речи оставался без движения. И теперь, когда он видел по поведению своего господина, что Мольхо угрожает опасность, он стал позади Реубени, чтобы удержать его от крайностей.

Обычно Реубени не без юмора относился к своеобразному поведению своего верного и в то же время неодобрительно относившегося к нему слуги. Но на сей раз ему показалось это унижением, переполнившим чашу всего, что ему пришлось здесь испытать.

— Пусти!—И он бросился на него с кулаками.

Мольхо, находившийся недалеко от них, сделал движение, чтобы укрыть старика от Реубени.

Но Тувия всхлипнул, горестно застонал и, отпрянув от Мольхо, который спешил ему на помощь, кинулся в объятия Реубени. Он вцепился в руки своего господина, которые только что ему угрожали, и лицо его, обращенное к Мольхо, было бледно от ужаса.

Это вернуло Реубени самообладание. Он даже засмеялся. Он ласково гладил по лысой голове Тувию, который наивно прижался к его груди. И, обращаясь к изумленному Мольхо, сказал:

— Да, это так,—тобою он восхищается, но мне он больше доверяет. Не правда ли, старина?

XIX

На следующий день Элиагу исчез из Сантарема. Его искали, следы вели в Кампо-Майор, оттуда через границу—в Бадахос. Но там уже никто не встречал ученика Реубени.

Тем не менее, сар ни минуты не сомневался, что его любимый ученик, теперь отправивший от него, отправился туда, где дело марранов напряженно ждало своего решения. Из дня в день до Реубени доносились

отчаянные вопли из тюрьмы Бадахос, проклятья по адресу инквизитора Селайи и в особенности ненавистного Нунеса Фирме-Фе, который с неутолимой страстью ренегата стремился муками своих бывших единоверцев оправдать себя.

Под влиянием этих жалоб и опьяненный бредовыми речами Мольхо, Элиагу бросился в Бадахос! Это могло повлечь за собой невероятные бедствия.

Речи Мольхо—они звучали так прекрасно и действительно были прекрасны. Великолепные, проникнутые искренним чувством, лишенные всякой искусственности—они звучали благородно, были выражением души, стремящейся только к своему спасению, к небу. Такие слова скорей способны были увлечь, нежели осторожный план Реубени, который боязливо держался в пределах выполнимого, применялся к условиям, говорил то о крестовом походе, то о торговой экспедиции в Калькутту и способен был принять еще сотню других обликов, наполовину подлинных, наполовину притворных, не теряя из виду своей конечной цели—освобождения Палестины, и не утрачивая сверкавшего в нем внутреннего воодушевления. Но на это воодушевление нагромождалась целая гора лжи и грехов. Экстаз Мольхо горел одинаково ярко внутри и снаружи.

То, что его теперь покинули ученики, было еще не самое худшее. Но честность и безупречные речи Мольхо не только отвращали от него учеников, а сеяли беду за пределами их круга, в Бадахосе, в Лиссабоне, и могли в последний момент каким-нибудь необдуманым поступком расстроить весь его план. Слова его сына оказывались злейшими его врагами,—это преисполняло его горечью и разочарованием.

Он отправился в Лиссабон. Провел несколько дней в лихорадочной работе. Побывал у всех высших вла-

стей, постарался изгладить дурное впечатление, которое должна была произвести дерзкая надпись, приклеенная на дверях собора. Об Элиагу, по счастью, ничего не знали, из Бадахоса тоже не было ничего тревожного. Тем не менее сар с опасением ожидал, что будет дальше.

Когда он возвращался назад и, едучи по полю, очутился у края заброшенного виноградника, он как-то особенно почувствовал тяжесть этого бремени. Солнце опустилось, сопровождавшие его расседлали лошадей, чтобы сделать короткий привал. Дикие кабаны бегали по пустырю, по увядшим листьям и сломанным виноградным лозам. Это была печальная картина, довольно обычная теперь в Португалии, прежде так тщательно возделанной, а сейчас покинутой ее обитателями, бросившимися в погоню за золотом в заокеанские страны.

«Так же пустынна, нет, еще более выжжена солнцем—святая земля, «земля радости». Никто не спасет ее. Я гибну. Нельзя установить порядка в этом мире».

Ему захотелось уйти от слуг и подняться на вершину горы, на которой рос раньше виноград. Он снова взглянул на красное осеннее солнце, прежде чем оно исчезло за коричневыми дымчатыми облаками.—Исчезнуть... как он сам стремился к этому! Зайти, совершив свой дневной труд, так же, как заходит это доброе, самодовольно поблескивающее солнце. Он с грустью вспомнил о своем посещении Мольхо, когда тот лежал в постели. С какой радостью приветствовал он тогда в юноше сына и преемника! Это была ошибка! И теперь холодная дрожь охватывала его при мысли, что ему придется одному заканчивать свое дело.

— Собирайтесь в путь!

Приказ Реубени поднял на ноги его спутников, только что расположившихся отдохнуть.

Ему казалось непростительным, что юноша не опра-

вдал его надежд. Это было самое крупное огорчение, какое когда-либо причинял ему человек. Возвращаясь домой, он гнал лошадь все быстрее, быстрее. И вместе с нею как бы пришпоривал в себе все злые чувства: «Я переоценил его. И не только в этом. Я переоценил его искренность и прямоту. Что же, неужели только я обманщик? Он тоже обманывает! Ведь пришел же он ко мне с фальшивой бородой и в маске Гарсия де-Норонха. Красивое имя! Вымышленное или украденное? Все равно. Имя звучное. Хитрость была хорошо придумана. Кто бы мог поверить, что добрый юноша способен на это! Такой обман не хуже и не лучше, чем мое генеалогическое дерево, восходящее до царя Давида. Нет, пожалуй, еще лучше. Ибо мне не удастся изобразить такую непосредственность и прямоту, какая выражается на его лице. Это самое низкое притворство: его гладкие розовые щеки симулируют мечтательную наивность, под прикрытием которой измышляется такое коварство, что у меня на лице к прежним морщинам от этого прибавилась бы еще целая сеть новых жульнических складочек».

Подавленный такими низменными мыслями, явную несправедливость которых он болезненно сознавал, сарприбыл в Сантарем.

В полночь он подъехал к своему дворцу.

В саду горели факелы, звенели голоса. Кто разрешил ученикам устраивать это празднество?

В белых одеждах под пальмами, словно белые каббалисты из Софед, празднующие на могиле Симона бар-Иохаи «холлулу», мистическую свадьбу смерти, слияние души с богом.

Здесь тоже танцуют. Ученики образовали круг, держатся за руки. Шаг налево, шаг направо. Цепь колыхается под звуки пения и скрипок. Слуги, и среди них

старый Тувия, разносят груды апельсинов, персиков, гранат и медовых пряников.

Сару, в его мрачном настроении, веселый праздник кажется издевательством.

Кто разрешил ученикам одеть белые полотняные одежды! Обычно они, как и все евреи, одеты в мрачное черное платье!

Прежде чем он успевает спросить, он замечает в толпе сияющего Мольхо. Он тоже в длинном белом одеянии, которое на нем особенно бросается в глаза, потому что до сих пор он всегда ходил в костюме португальского кавалера.

— Мы празднуем выздоровление нашего друга Мольхо,—оправдываясь, говорит какой-то робкий голос.

Реубени не обращает на него внимания. Взглядом он выхватывает из толпы Мольхо. Тот покорно подходит.

— Кто разрешил тебе носить еврейское платье?

— Я думал...

«Действительно, он ведет себя, как ученик! А я—как учитель, который отчитывает его». — Но почувствовав в себе эту власть учителя, Реубени сейчас же начинает тяготиться ею.—«Удивительно, что всегда он приводит меня в раздражение, и всегда это раздражение почему-либо оказывается неосновательным, так что всей тяжестью оно обрушивается обратно на меня, и только на меня!»

Он смотрит на сына, друга, раба и учителя—ибо Мольхо объединяет для него все это,—испытующим взглядом окидывает его с ног до головы. Сколько раз он уже это делал! Ничего не видно. Мольхо почтительно выдерживает испытание. Он готов без одного слова стоять так часами. Сар в этом уверен.

Строгим тоном он продолжает:

— Я не возражал против того, чтобы мои ученики

посещали тебя. Но приходить в мой сад было тебе запрещено. Мне не нужно было этого говорить. Осторожность должна была внушить тебе это. Разве ты не понимаешь, что ты этим можешь погубить всех нас!

Мольхо молча опускает голову. Он принимает покаяние. «Передо мною у него нет гордости»,—думает про-себя Реубени—и ненависть его загорается снова. К такой безответной покорности нельзя придраться.

— Ты очень неблагоразумен, Диего Пирес.—Он называет его христианским именем, чтобы этим сильнее задеть его.—Ты подвергаешь своих друзей жестокой опасности, Диего Пирес.—Неужели нужно, чтобы из-за одного пепельного голубя пошли на заклятие все белые голуби? Ты отдаешься радостям своего сердца, Диего Пирес, но не спрашиваешь о том, что творится вокруг. Это по твоему совету Элиагу покинул нас и отправился к месту гибели?

Этот вопрос должен подействовать как удар кнута. Но глаза Мольхо смотрят детски-невинным взглядом. Ему даже не причиняет боли, что его называют ненавистным именем. Правда, это принижает его—но он и сам ни к чему не стремится, как быть приниженным. И потому, что он сам сгибается, его нельзя сломать.

— Твой слуга никогда не говорил об этом с Элиагу,—тихим голосом возражает он.

Сар, собственно, и не ожидал другого ответа.

— Это еще не все,—продолжает он еще более угрожающим тоном...—Тебя ищут уже в Альмериме и в Лиссабоне. Разве ты не подумал о том, что апелляционный суд, где ты служишь, должен разыскивать тебя, так как ты отсутствуешь без разрешения уже несколько недель? Что ты придумал, чтобы привести хоть сколько-нибудь основательное оправдание? Я не могу допустить, что ты просто жил, ни о чем не думая, не

заботясь о последствиях твоих поступков. Что будет, если тебя найдут здесь, в нашем саду, одетым в еврейское платье, увидят у тебя на теле бесспорный знак союза с нами, союза, в который ты самовольно проник! Тебя сожгут на костре! Но и нас тоже ожидает смерть! И наши восемь кораблей, на которых мы собираемся отправиться в Хабор,—погибли, прежде чем мы отправились в путь!

Реубени озирается кругом. Нагромоздив все эти ужасы, он хочет теперь полюбоваться своим триумфом.

— Но я не терял даром времени в Лиссабоне. Что можно было предупредить из последствий, проистекающих от глупостей, наделанных Элиагу, то я предупредил. Подумал также и о тебе. Получил отпуск для тебя у твоего начальства. Правда, теперь он уже кончается. Ты ушибся, упав с лошади, и лежал больным у одного из граждан в Сантареме.

Впечатление, которое произвели его слова, нарушается курьезным обстоятельством. Среди наступившей безмолвной тишины, пока каждый с изумлением размышляет о мудрости и о предусмотрительности учителя, раздается звон тарелок. Старый Тувня споткнулся об пень. Его поднимают, приказывают молчать, некоторые смеются.

Реубени делает вид, что ничего не замечает.

— Я советую теперь тебе, Соломон Мольхо, снять это платье и покинуть Сантарем в том же одеянии, в котором ты явился сюда. Ты вернешься ко двору твоего короля, твоя тайна останется тайной, и если ты не желаешь погубить нас, ты должен знать, что впредь тебе следует избегать нас.

Среди учеников проносится едва слышный ропот. Он больше в движениях губ, потому что сказать что-нибудь никто не решается.

Сар обращается к ним для большей убедительности: — Ведь он ни к чему другому не стремится как умереть. Он сам сказал, что это его высшее желание. А вы, разве действительно хотите, чтобы он увлек вас в могилу!

Это фальшивый тон! Сар это знает.

«Во всем, что я говорю против него, звучит фальшь. Это какое-то проклятье. И если я даже совершенно не знаю, в чем тут фальшь, другие замечают ее, и она как тень становится между ним и мною».

Сар и на сей раз видит тень на молчаливых, почти враждебных лицах учеников.

«Странно, что они сердятся на меня, тогда как я спас их от опасности, угрожавшей их жизни. А на него они, очевидно, не сердиты за то, что он подвергал их опасности. Неужели ему действительно дозволено все, а мне ничего?»

Реубени совершенно забыл, что он достиг сейчас вершины победы. Соперник изгнан—никто не решается противоречить. И, тем не менее, эта победа его не веселит.—«Да, все они хотят умереть вместе с Мольхо, все! И я когда-то тоже хотел умереть с ним, с поцелуем на его прекрасных губах—тогда, когда он был, казалось, ближе к смерти, чем к жизни».

Он хочет только, чтобы Мольхо не унижался, не молил о пощаде. Он любовно пожимает ухватившуюся за него руку. И в прощании между ними союз!

И Мольхо не унижается. «Против своего желания я помог ему»,—думает про-себя Реубени. И восхищается покорными, грустными словами ученика:

— Я принимаю это на себя как покаяние! Пусть это заменит тридцать девять ударов плетью, которые я давно заслужил за годы, проведенные мною в заблуждении.

На всех лицах почтение и хвала смиренному.

Тувия также стоит погруженный в благоговейные думы. Теперь он уже не мешает, как раньше. Глухой полоумный старик в блаженном оцепенении созерцает происходящее, хотя и совершенно не понимает всего этого. И кажется, что высшие силы проявляют через него, их мертвое орудие, свою таинственную волю.

Всеобщий заговор в пользу Мольхо. Реубени не может этого истолковать иначе. Ему одобрительно кивают головами в то время как он обвиняет себя в ужасном преступлении.

«Значит, люди оправдывают того, кто сам себя обвиняет? А мне, стремящемуся создать доброе дело, они мешают. Зачем я противлюсь этому? Зачем я ищу объяснений вместо того, чтобы просто зарыдать и сказать: он лучше меня?»

Но рыданиями раздражается Мольхо. Он совершенно не замечает учеников, ставших на его сторону, восхищающихся им. В своем чистом невинном обожании он видит только сара.

— Но не всегда будет гневаться господин мой—он даст мне срок для покаяния—потом позволит мне вернуться.

Сару хочется, на зло всем, сказать правду, которой никто не поймет. К чему скрывать ее?

— Не в раскаянии дело, Мольхо,—и я нисколько не гневаюсь на тебя. Я отсылаю тебя по соображениям осторожности. И знай, что бывает такое время, а сейчас именно такое время, когда осторожность и ум ценнее самого святого раскаяния.

XX

Мольхо непоколебим, сар озабочен. События развиваются именно так, как предвидел Реубени. Прав оказы-

вается он в своей тревоге, а не Мольхо в его непоколебимости.

В Бадахоце монах-францисканец явился к Фирме-Фе. Его впустили во дворец епископа. Там он вытащил кинжал из-под платья и одним ударом заколол опасного доносчика. Сбежалась стража, чтобы поймать монаха, который через камин забрался на крышу и в течение часа выдерживал осаду, а тем временем группа неизвестных людей явилась в город, обезоружила немногочисленную охрану, оставшуюся в инквизиционной тюрьме, и освободила всех заключенных мужчин, женщин и детей. Затея была хорошо подготовлена. Повозки ждали, чтобы немедленно перевезти спасенных через границу. В горах португальской провинции Эстремадуры они рассеялись и разными путями добрались потом до берега. Марраны в Кампо-Майор добились своего. Единственной жертвой, оставшейся в руках врагов, был монах, который пожертвовал собою.

Его подвергли пыткам.

Несмотря на ужасные мучения, он не произнес ни слова. Даже имени его не удалось узнать. Было очевидно только, что это—еврей, переодетый монахом. Пытки были повторены несколько раз, хотя по букве инквизиционных правил это не допускалось. Церковное милосердие разрешало пытать только один раз. Выход из положения нашли в том, что вместо повторения это называли продолжением пытки, каковое могло применяться к упорствующим обвиняемым через известный промежуток времени, до предсмертных мук.

Реубени отправил двух своих учеников в Бадахоц.

Они видели заключенного. Это был Элиагу. Реубени знал это. Знал, что Элиагу никогда не предаст. Никакой связи между его двором в Сантареме и делами в Бадахоце установить не удастся.

Виселица освободила Элиагу от долгих немых мук.

И все-таки угрожала опасность!—В эти дни, когда возбуждение, вызванное убийством Фирме-Фе, достигло крайнего предела, люди видели, как бывший хозяин Мольхо, Альдика, несколько раз тайком пробирался к алькаду.

Здесь оказалось слабое место в каменной стене.

Очевидно, этот человек, знавший многое и которому не остался неизвестным также и побег Элиагу, был очень перепуган следствием, которое велось в Бадахосе. Об ужасах его передавали из уст в уста. Элиагу, подвергнутый пыткам, мужественно выдержал их; Альдика, которому пытки только угрожали, не устоял.

Как укрыватель он приравнивался к соучастникам. Только донос мог спасти его.

Алькад явился к Реубени, чтобы арестовать его.

Но его защищала королевская печать на охранной грамоте.

До каких пор? Альдика мог представить неопровержимое доказательство. Оно было на теле у Мольхо, королевского секретаря. Таким образом, благодаря Мольхо, такой двусмысленный субъект, как Альдика, оказался в роли укрывателя, и тот же самый Мольхо был виновником опасного доказательства этого укрывательства.

«Так я и знал: всему злему я с успехом оказывал сопротивление,—но чистое воодушевление чистого человека погубило меня».

Однако сар не желает делать ему упреков. Ни словом не упоминает о том, что он во всем оказался прав, в том числе и в отношении Альдика. Беседа, для которой он вызывает его, преследует иную цель. Спасти то, что еще можно отстоять в их плане. Опасное доказательство должно покинуть страну, должно исчез-

нута. Тогда Реубени, может быть, еще сумеет спокойно защищать свою позицию перед королем и снова пустить в ход все средства для того, чтобы достичь своей цели. Но в глубине души он уже не верит в это чудо. Он только не хочет сознаться перед собою самим, что исключительно забота о жизни Мольхо заставляет его предпринять эту ночную поездку.

Они встречаются на пути между Лиссабоном и Санта-ремом в деревушке Сальватерра—в опустевшем винограднике, который однажды был свидетелем отчаяния Реубени.

— Я не думал, — говорит сар своему ученику, — что я еще раз встречусь с тобой. И меньше всего думал, что мы встретимся таким образом.

Все фактические обстоятельства быстро изложены. Изумлен Мольхо предательством Альдики, убедился он теперь, что тайная синагога не была еще достаточной порукой? На все он отвечает только одной фразой, проникнутой трепетным уважением к тайнам и к справедливости того, кто правит миром.

Сару в этот момент он кажется несколько глуповатым, и он припоминает, что уже не раз у него слагалось такое мнение.

Но его недовольство исчезает, как только он слышит приятный, сильный голос Мольхо: «Я знал, учитель, что вы позовете меня в эту ночь. Ваша душа посетила меня прошлой ночью. Старец приготовил меня к великому поручению, которое вы мне дадите».

Эти слова не могут не раздражать сара.

— Да, я действительно дам тебе великое поручение. Ты должен немедленно покинуть родину и меня, уйти за море в царство султана, в Салоники или Адриано-поль или к каббалистам в Софед, куда-нибудь подальше, где нет преследований.

— Господин осчастливил меня, — ликует Мольхо.

Реубени отпрянул.

— Я навсегда отсылаю тебя от себя.

— Чтобы возвестить истину господина моего в странах и на островах.—Я удостоился великой чести.

Мольхо неуязвим, а у сара на груди целая гора лжи, которая днем и ночью спирает ему дыхание. И сару становится жалко юношу, который в своей невинности и неопытности так безгранично верит ему.

— Дитя мое, дитя, какую истину собираешься ты провозгласишь, когда во мне самом нет ничего, кроме лжи?

И пока они часами ходят по разрушенному винограднику, он рассказывает ему все.

— Я не принц из Хабора, я родом из Чехии, мой отец писал свитки Торы. Меня зовут Давид Лемель, а не Реубени.

Он разворачивает перед ним всю свою позорную юность, вплоть до того момента, когда он принял решение сделать такой позор невозможным навсегда для всего народа. Рассказывает, как это решение погнало его к южному морю и в самые отдаленные страны, на поиски утерянных племен Израиля и их свободного царства. Он ничего не утаивает теперь. В Риме, в беседах с Диною и Маккиавелли, в нужный момент появился запор, затворявший двери разоблачений, но на этот раз перед Мольхо двери растворяются все шире и шире, и широким потоком вырывается все, даже то воспоминание, в котором он неохотно и с болью признается самому себе, которое является глубочайшим фундаментом его миссии и в то же время заставляет сомневаться в этой миссии. Да, он действительно был в царстве Хабор. Он нашел его, проник через оазис, который тянется по каменистой Аравийской пустыне, в строго охра-

няемые врата, в область, населенную свободными вооруженными евреями. Они действительно живут там, триста тысяч, колена Реубен, Гад и половина колена Манассе, бедуинское племя, говорящее по-еврейски. И правят ими царь Иосиф и семьдесят старейшин. Брат короля, герой Реубени, о котором рассказывал Герзон, рыжий сторож на башне в Праге, тоже существует в действительности. Только этот сар Реубени теперь уже старик и давно передал командование над армией своим сыновьям. Но его слово имеет большой вес, и Давиду пришлось испытать это на себе. Ибо как раз этот гордый сар Реубени был его решительным противником и приказал даже арестовать его и подвергнуть телесному наказанию. Он убил бы его, если бы за него не вступились старейшины. От него исходило предложение, которое было принято всеми и, наконец, было провозглашено, как решение царя и совета, предложение, глубоко разочаровавшее Давида и положившее конец всем его планам, по крайней мере временно. Реубени, подлинный Реубени заявил, что евреи в Хаборе являются свободным народом, как все прочие народы, а выродившиеся, безоружные, попавшие в рабство евреи в западных странах не могут считаться их братьями и даже родственниками. Такой родни им пришлось бы стыдиться перед всеми другими племенами.

— Вот каков я и какова моя миссия, Молюхо. Правда, в этой счастливой стране развеивается белый шелковый флаг с буквами М. К. Б. И., но флаг, который ты видел у меня, есть только подделка.

Теперь он все скажет. Раз уже сказано самое существенное, нет смысла умалчивать о мелких хитростях, при помощи которых поддерживалась великая ложь, главный обман. С некоторой гордостью, гордостью фокусника, который, сойдя с подмостков, объясняет свои

чудодейственные штучки в тесном кругу привилегированных зрителей, он дает Мольхо заглянуть в то, что до сих пор составляло его ревниво оберегаемую тайну. Резче чем когда-либо сверкают дьявольские желтые огоньки в его глазах. С восторгом опустившегося человека он выставляет на показ свой позор.

— Ты послушай, почему я всегда говорил только на священном языке, всегда брал с собою переводчика, который переводил всю беседу. Уже тогда, когда я высадился в Венеции, я понимал и говорил по-латыни и по-итальянски. Еще мальчиком я читал римских поэтов. Ну, так как же ты думаешь, для чего мне понадобился еврейский язык?

— Для того, чтобы внушить князьям и королям почтение к еврейскому языку, учитель мой.

Сар ошеломлен.

— Может быть, и так. Конечно, можно и так взглянуть на дело. Но ты не думаешь, что это делалось главным образом из хитрости? Так знай же: я заставлял говорить переводчиков только для того, чтобы лучше обдумать и быть защищенным против неожиданных вопросов. И вначале это было весьма необходимо, прежде чем я вошел в роль сына царя и посла. Папа, который очень умен, на первом же приеме прямо сказал мне, что посольство мое, может быть, преувеличено, а может быть, и совершенно вымышлено. Это был опасный момент! Без переводчика я бы не устоял. — И еще одно, но не пугайся, хотя это и безобразно: так как думали, что я понимаю только по-еврейски, то в моем присутствии часто говорили о секретных вещах, которые мне потом были весьма на пользу.

Мольхо вздрогнул.

«Ну, наконец, я добился, чего мне надо,—подумал Реубени. — Теперь я сумею уже окончательно поставить

ему голову на место». Он испытывает жестокую радость, что вторгся в призрачный мир своего друга и может разрушить этот мир. Радость его не умалется от того, что вместе с тем он разрушает и самого себя. Пожалуй, даже увеличивается от этого.

— Ты знаешь, я часто пощусь. И говорили, что старейшины в Хаборе тоже постятся, пока я не вернусь к ним. Старейшины, которые и знать меня не хотят. Какая нелепость! Я пощусь, чтобы укротить мою пылкую злую кровь. И поэтому я однажды подверг себя истязаниям в Риме, а не из раскаяния и не для того, чтобы искупить злое деяние.

— Учитель, учитель! — громко восклицает Мольхо как бы только для того, чтобы разогнать призраки. Жалобно звучит его возглас среди виноградников.

По дороге им повстречалась полуразрушенная сторожка. Они уселись на развалившихся бревнах у тихо журчащего ручейка. Полный месяц выступил из-за облаков, ослепляет белым известковым светом, который он разлил вокруг.

Реубени вздыхает с некоторым чувством облегчения.

— Этим еще не оправдана отвратительная ложь, в которой я живу. Ты только подумай: я обманул доброго папу, благочестивого и расположенного к нам кардинала Витербо, обманул всех, кто мне доверял. Если это здание рушится, оно похоронит под своими развалинами не только меня, но и весь народ!. Вот на что я пошел, — допустимо ли так рисковать? Поверь мне, часто я чувствую, что слабею. Иногда по ночам меня душит страх...

— Нет, учитель восстанет, как лев. Смелый — имя его.

Смелость, смелость — когда донеслось до него это волшебное слово? Тогда, когда он ехал в лодке по городскому рву. И с тех пор — все снова и снова: доступ

ко всем тайнам его жизни — всегда только смелость. Смелость отворяет запертые двери, страх закрывает даже те, которые отперты. А теперь этот юноша высказывает ту же самую истину — и Реубени поражен, как умно и рассудительно разбирается он в совершенно чуждом ему положении.

Ответы Мольхо были разумны. Он принимал всецело как факт, что миссия Реубени вымышлена, самовольно им присвоена. Он говорил только осторожнее, чем всегда, — было заметно, что он чувствует себя не вполне уверенным. Но он ориентировался с изумительной быстротой. Правда, он не вполне соглашался, отыскивал противоречия в словах Реубени, — но эти противоречия касались деталей. Основное же он, казалось, безусловно понимал и — больше того — одобрял. Это одобрение исполнило сара неописуемой гордостью и чувством удовлетворения. Такое чувство испытывает верующий христианин, когда священник отпускает ему все грехи.

Светает. Веет легкий ветерок. Трава распространяет кругом свой аромат. Как и тогда, в римской Кампаньи, после ночи, проведенной с Маккиавелли. Только тогда он не высказался до конца. Сегодня он сделал это. И Реубени чувствует, как с него спала тяжелая ноша.

Теперь он заканчивает. Заявляет еще в заключение, что, быть может, было бы преувеличением назвать весь его план ложью, — потому что он заключает в себе и много верного. Он совершенно честно хочет обучить европейских евреев владеть оружием, за помощь, которую он просит у государств, он собирается, таким образом, щедро заплатить. Что же касается вспомогательной армии с Востока, — то он полагает, что и она в нужный момент будет готова помочь.

— Это самое замечательное в моем плане, — восторженно говорит он — теперь он снова верит в себя, —

что он начинает ложью и кончает правдой. Восемь португальских кораблей с еврейскими воинами появляются в Красном море. И тогда нашим вооруженным братьям в Хаборе уже нельзя будет презирать нас как людей, не владеющих оружием. Исчезнет эта противостественная отчужденность между свободными евреями и нами. Мы объединимся, и я только заранее сказал за них то слово, которое добровольно скажут они, когда убедятся в нашей храбрости и нашей нетронутой силе. Таким образом я во истину был их посланцем. Задним числом они признают меня. И армию в пятьдесят тысяч человек, которую я выдумал, я своей выдумкой сотворил из ничего, а теперь она окажется тут как тут и в соединении с экипажем наших кораблей будет еще сильнее. И, кто знает, может быть, мой противник, герой Реубени подаст мне руку в знак примирения и скажет: «Ты совершил то, что я желал и против чего я боролся только потому, что никогда не надеялся увидеть это».

Последние его слова Мольхо уже не слушал. С первыми лучами утреннего солнца он опустил на колени как бы в молитве без слов. Теперь он пробормотал:

— Пусть благословит меня учитель.

Все еще учитель! После таких разоблачений это звучит насмешкой, и Давид хочет запретить ему называть себя этим именем. Но слова, которые произносит вслед за тем Мольхо, приводят его в трепет. Они—страстный символ веры.

— Сегодня была самая тяжелая ночь в моей жизни. Вы пришли испытать меня, учитель. Благо мне, что я не поддался искушению...

— О чем ты говоришь? Какое искушение?

— Так же ясно, как то, что за горами восходит солнце, так же ясно я знаю, что слова ваши были только при-

творством. Но сердце мое не колебалось и верит в вас, в помазанника-Мессию, сара Давида Реубени, который послан богом из царства Хабор, чтобы спасти нас от грехов наших. И только теперь, после этого испытания, учитель, я считаю себя достойным быть глашатаем ваших истин. Теперь вы не откажете мне в вашем благословении.

Реубени плачет. Он не в состоянии взглянуть юноше в лицо. Отвернувшись, он кладет руку на его голову.

— Ступай, сын мой,—шепчет он, словно кто-нибудь может их услышать среди этой безграничной тишины и святотатственно опорочить эту, приводящую его в трепет тайну, в которой слились: позор, радость, разочарование и любовь.—С тобой не может случиться ничего дурного, Соломон Мольхо, ибо все, что соприкоснется с тобою, становится добром. Я благословляю тебя благословением, которое исходит от тебя самого. Ступай, сын мой, вера твоя помогла тебе.

Он идет туда, где его поджидает слуга с лошастью. Восходящее солнце кажется ему щитом, отражающим лучезарную добродетель Мольхо. Этим отражением рассеиваются все туманы и освещается мир.

XXI

После убийства в Бадахоце Реубени впал в немилость при дворе. Там догадывались, что он связан с этими событиями.

Бегство Мольхо решило все дело.

Теперь было ясно, что волнения среди марранов были вызваны лицами, окружавшими сара. Правда, если бы Мольхо даже остался, положение нисколько не улучшилось бы. Но, как бы то ни было, искусный план Реубени разбился из-за Мольхо.

Он попытался сослаться на письмо к коннестаблю, в котором он просил избавить его от посещений Мольхо. Но свидетельскими показаниями было доказано, что впоследствии он терпел эти посещения, равно как и интимное общение Мольхо с его учениками. А теперь секретарь бежал. Этим самым подтверждался слух о его отпадении обратно в иудейство.

Король приказал сару в двухмесячный срок покинуть Португалию.

Он просил аудиенции и получил ее. Ему был оказан благосклонный прием. Выяснилось, что раздражение короля было поверхностным и поддерживалось его окружающими. В конце концов у короля на все протесты Реубени имелись только старые возражения.

— Ты явился, чтобы разрушить мое королевство, возвращая марранов обратно в иудейство. И все целуют тебе руку, несмотря на мое запрещение.—В ребяческом уме монарха крепко засели эти сплетни, которые распространялись при дворе.

Сар сумел и на этот раз, как он неоднократно делал это уже раньше, успокоить ребенка, оскорбленного в своем достоинстве. Но тут на его наморщенном лбу отразилась, наконец, подлинная мысль.

— Если ты не бунтовщик, то как же ты допустил, чтоб твой друг Диего Пирес, секретарь моего апелляционного суда, совершил над собой иудейский обряд? — Король вскочил и затопал ногами. — И почему ты мне не скажешь, где он скрывается?

Вечно этот роковой друг! Реубени должен был убедиться, что всякое противоречие бесполезно. Когда прозвучало это волшебное роковое имя, он отказался от дальнейшей борьбы. Попросил только дать ему королевскую грамоту, подтверждающую серьезность переговоров, которые имели место.

— Для кого это тебе надо?

— Для моего брата, царя Иосифа, и для его святейшества папы,—чтобы доказать, что с моей стороны было сделано все возможное.

И он твердо решил снова начать сначала, отправиться в Рим и там искать новых путей.

Король и брат его кардинал—инфант Генрих—пожелали еще раз взглянуть на знамена, которые уже однажды возбудили их любопытство. Сар гордо отказал им:

— Эти знамена—символ единения между мною и коленами Израилевыми. Только когда наша армия будет выстроена в боевом порядке, я снова разверну их.

— Прими нашу веру, и я назначу тебя одним из наших военачальников,—счел нужным предложить кардинал.

Сару было нетрудно спокойно отнестись к такому явному проявлению ограниченности:

— Я не желаю быть по отношению к брату моему и старейшинам Хабора подобным ворону из Ноева ковчега, который был послан на разведки и не вернулся назад.

В мрачном спокойствии он вернулся в Сантарем.

Самообладание покинуло его только тогда, когда он вошел во дворец, с которым он вскоре должен был распрощаться. Он открыл ящик, где лежали знамена. Ему ударил в нос пыльный спертый воздух, что-то вроде запаха тления. Это покрытая шитьем, полуистлевшая шелковая материя, которая была значительна и великолепна как весть о надвигающихся народных массах, производила теперь жалкое, безжизненное впечатление в шкафу. Знамена есть, но нет армии. Сознание неудачи причиняло ему мучительную боль.

Несколько дней спустя посланец короля привез документы. Монарх в официальных выражениях высказывал

свое сожаление по поводу того, что он не может в настоящее время поддержать план похода и союза, предложенный послом Хабора. Он считает этот план для себя весьма почетным, но в настоящее время его военные силы заняты другими предприятиями.



К этому была приложена еще другая грамота: свободный пропуск для посла, его свиты и имущества. Кроме того, при отъезде из гавани Тавира ему должны предоставить на государственный счет хороший корабль и передать в виде подарка от короля триста дукатов.

Крайняя подавленность овладевала марранами во всех городах и деревнях, через которые Реубени со своей свитой продвигался к берегу.

Все чувствовали, что рушилась великая надежда.

Догадывались также, что инквизиция не заставит себя ждать. Сар добился только небольшой отсрочки. Свет уже догорал. Сар ехал молчаливый, непроницаемый во главе своей свиты. Лицо его было неподвижно и спокойно, совершенно такое же, как при его приезде в Португалию. И он снова постился. В нем ничего не изменилось. Но на лицах учеников сквозило разочарование. И если бы даже это не было так очевидно, то изменившееся отношение властей красноречиво свидетельствовало о происшедшей перемене. Реубени прибыл в Португалию свободным господином, в каждой местности алькады и почетная свита приветствовали его от имени короля. Теперь тоже на остановках всюду при нем ставили стражу. Но она обращалась с ним скорей как с заключенным. Ему было запрещено останавливаться на ночлег в домах марранов, и солдаты, очевидно, следуя «приказу свыше» (потому что всюду это делалось одинаково), не позволяли марранам посещать его.

В Коруке и Мора толпы местного населения собирались убить еврейского царя. Пришлось вмешаться охране и вырвать его из рук населения, внезапно утратившего свое гостеприимство.

Появились памфлеты и карикатуры. В некоторых городах имели место нападения на марранов. Были убитые и раненые.

В Бея несколькими молодым марранам удалось проникнуть к нему, несмотря на охрану. Он принял их с нежной растроганностью. Теперь, когда все было потеряно, он мог слушаться веления своего сердца.

— Уповайте на бога,—сказал он им,—вы еще доживете до восстановления Иерусалима. На сей раз я пришел не для того, чтобы взять вас с собой в Иерусалим. Нам надо еще много бороться и молиться, прежде чем эта земля станет нашей и мы сумеем принести предписанные жертвы. На этот раз я пришел только сообщить вам, что помощь и конец мучений ваших близки.

Отрадное впечатление производило поведение некоторых деревенских старост, которые почтительно приветствовали Давида, когда он проезжал в первый раз, и которые не обладали дипломатическими способностями городских властей и не умели по одному мановению свыше превращать день в ночь. Они сохранили прежнюю приветливость, стали только чуточку назойливее и просили показать им знаменитые знамена. С болезненной судорогой у рта, Реубени приказывал своей свите развернуть знамена. Ему не хотелось отказывать этим простым добрым людям в том, в чем отказал королю. Крестьяне и жены их любовались шелковыми полотнищами с причудливыми знаками, хвалили хорошую работу. Слух распространился по соседним деревням, и всюду, куда приходил Реубени, повторялась эта просьба. Постепенно она стала для него мукой.

Но он всюду терпеливо показывал свои знамена. Он принимал, как справедливое наказание, что на этом позорном обратном пути постоянно видел символы своей лжи и своих неудавшихся планов и слышал, как расточали похвалы искусной вышивке и драгоценным золотым украшениям. Это невольно звучало как злая насмешка.

Но такие приветливые встречи были исключением.

Вскоре снова начались нападения. Никакие королевские грамоты не могли помочь против разбойников, которые уже недалеко от места назначения, от Тавиры, отняли у него большую часть багажа.

Когда они подошли к берегу, некоторые из его слуг убежали от него, не желая связывать свою участь с ним. Из учеников многие тоже уже отсутствовали.

Алькад в Тавире держал себя совершенно враждебно. Триста дукатов не прибыли. О приказе выплатить их никто ничего не слышал. Кроме того, ни в Тавире, ни в Лагоа не нашлось подходящего корабля с надежной командой. Слуга, которого Реубени послал к королю, совсем не вернулся. В такой неурядице проходило время. Наконец, прибыло письмо короля, которое в резких выражениях напоминало, что вместо двух месяцев отъезд сара затянулся на четыре. На дальнейшую отсрочку король не соглашался. Реубени пришлось на собственные средства нанять корабль с чужою командой, хотя его предупреждали относительно капитана, который считался обманщиком. В течение восьми дней несчастное суденышко чинили, чтобы привести его в сколько-нибудь сносное состояние. За переезд в Италию сар должен был вперед заплатить ростовщическую цену в двести дукатов.

Ночью, прежде чем ушел корабль, городская стража произвела на нем обыск в самых унижительных формах. Смотрели, не спрятались ли там марраны, ко-

торым были запрещено выезжать из страны. Во время обыска у сара и его спутников было отнято все оружие, несмотря на их решительные протесты.

Это жгло ему душу: «Я приехал сюда, чтобы просить оружие для всего Израиля, а теперь король не только не дает мне своего оружия, но и отнимает у меня мое собственное».

Так покинул он Португалию.



После непродолжительного путешествия капитан причалил к испанскому берегу в Альмерим.

Сар немедленно был арестован. Он предвидел это, но безуспешно предупреждал капитана. Евреям не разрешалось вступать на испанскую территорию.

Охранная грамота португальского короля, рекомендательное письмо папской курии—не помогли. Реубени пришлось отправиться в тюрьму. Тем временем некоторые из его слуг и учеников спаслись бегством на других кораблях. Кучка его верных сторонников становилась все меньше.

Было бы изумительно, если бы груз, оставшийся на корабле без охраны, не был в значительной части разграблен. От имущества Реубени уцелело лишь немного. Капитан даже собирался уплыть со своим кораблем, но, по приказанию алькада, оказавшегося честным человеком, паруса были отнесены в его дом и, несмотря на все сцены, которые устраивал капитан, не были ему выданы. Тем временем пришло распоряжение из Гренады. Король Карл разрешал свободно продолжать путешествие.

Но и это не служило достаточной охраной. Когда буря снова заставила причалить к испанскому берегу, в Картагене, великий инквизитор Мурсиа приказал аре-

ствовать сара. Тщетно тот показывал императорское письмо, разрешавшее ему высаживаться на территории всей империи. «Inquisitio superior mundi regibus». И, действительно, инквизиция оказалась сильнее повелителей земли. Было произведено строгое расследование, и Реубени вместе со своими спутниками был освобожден из-под ареста только тогда, когда с несомненностью было доказано, что он никогда не принадлежал к католической церкви.

Холодные пальцы инквизиции коснулись его в первый раз как бы в предупреждение.

В своей провинциальной тюрьме он страстно мечтал о возвращении в свободный Рим, в мировую столицу, блиставшую духовной красотой и возвышенным отсутствием предрассудков.

Все его упование было на папу, послом которого он продолжал себя считать.

Но тут, едва только он вышел из тюрьмы, его постигла ужасная весть. Рим был взят приступом, войска императора Карла, испанцы и немцы обратили столицу мира в пожарище и так разграбили и разрушили ее, как этого до них никто никогда не делал, даже вандалы. Осажденный в замке Ангела, лишенный всякой власти, несчастный папа Климент умолял христианского императора о мире.

Реубени понял, что это означает полное крушение его плана. Только теперь впервые пришла в голову ему мысль, что высшая сила, повидимому, не хочет допустить, чтобы избавление Израиля осуществилось через него, и что все старания тщетны. «Рим всегда был врагом Израиля,—думал про-себя Реубени.—Пятнадцать столетий мы надеялись на его гибель. Не странно разве, что он гибнет как раз в такой момент, когда он впервые дружелюбно отнесся к нам?»

Слишком много несчастий! Гнев неба чувствовал он в этой обостренной неблагоприятности судьбы. Мужество его было поколеблено. Он не мог ни на что решиться, нигде не находил утешения. Подумал о Мольхо, от которого, после той ночи в винограднике, не было никаких известий. Может быть, разыскать его! Но где? Потом он снова склонился к тому, чтобы отправиться в Рим и среди развалин великого города разыскать остатки своего плана.

Но дальнейшее путешествие принесло еще большие бедствия.

На берегу Прованса его корабль потерпел крушение.

Губернатор, господин де-Кларамонт, приказал отправить его в Авиньон для того, чтобы выторговать у евреев южно-французских общин огромный выкуп. Все, что осталось от их имущества, было теперь конфисковано. Все спутники разбежались. Только старый верный Тувия последовал за ним в тюрьму.

Два года прошло, прежде чем еврейские общины Карпентра и Авиньона, с помощью единоверцев за границей, собрали выкуп, значительно превышавший их силы.

Целых два года сар сидел в темнице, отрезанный от всего мира. С его званием князя и посла никто не считался.

Он терпеливо переносил это и никогда не жаловался.

Казалось даже, что в тюрьме ум его, приведенный в смущение и отчаяние разрушением Рима, успокоился. К нему вернулось самообладание, и он снова стал неутомимо строить свой план, по крайней мере, в мыслях.

Его только тяготило иногда, что он ничего не знал о событиях, которые изменили положение мировой политики после его ареста,

Наконец, его освободили. Он немедленно отправился в Италию.

Совершенно ограбленный, в сопровождении одного только Тувия, в нищенском одеянии, никем не замеченный, он прибыл осенью 1529 года в тот самый Рим, куда пять лет тому назад он совершал пышный въезд на белом арабском коне в сопровождении большой свиты.

XXII

Но это был совсем не тот Рим.

Все опасения Реубени оказались превзойденными ужасной действительностью этого разрушенного, опустошенного голодом и чумой города.

Хотя прошло уже более двух лет со времени великого ограбления «Sacco di Roma», тем не менее город был все еще в развалинах. Ни один дом не остался целым. Даже жалкие хижины водопроводов не были пощажены. В обнищавшем городе, лишившемся двух третей своего населения, никто не мог думать о строительстве. Даже возвращение папы из Орвието ничего не изменило. Радостный, полный жизни Рим не воскресал. Никогда не воскреснет! Он стал мрачным, бесцветным, мертвым, неподвижным.

Изю дня в день по городу ходят процессии. Во всех церквах, на всех площадях проповедуют покаяние.

Монашеские ордены вернулись к своим строгим обрядам. Францисканцы снова спали на голом полу, только два раза в неделю ели вареную пищу, а в остальное время питались хлебом и фруктами.

Мрачный дух Испании одержал победу не только на поле сражения, но и в умах.

Многие надежды стремившегося к свету человечества были разрушены этим поворотом. Среди планов, по-

терпевших крушение, был и план Реубени. Он даже не был одним из самых значительных среди них.

Давид пошел искать гостеприимный дом Горица фон-Люксенбурга,—место веселых сборищ на форуме Траяна. Он нашел пепелище. Между античными развалинами капитолийского склона скалили зубы новые разрушения. Ландскнехты опустошили виллу. Драгоценные античные манускрипты и произведения гуманистов, друзей хозяина дома, они подкладывали лошадям на подстилку вместо соломы. Сам старик, приветливый *senex Corycius*, умер от истощения сил и болезни сердца во время бегства в Мантую.

— Ведь я хотел войны,—безумная улыбка на лице Реубени.

Сухопарый эконо́м, заведывавший ранее виллой, при виде этой улыбки робко прерывает свой рассказ. Реубени говорит с ним так, как если бы он был в состоянии понять его.

— Да, мой друг, я хотел войны. И вот она действительно война.

Художники и ученые Рима либо умерли, либо рассеялись по всем странам света. Куда-то канула вся новая жизнь, которая была так плодотворна и так много обещала даже в своих ошибках. Реубени справляется о судьбе Маккиавелли. Великий патриот, мечтавший о величии и единстве Италии, успел как раз пережить падение Рима,—самый жестокий удар, нанесенный его родине. После этого он умер в отчаянии. Аретино нашел себе новое отечество в Венеции. Микель Анджело находился во Флоренции, которую он защищал против войск императора и папы в качестве главного надсмотрщика над городскими укреплениями. Другие из тех, кто был близок сару, спаслись бегством в Анкону, в Неаполь. Те, кто еще оставался в Риме,

робко держались в стороне. Так, например, добрый кардинал Эджидио фон-Витербо, дворец которого погиб в огне со всеми коллекциями и книгами во время «зассо», теперь был согбенным от горя старцем и никого не принимал в своем скромном обиталище, в монастыре августинского ордена.

Люди с ужасом вспоминали о некоторых предводителях ландскнехтов, которые особенно отличались зверством, грабежами, пытками и вымогательством. Один из них носил на груди серебряную дощечку с надписью: «Враг бога и сострадания». Наводя справки, Давид услышал однажды имя Ганса Зиндельфингера. Он стал расспрашивать дальше. О женщине, которая была вместе с этим немцем. И даже назвал ее имя, которое он робко избегал называть даже в мыслях: Моника Першюти. Он узнал, что после ухода императорских войск ее подобрали смертельно больную на улице. Потом она умерла в госпитале святого Иоанна от французской болезни, как и многие из женщин, бывших в лагере.

Моника, девушка из кузницы «Лягушка на болоте», красивая дочь кузнеца.

Был холодный дождливый день, когда Давид пришел в госпиталь. Но сторожа видели там столько горя, что не помнили об отдельных случаях. Только имя удалось разыскать в книгах. Давид долго смотрел на буквы, потом повернулся и ушел.

На лестнице он снова остановился и спросил монаха, кто из больных женщин, лежащих в госпитале, самая бедная и несчастная. Ему назвали девушку из Фраскати, заболевшую проказой, которая только что, будучи покинута своим женихом, родила слепого ребенка.

Давид попросил указать ему ее постель. Он снял там свой плащ—другого имущества у него не было.

Плащ он передал изумленной девушке. Затем, не говоря ни слова, он вышел на улицу.

XXIII

В места, заселенные евреями, он решался заходить только с крайней осторожностью. Он не хотел, чтобы его узнали. Хотел выждать благоприятный момент и тогда выступить. Но предварительно ему надо было, как это он всегда делал—и этим был обязан своему успеху—обстоятельно разузнать о политическом положении и частных делах тех людей, с которыми он собирался вести переговоры. В первую очередь он интересовался папой, с которым он снова хотел свидеться. Но ему со всех сторон говорили, что папа надломлен обрушившимся на него несчастьем и готов на все уступки по отношению к императору. Железному кулаку Испании подчинился и этот нежный, умный и знающий людей скептик-философ. Слухи подтвердились. Климент с большой помпой отправился в Болонью, чтобы там, в знак прощения, примирения и даже союза, подать руку человеку, войска которого разгромили Рим. А затем он короновал его императором в храме святого Петра. Нельзя было показать более явственно, что он считал свое дело проигранным.

Во время торжественной церковной службы император Карл V исполнял древние обряды, помогал служить в церкви, передавал святыне дары, сосуд с водой «так красиво и благолепно, что все окружающие удивлялись и радовались. Казалось, что он имеет опыт в таких делах и много упражнялся в них».

По выходе из церкви разрушитель Рима поддерживал стремя, помогая папе сесть на лошадь. И Климент терпел это. Чего же можно было ожидать от него, если он принимал такие притворные почести!

Как яд, впитывал Реубени эти вести из Болоньи.

Он нашел убежище в театре Марцелла, в развалинах старого здания. В сущности, это пещерное помещение занимал сапожник, устроивший здесь свою квартиру и мастерскую. Но в глубине темного полуразрушенного здания была широкая каменная лестница, которая, должно быть, раньше вела в галерею. Эту лестницу сапожник из сострадания уступил обоим чужеземцам—Реубени и Тувии. Две верхние ступени они, при помощи союмы, приспособили для спанья, нижние ступени служили стульями и столом.

Они жили неподалеку от еврейских улиц. Но все же не в самом еврейском квартале. Он всегда так старался выбирать свое жилище. Из театра Марцелла он ходил на еврейскую площадь, на Тибрский остров, в Трастевере. Вскоре он заметил, что его опасения были излишни. Никто не оглядывался в его сторону. Кто мог бы предположить в этом нищем прежнего сара и предводителя. Виски у него поредели, густая черная борода на пожелтевшем лице сильно поседела. При нем не было больше знамени, он не носил обращающего на себя внимание платья. Все это в течение тяжелых годов скитания после отъезда из Тавиры развеялось по всем направлениям ветра. В дырявом бесформенном одеянии Реубени терялся в толпе.

Еврейский квартал в Риме тоже был разгромлен. Вилла врача Иосифа Сарфати была разрушена. Сарфати сам умер; умерла и Дина—его милая и умная сестра. Все, что когда-то было так мило, было растоптано, рассеяно.

Из старых еврейских семейств, повидимому, остались лишь немногие. Все это были новые лица. В развалинах ютились беженцы. Беженское движение среди евреев не прекращалось, и только люди менялись. Теперь

они прибывали из других краев света. В этих жалких жилищах Реубени приходилось слышать злые речи. Там тайком посмеивались, что среди испанских солдат, свирепствовавших в Риме, было немало марранов. В те ужасные ночи гордые прелаты и аристократы Рима не раз дрожали перед евреем, принявшим облик христианина. «Наша месть эдомитам». Реубени краснел от стыда. Этот низменный вид греха он всегда желал предупредить своим великим грешным делом. Но бог не дал ему своего благословения.

Говорили ли еще среди евреев о Реубени и о его плане? Нет. То, что однажды заставило сильнее биться все сердца,—оказалось давно забытым среди нового надвинувшегося бедствия и позора.

Нет, однако, не совсем. Иногда до него доходили слухи о некоем посланце Реубени, который проповедует в далеких странах, в Адрианополе, и обращает неверных в свою веру.

— А когда сар был в Риме, он тоже проповедывал?

Когда он задавал этот вопрос, его не понимали. Людям было, повидимому, безразлично, будет ли улучшено их положение при помощи проповедей или каких-либо других, менее обычных средств. Они устремлялись ко всякому, кто что-нибудь обещал им.

Но вот однажды посланец Реубени прибыл в Анкону. В присутствии епископа он защищал преимущества иудейской веры перед христианством, которое он сам раньше исповедывал.

Реубени понял, что это был Мольхо.

Вскоре стали поступать все новые и новые вести.

Рассказывали, что посланец отправил пале письмо с предсказаниями. Он видел во сне, как на замке Ангела сидела птица Крум, птица потопа. Это означает большое наводнение в Риме. Кроме того, посланец

предсказывал второе наводнение в далекой северной стране, появление двух хвостатых звезд над Римом и землетрясение в Португалии.

Слова, которые говорил посланец, передавались потом в народе: «Близится время любви. Тогда завершится воплощение души. И небо будет знать волю творца своего».

Реубени чувствовал, как чуждая сила распространялась кругом. Они снова были здесь, сладкие волшебные зовы воодушевления, против которых он тщетно боролся. Это был другой путь, не тот, которым он шел. Может быть, и более правильный?

Он твердо решил на этот раз скрываться от Мольхо.

Он не испытывал радости свидания после многолетней разлуки. Не ощущал ничего, кроме страха, перед Мольхо—страха за свой план, который на этот раз должен быть выращен еще более тщательно, не переносил даже дуновения ветерка. Но им овладел также и чисто физический страх за себя. Когда он анализировал свои чувства, он замечал, что он до ужаса боялся Мольхо, почти так же, как его слуга Тувия, который при всем уважении к святому человеку старался держаться от него подальше.

Вскоре он узнал, что посланец прибыл в Рим и немедленно был принят папой.

То, на что не решился учитель после многих месяцев подготовки—явиться к папе, подпавшему под испанское влияние,—это ученику его, повидимому, удалось легко и свободно. По всей вероятности, он не задумываясь пошел на аудиенцию, не задаваясь даже мыслью о том, перед кем он выступает и в какой обстановке он его застает. Может быть, чуждый дипломатического искусства, он бросил папе в лицо свое прославление нудейства. Ведь ему ничего не вредило. Такую явную

неловкость никто бы не принял всерьез. У него, Реубени, тогда, когда он говорил с папой, задача была труднее! Разговор шел не о пустой болтовне, а о том, чтобы получить субсидии от папы. Имея перед собою такую цель, приходилось подготавливаться иначе и гораздо осторожнее, нежели это нужно для простого театрального эффекта!

Однако оказалось, что Реубени неправильно оценил впечатление, произведенное Мольхо на папу. Оно носило отнюдь не преходящий характер, а было изумительно глубоко. Рассказывали, что папа ежедневно принимал у себя еврейского посланца и верил в его предсказания. Реубени и это мог понять: «Тогда, когда папа был еще силен, он желал иметь дело со мною, с политиком, с жизнью. Теперь, униженный, он ищет спасения в объятиях фантаста».

Тем не менее, новый оборот, который приняло дело, заставил его колебаться. Он подумал, что со всей своей предосторожностью и мудрыми приемами он все же не получил от папы нужных ему субсидий, между тем как Мольхо каким-то загадочным образом все больше и больше завоевывал себе доверие папы. В то время много говорили о том, что Климент собирается утвердить папской буллой инквизицию в Португалии,— влияние Мольхо сказывалось в том, что опубликование уже принятой буллы было приостановлено.

Среди евреев зародились новые надежды. Мольхо был спасителем народа. Сар с горечью убеждался, что единственный фактический успех, которого он добился среди своих грандиозных планов,—отклонение этих планов, но даже этот скромный успех приписывался другому, как будто для него самого ничего уже не оставалось. Он не хотел признаться самому себе, что завидовал удаче Мольхо, и боролся с этим низменным

чувством. Разве не все равно, от кого придет облегчение несчастному народу? Только бы пришло! Он знал это, чувствовал—и все же не мог радостно, без всякого осадка прочувствовать это до конца.

XXIV

Не было имени более славного, чем имя Соломона Мольхо. Многие его восхваляли, никто не решался порицать.

Каждую субботу Мольхо проповедывал в синагоге в Риме. «Он говорил иногда таинственно, иногда открыто о том, что изложено в устном и письменном учении,—повествует современник.—Говорил неслыханные вещи; каждый стих, который его просили объяснить, истолковывал на сорок девять разных ладов. На слова «благословен будет господь денно и ночью» он однажды произнес проповедь, длившуюся целый день, излагая все новые и новые толкования. Изумление росло среди христиан и евреев, отовсюду стекались ученые и простолюдины для того, чтобы внимать мудрости Мольхо, и он рассылал пастырские послания по всем странам». В хронике Иосифа Гакогена мы читаем: «Многие испытывали его загадочными вопросами. Но для него ничего не было тайной».

Почитание, которым окружали Мольхо, достигло крайних пределов. А когда еще исполнились все его предсказания, то удивление выросло до размеров, граничивших с ужасом.

Осенью 1530 года Тибр вышел из берегов и затопил всю Римскую равнину. Волны поднялись на четыре фута выше уровня прежних наводнений. Триста человек стало жертвой воды. Папа, своевременно предупрежденный Мольхо, переехал в Остию. Появились и кометы, как

он предсказывал, и наводнение случилось в северной стране, во Фландрии. А в начале 1531 года Лиссабон постигло предсказанное ему заранее землетрясение.

Теперь уже никто не сомневался, что Мольхо одарен таинственными силами.

Усталому папе, в его бессилии, может быть, даже льстило, что, на зло всем его врагам, у него при дворе находился посланник неба или, по крайней мере, замечательный чародей. Он предоставил ему помещение в самом Ватикане—честь, которой никогда не удостоивался Реубени.

Реубени скрывался, никем не узнанный, в своей пещере.

.

Однажды занавеска отодвигается и, издавая нечленораздельные звуки, вбегает Тувия. Он с испугом указывает на улицу, откуда он только что пришел. Кто-то бежит за ним следом. Сар только ночью выходит на улицу, но Тувия ходит собирать милостыню—тут его и узнали.

Обычный будничный стук в сапожной мастерской прерывается. Нет больше защиты. Тишина. В жалкое нищенское обиталище Реубени входит Мольхо.

Сар, стыдясь своей нужды, прячется за занавески, жмется к стене.

Он не поднимает глаз на лицо Мольхо, видит только простое, но чистое белое платье вошедшего, от которого исходит особый чистый запах, свойственный людям, живущим в достатке.

Реубени закутан в лохмотья. В его ступенчатой келье скверно пахнет от остатков жалкого обеда, которые он пинком ноги сбрасывает с лестницы.

Мольхо без всяких церемоний садится на ступени с выветренными римскими надписями. Нет, он опускается еще ниже, становится на колени перед Реубени.

Теперь сар глядит ему в глаза. Лицо побледнело, аскетизм наложил на него свою печать; но оно было все еще гладкое, словно восковое, свежее и прекрасное. Шелковистые выющиеся волосы переходят теперь в каштановую бороду.

И, точно так же, как тогда, когда Мольхо назывался еще Диего Пирес и неожиданно появился у Рубени, он и теперь немедленно приступает к своему рассказу. Он говорит о путешествии, которое совершил по поручению своего господина, и совсем не замечает, что перед ним стоит не господин, а жалкого вида совершенно обтрепанный человек.

И странно. Он как будто одновременно замечает это и не замечает. Говорит о том, как учитель скрывается в недостойном облике, в котором Мессия должен пребывать среди этого грешного поколения,— а вслед за этим радостно рассказывает о школе каббалиста Иусифа Талтазика в Салониках, где целые сонмища чистых юношей учеников готовились к грядущему пришествию Мессии,—и его светлые карие глаза расширяются в выражении детской радости, когда он упоминает «об учениках льва» в святой земле, в Софед, об их чудесах, непорочности и познаниях.

— Все больше становится круг призванных к служению. Уже близится время, когда господин мой сумеет замкнуть круг и выйти на его середину.

Жалкий вид, в котором он застал сара, повидимому, вполне соответствует тому образу, который он себе создал. По крайней мере, он не проявляет и признаков изумления и, тем паче, озлобления.

— Значит, ты побывал в Салониках?

— Да.

— И в Софед?

— Конечно.

— И в Адрианополе?

— Как приказал мне учитель.

Из тьмы той ночи в виноградниках Сальватерры перед саром всплывают названия этих трех городов—Салоники, Адрианополь, Софед. Он наудачу назвал тогда три отдаленных города только для примера, чтобы Мольхо как можно подальше убрался от мест, где действовала инквизиция. А ученик принял это в буквальном смысле и целые годы подчинял свою жизнь закону этой произвольной выдумки.

Реубени смущен. Он сразу даже не может дать себе отчета, какие последствия создаются для него из того, что Мольхо среди своего блеска несколько не возгордился и что, в сущности, и весь этот блеск приписывает только своему учителю, который послал его. Он в благочестивом экстазе считает себя не более как его орудием.

Реубени благодарен. Как дар, принимает он готовность Мольхо служить ему. Что подарок приносится бессознательно, без намерения дарить что-либо,—это только повышает его ценность.

Он растроганно берет Мольхо за руку.

Им овладевает радость свидания с другом.

— Мольхо, дорогой мой, сын мой,—как ты потрудился! Сколько ты, наверное, натерпелся!

Мольхо с восхищением рассказывает об юноше, с которым он познакомился в Адрианополе и который отправился потом вместе с ним в Софед, в святую землю. Его зовут Иосиф Каро и он возымел невероятную мысль написать полную сводку всех еврейских религиозных законов, где должны быть разрешены все противоречия, встречающиеся в источниках. Этот колоссальный труд будет называться—«Шулхан Арух» (накрытый стол). Для его составления потребуется, конечно,

усердная работа всей жизни. Но когда эта работа будет сделана, тогда станут невозможными всякие секты, и единство Израиля будет обеспечено даже в изгнании. Ошибки в божьих делах будут устранены, и здание истинной веры будет прочно обосновано.

До сих пор молодой Каро занимался только подготовительной работой. Он чуть было уже не опустил рук перед грандиозностью этого труда, когда Мольхо принес ему весть о саре Реубени и этим зажег в нем новое мужество. Теперь ради помазанника он работает с обновленными силами и строжайшей дисциплиной души и тела подготавливает себя к священному труду.

Мольхо с увлечением говорил о правилах, установленных Каро для своей жизни, правилах, которым он неуклонно следовал.

«Как далеко все это от меня,—думал про-себя Давид,—и неужели все это вдохновлено мною, благодаря мне должно явиться на свет?»

Во всех речах Мольхо он постоянно чувствовал, что их разделяло. Он сравнивал путешествия, которые проделал Мольхо, со своими собственными скитаниями с тех пор как он покинул Тавиру. Тут и там было много труда и крайнего напряжения сил. Но к страданиям Мольхо примешивал какое-то сладостное вождение, он с радостью отдавался своей миссии, испытывая опьянение и увлечение, легкое дыхание посланничества божьего.

«Во мне ничего такого нет! Я ожесточенно стремился, к моей цели, которой подчинял каждый мой шаг—отсюда и неудачи, и муки, и горе».

Он глубоко заглянул в искрящиеся радостью глаза ученика: у него не может быть неудач. Разве у него есть какая-нибудь цель?

Он попытался поймать его на этом и тут же спросил — Чего ты хочешь? К чему все это? Куда ведут все твои проповеди, твои предсказания, твои разговоры с папой? Чем должно это кончиться? Если этого ты не знаешь, то, по крайней мере, знаешь, какого конца ты желаешь для себя и какой исход приятен твоему сердцу.

Мольхо, несмотря на все свои триумфы, не разучился краснеть, как краснел при первом свидании с саром.

— Я только посланец и уготовлю путь господину.

— А я не пойду тем путем, который ты мне уготовил,—резко отмежевался Реубени.

На минуту он подумал, что, может быть, следует использовать для себя влияние Мольхо у папы. Но и это поставило бы его в какую-то зависимость, а он желал бы быть совершенно не связанным не поддающимся учету выходками Мольхо.

— Пока никому не говори, что ты встретил меня здесь,—сурово приказал он.

Мольхо никогда не спрашивал о причинах. По его смущенному лицу можно было заметить, что он считал себя еще недостойным проникнуть в сокровенные тайны плана, по которому должно совершиться спасение.

Реубени проводил его через сапожную мастерскую на улицу. Он стоял при дневном освещении маленький, опустившийся, пожелтевший рядом с прекрасным, сильным, свита которого, окруженная большой толпой, поджидала его у лавки.

Но сильный и прекрасный склонил свою голову перед старым и слабым.

— Когда ты вздумаешь притти ко мне в следующий раз, ты должен притти один,—сердито сказал Реубени и хотел уже укрыться снова в своей трущобе, но тут он заметил знамя, которое нес один из свиты.

— Это твое знамя?

— Слуга твой приказал его сделать по образцу того знамени, которое ты привез из Хабора.

— Дай взглянуть на него.

При виде этого знамени, скопированного с его собственного знамени, он отчетливо сознал свое безусловное одиночество. Это сокрушало его и в то же время утешало.

XXV

Он давно уже имел намерение получить обратно грамоту, в которой король Иоанн португальский признал его послом царства Хабор и которая хотя и указывала на безрезультатность переговоров, но в то же время свидетельствовала о серьезности их. Этот документ остался в деле в авиньонском суде. Без этого удостоверения Реубени не хотел являться к папе, так как предполагал, что португальский двор изобразит его деятельность в неблагоприятном свете. Напрасно обращался Реубени к купцам, отправлявшимся в южную Францию, с просьбой раздобыть ему этот документ, восстанавливающий его репутацию. Купцы вступили в переговоры с еврейской общиной в Авиньоне, но там о саре осталась плохая память. Он причинил слишком много расходов, и этого не могли ему забыть. Община, правда, исполнила заповедь, повелевающую «выкупать пленников», но считалось, что этим сделано уже все, что полагается. Ни у кого не было охоты соваться в это дело из-за какой-то судебной бумаги.

Оставался еще один выход—подделать документ. Реубени знал стиль кабинетов, к тому же он хорошо помнил прощальное письмо короля Иоанна, которому он придавал большое значение.

У одного старьевщика на Кампо ди-Флора он нашел

кусоч хорошего чистого пергамента, который превосходно годился для его цели: словно поддразнивая его, пергамент свисал в виде флажка с верхней доски палатки торговца.

«Это все, что тебе нужно, — шуршал он ему на ухо. — Печать могла и оторваться во время продолжительного путешествия»... Но на гроши, которые собирал в виде милостыни Тувия, нельзя было осилить покупку прекрасного пергаментного флажка.

Сар неоднократно с любовью посматривал на него, проходя мимо. Однажды, среди рыночной суматохи, Реубени стянул его и быстро спрятал за пазуху.

От Мольхо, который часто заходил к нему, он прятал свою работу. Как беззаботно и широковещательно говорил Мольхо! Уже одна способность со спокойной совестью произносить такие возвышенные слова свидетельствовала о душевном равновесии, которым он обладал.

Как только Мольхо уходил от него, он вытаскивал пергамент и с суеверною осторожностью принимался писать.

«Значит, все-таки, как Герзон в башне — с его картинками? О, еще позорнее! Я пишу на краденом пергаменте поддельный документ о вымышленном посольстве». — С ужасом он замечает, как ложь грамоздилась на ложь, как каждая запутывала его еще больше в сети новых измышлений и как эти измышления с каждым разом становились все более мелочными и жалкими. Грех побеждал.

Сомнения охватывали его, как в дни детства.

Но тут наступили события, которые решили все.

Мольхо, которому до тех пор не чинили никаких препятствий, был вызван в инквизиционный суд. Как христианин и вероотступник он подлежал компетенции свя-

щенного судилища. Грамота папы, предоставлявшая ему свободу проповеди и гарантировавшая полную безопасность, не имела силы перед этим судом, который признавал над собой только божественный закон веры. Со времени буллы Урбана IV «Ad extirpanda» все распоряжения, стеснявшие деятельность инквизиции, считались наперед недействительными. Полное беспощадное истребление ереси признавалось неоспоримым высшим началом, конечной целью всех церковных и светских учреждений.

Следовало ли приписать случаю, что Мольхо все время мог невозбранно действовать и подвергся нападкам только теперь, когда он завязал, хотя и поверхностно, сношения с Реубени? Реубени в своем мрачном настроении склонен был думать, что это не случайный каприз судьбы, а проклятье, которое лежит на нем, и которое сокрушает не только его собственные начинания, но и все, что входит в соприкосновение с ним.

Опустошенный город был окутан мраком, все последнее столетие погружалось в мрак, и Реубени, близкий к безумию, спрашивал себя, не произошли ли все эти ужасы только из-за него, из-за его греха, его преступного намерения достичь избавления при помощи лжи? А теперь его верный, ясный, как утренняя заря, друг платился за то, что на мгновение снизошел к нему, безнадежно отверженному.

Спасти, спасти друга! Не допустить, по крайней мере, чтобы этот любимый и в то же время ненавидимый юноша, которому он завидовал, но которого все же обожал, погиб вместе с ним. Спасти, умолять, умолять о помиловании! Но кого же умолять, если еврей очутился в нужде и бедствии?

Есть только один защитник, потому что от себя сарничего сделать не может с тех пор как все пути к

сильным людям в Риме закрыты тройною завесой нищеты, одиночества и безымянности.

Есть только один человек, которому известны и доступны эти пути. Правда, для Реубени нет хуже унижения, чем обратиться именно к этому человеку, к знаменитому переводчику Аверроэса, к своему старому противнику по Венеции—Мантино.

Мантино живет в аристократическом квартале, далеко от еврейского гетто. Надо пойти к нему! Лишь на мгновение сар сознает, какой это позор. Спаси, спаси жизнь Мольхо—это все, что его сейчас еще манит. Все остальные мысли угасли в его голове. Под впечатлением надвинувшейся непосредственной опасности он даже забыл о том, что собирался выждать в своем убежище подходящий момент для выступления.

Реубени не пускают, у великого ученого определенные часы для приема, тогда он доступен для всех. Но так как дело не терпит отлагательства, то Реубени, пренебрегая всякой осторожностью, вынужден назвать перепуганному слуге свое имя.

Перед ним тогда открывается дверь в библиотеку.

За огромным письменным столом в черной тоге с широкими рукавами сидит, скрестив руки, Мантино.

Он должен помочь против инквизиции? Да он сам сидит, как инквизитор, в торжественной позе судьи и жреца. Ни слова привета, ни жеста, только упорный непроницаемый взгляд маленьких воспаленных глаз.

Сар торжественно обращается к нему:

— Якоб бен-Самуэль Мантино.

На высоком лбу противника появляется недовольная морщина: он не любит, когда его называют полным еврейским именем. Реубени невольно с первых же слов испортил ему настроение. Он сразу это замечает и решает говорить в дальнейшем только в его духе, а не

так, как ему велит сердце. Когда приходится терпеть столько унижений, какое значение имеет еще одно лишнее! Теперь не время для опасных слов.

— Я пришел к вам в качестве просителя, Мантино. Не для того, чтобы возобновить прежнюю борьбу. В той борьбе я признаю себя окончательно побежденным. Но здесь речь будет не обо мне. Я прошу вашей помощи для проповедника Мольхо. Вы влиятельны. Если вы захотите, вы сумеете при помощи кого-нибудь из епископов и кардиналов, у которых вы часто бываете, спасти Мольхо от костра, а без вашей помощи его, наверное, пошлют на костер. Вы великодушны, вы делаете это. Мольхо, правда, мой друг, но я не допускаю, чтобы вы отказали невинному в вашей защите только потому, что он мой друг, и только потому, что вы захотите погубить его из-за меня...

Только теперь Мантино прерывает его. До сих пор он не мешал ему говорить точно так же, как иногда благотворитель позволяет нищим попрошайничать, нагромождать долго и пространно одну просьбу на другую, при чем с каждой фразой все ощутительнее становится размер нужды и размер ожидаемой милостыни. Можно оскорбить человека, прервав его речь, но можно дать ему говорить и сделать это в еще более оскорбительной форме. Только теперь Мантино начинает возражать. При входе Реубени он сначала вскочил с места и потом снова уселся. Теперь он говорит спокойно, без насмешки, правда, со спокойствием, которое оскорбительнее самого злого издевательства.

— Погубить вас? Признаться, я думал, что вы давно уже похоронены или успокоились в какой-нибудь тюрьме. Оказывается, вы все еще бродите призраком по земле. Правда, теперь уже никто не интересуется вами и вашими сказками, как это я предвидел с самого на-

чала. Все это совершилось даже скорее, чем я думал. А теперь вы действительно полагаете, что у меня может явиться желание «погубить» безобидного бродягу? Нет, вы сами устранили себя. Это дело конченное. Теперь нужно только истребить последние ростки насажденных вами бредней.

Реубени опечален. В том образе, который набрасывает Мантино в своей ненависти, Реубени вынужден признать некоторые подлинные черты. Может быть, они даже не те, на которые указывает его противник. Быть может, он лишь мимоходом отмечает то, что ему, сару, кажется самой важной и главной причиной его неудач.

Реубени подходит ближе, его так манит взглянуть на себя глазами своего противника и попутно его охватывает какое-то смутное чувство, что, быть может, таким образом можно притти к какому-нибудь соглашению со своим вечным противником.

— Бредни?—Но ведь я всегда стремился быть трезвым. О чем вы говорите, что вы разумеете под этими бреднями?

Мантино презрительным жестом велит ему отойти назад. Надежда сара рушится. Его пугает непримиримость возбужденной им ненависти. Со времени заседания еврейского совета в Венеции, когда он собирался выбросить Мантино из окна, этот оскорбленный человек преследует его с почти сверхъестественным упорством.

— Один раз я вышел из себя. Но не считают, сколько раз я умел владеть собою в самые трудные минуты. Другие могут позволять себе всякие неблагоприятные выходки, только мне—ни в чем нет пощады...

Он говорит это ему. Просит прощения. Ведь жизнь Мольхо поставлена на карту. И снова он доказывает, что все, что он делал, он делал не в бреду, а с самым трезвым умом.

Смех Мантино трещит, как горящие в камине дрова.

— Вы—и трезвость! Вот прочтите и еще раз вполне трезво скажите мне, что вы находите здесь трезвого?

Он передает Реубени книжку, в которой записаны отрывки из речей Мольхо. Реубени вынужден внутренне признать, что Мольхо вполне мог позволить себе все эти фанатические нападки на триединого бога, на обряд крещения и богородицу. Но в какой мере он причастен к этой духовной горячке, которая ему самому кажется бессмысленной? Его путь был иной, совершенно новый для евреев, не духовный, а светский, холодный, как факты. Он пытается разъяснить это, но Мантино немедленно прерывает его. Ему не нужно ничего объяснять, он сам все понимает. И Реубени действительно должен признать, что его логический ум очень остро схватывает фактическое положение, так что прекрасными словами с ним ничего не поделаешь.

— Я знаю, Мольхо из вас обоих менее опасен. Этот безумец сам отдает себя в руки палача. Стоит только перевести на латинский язык все эти нелепые бредни, которые кто-то записал во время его проповедей, и передать их в руки *promotor haereticae pravitatis*—и тогда ему конец.

Реубени вспоминает об опасности, угрожающей его другу, и она кажется ему еще ужаснее, чем прежде.

— Значит, так и было?—спрашивает он, содрогаясь от ужаса.

— Надо полагать.

Он соображает, можно ли как-нибудь защищаться против такого свидетельского показания. Но ему ничего не приходит в голову, и он только снова повторяет свою просьбу. Другого пути он не видит.

— Не дайте ему погибнуть, Мантино. Он покинет

Рим. Я сам настою на этом. А вам он ничего дурного не сделал.

— Ничего мне не сделал? Да разве обо мне идет речь? Речь идет о благе всего еврейства.

Реубени изумленно смотрит на него. Таких речей он от него не ожидал.

Человек, все честолюбие которого, казалось, направлено на то, чтобы его не смешивали с остальной массой еврейства, серьезно говорит,—а тут сразу видно, что он говорит без всякого притворства,—об общем деле. Новая возможность сблизиться с ним!

— Так, значит, вы действительно убеждены, что вы защищаете еврейство против Мольтхо и меня...

Мантино не дает ему договорить.

(У Давида мелькает мысль: «В сущности, он так же хочет всех заговорить и не дать высказаться другому, как Голодный Учитель, и Мейер Дуб, и Арон Просниц, и другие евреи в Праге».)

— Да,—кричит ему в ответ Мантино,—я защищал евреев от великой опасности. Вы, Мольтхо и другие, подобные вам, вы губите виноградник. Если бы вас пустили, если бы благоразумные люди не затыкали вам рта, не уничтожали бы вас, как вы этого заслуживаете, то евреи уже давно перестали бы существовать. Другие народы давно истребили бы нас, если бы мы сами, из поколения в поколение, не истребляли таких мечтателей, как вы.

— Значит, вы это делаете для других народов?

— Да, для народов, среди которых мы должны жить и которые могут нас раздавить, если хотят, вот так...— Он мнет лист бумаги и пренебрежительно швыряет его в угол.

— Невысокого вы мнения о нас,—возражает Реубени. При этом он испытывает некоторую симпатию

к Мантино. Человек этот ошибается, но он не равнодушен, он настойчиво борется за свои убеждения.

Сар подошел к нему еще ближе, без приглашения уселся на стул у письменного стола и начал осматривать стены, уставленные до потолка учеными произведениями на разных языках.

Недужинный ум в этом сильном живом человеке, которого, как он слышал, назначают посланником в Дамаск. Как и в Венеции, он является в Риме предметом гордости еврейской общины, которая наградила его титулом гаона—князя изгнания. И этот испанский еврей, который в Венеции принял совершенно венецианский облик, нажил в Риме настоящий жирок прелата, и теперь в своем монашеском одеянии, во всех своих манерах, в том, как он после кратковременных вспышек снова возвращается к прежней сдержанности, даже выражением лица напоминает римского клирика. Мешает только толстая нижняя губа с бородавкой.

— Вы невысокого мнения о нас,—рассеянно повторяет Реубени и только несколько минут спустя замечает, что Мантино разворачивает перед ним пышную картину будущего: если евреи послушаются его, станут невидимками, растворятся среди народов, то благодаря своим способностям, они вскоре займут первые места и сосредотчат в своих руках всю власть. Реубени вздыхает.

— И это, по-вашему, называется защитой евреев?

Мантино подошел к книжным полкам, чтобы извлечь из какого-то древнего римского автора подтверждение для своей мысли. Благодаря этому Реубени успевает кое-что сказать ему.

— Благодаря нашим способностям? Правда, мы сметливый народ и поэтому мы все быстро проделываем в уме. Но жизнь не поспевает за нами. Мы обгоняем природу. Мы, карлики с исполинскими шагами, перепры-

гиваем через медленное, спокойное развитие. Но это, в сущности, наш недостаток, а отнюдь не достоинство. Мы всюду строим слишком быстро, строим не только собственными силами, но впопыхах берем еще чужие камни. Мы быстро бываем готовы, но здание не держится. Народ слишком блестящ. А там, где слишком много блеска—там, в сущности, обман. Поэтому нас и ненавидят, что мы так блестим и блестим ложным блеском.

Мантино слышал только последние слова.

— И пускай нас ненавидят! Мы все-таки сильнее других,—и он возвращается с томиком Ювенала и пространно доказывает, что, во-первых не существует никаких евреев, потому что они уже давно смешались с другими нациями,—затем доказывает, что евреи слишком обращают на себя внимание, что они не должны выделяться, а должны слиться с другими народами, что они сами по себе не обладают достаточным здоровьем и силой и нуждаются в притоке чужой крови,—но в то же время он находит, что евреи более устойчивые, более здоровые, умные, добрые и во всех отношениях лучшие люди, выше всех других народов—и поэтому призваны господствовать над ними.

Реубени охватывает ужас. Этот ученый, который так ясно понимает все, что лежит вне его самого, совсем не замечает, что он одновременно защищает три мнения, которые совершенно уничтожают одно другое. Безнадежно! О какой судороге чувства, пускай это только самое блаженное чувство слабости, свидетельствует такое заблуждение, за которым нет ничего живого и осмысленного, кроме бессознательного, но тем более мощного желания; совершенно уничтожить себя и всю свою породу?

Мантино говорит спокойно—теперь он снова декла-

мирует Ювенала, он элегантный гуманист, как и другие ученые нового Рима, которые возрождают древний Рим в складках своих сенаторских лиц. Быть может, он декламирует классические стихи только для того, чтобы доказать, что он совершенно похож на других, что между ним и римлянами нет никакой разницы. И у него на лице морщины древнего Рима. Он требует для себя во всем полного равенства с остальными, а следовательно и в отношении прошлого. Единственная разница может быть только в том, что он, пожалуй, знает все еще лучше, чем другие, и вскоре он будет поучать относительно этого общего прошлого, будет не только гуманистом, но и самым замечательным, самым первым гуманистом.

И Реубени хочет помешать всему этому, хочет задержать это движение в сторону счастливого будущего?

«Удивительно, что он еще терпит меня в своей комнате!—недоумевает Реубени.—Значит, все-таки есть какая-то связь, объединяющая меня с тобой и заставляющая нас видеть в другом, хотя бы и в противнике нерушимую опору для себя?»

Это придает ему смелость. Мантино должен заступиться за Мольхо. Иначе не может быть. Весь вопрос только в том, как это сделать и когда. Только об этом он и спрашивает тоном, в котором теперь звучит некоторая интимность.

Когда? Мантино взглядывает на него, как на вредное животное, которое во что бы то ни стало нужно истребить. Взгляд охотника, который убивает со спокойной совестью... Да, это вражда не на жизнь, а на смерть.

Естественную связь действительно никогда не удастся уничтожить между евреями. Но это такая же связь, какая существует между охотником и дичью, между убийцей и жертвой, которые связаны друг с другом,

но объединяются не раньше, как в момент уничтожения. У сара пробуждается подозрение, которое он до сих пор отталкивал от себя, насильно задерживал:

— Бандиты в Колизее были твои люди?

Мантино отвечает только кивком головы, серьезно, почти благоговейно, в сознании правильности своих намерений, которые он лишь случайно не осуществил до конца, но от которых он никогда не отречется. Он словно опьянен честностью и правильностью своих мнений.

Не только за себя лично отказался он от самостоятельной жизни еврейского народа. Он действовал и от имени других. От имени всех евреев. Он не может оставаться равнодушным, если кто-нибудь другой еще верит в эту самостоятельность. С такими преступниками он должен бороться, он должен истреблять их!

Реубени понимает это,—и даже здесь он готов найти некоторое величие. Но он в ужасе отскакивает назад, когда Мантино с искаженным от злобы лицом показывает ему книжку, в которой записаны проповеди Мольхо.

— Я сам,—задыхаясь, хриплым голосом кричит Мантино, забыв всякую искусственную сдержанность и размахивая руками.—Я сам—не кто-нибудь другой,—сам ходил туда—каждую субботу—записывал—чтобы навсегда прекратить, уничтожить зло в корне! И чтобы теперь для этого богохульника, которого я сам!..

— Молчите, молчите!

Мантино широко растопыривает пальцы.

— Я сам донес на него инквизиции как на богохульника.

Реубени, плача от стыда, добирается до двери. Колени дрожат у него.—«Мой соплеменник и брат, к которому я спешил на помощь из Хабора»...—Словно в тумане он видит, как Мантино подходит к шкафу и поспешно опорожняет бокал с вином. Жалко трясушаяся верхняя

губа и этот испуганно болезненный жест, с которым толстый человек хватается левой рукой за грудь у сердца, словно его что-то кольнуло,—эта картина кажется сару символом того сопротивления, которое внутренне больной народный организм оказывал его плану.

Он возвращается в свою трущобу, достает пергамент, долго неподвижным взором смотрит на буквы. «И на этом пергаменте я хотел воздвигнуть храм!..»

Летят клочья.

«Кто же, в сущности, был безумец—Мантино, Мольхо или я?».



На этот раз суд был прост: Мольхо все признал. Возвращение в иудейство, отказ от раскаяния,—при таких условиях приговор не вызывал никаких сомнений.

И тем не менее случилось нечто совершенно неожиданное, нечто такое, чему трудно было бы поверить, если бы это не было подтверждено вполне тождественными между собою сообщениями современников, а также письмом Мольхо к мудрецам в Салониках—письмом, которое много раз перепечатывалось и дошло до нас.

Казнь совершилась, костер горел.

Но когда судьи отправились в Ватикан, чтобы сообщить папе о том, что его любимец казнен, из внутренних покоев к ним навстречу вышел Мольхо, прекрасный и невредимый. Как перед адским навождением, они разбежались, увидя этого призрачного двойника. В течение многих дней никто в Риме не мог сказать, умер ли Мольхо или жив. По этому поводу ходили самые невероятные рассказы.

Со слов посвященных, рассказывали, что в вечер накануне казни в инквизиционную тюрьму к Мольхо явился офицер швейцарской гвардии и помог ему бежать.

Этого офицера послал сам папа, но план не удался бы в такой мере, если бы час спустя в пустую камеру Мольхо не зашел другой человек...

О том, как удалось бежать Мольхо, и впоследствии не узнали ничего определенного. Несомненно было только, что вместо него по ошибке взяли другого и потащили на место казни. Несчастный, который пострадал за него, не мог объяснить ошибки, потому что он был нем.

Это был слуга Реубени, старый глухонемой Тувия, которому в силу случайного сцепления обстоятельств пришлось умереть на костре.

Целые дни и ночи Реубени и Тувия бродили около тюрьмы, всячески стараясь проникнуть к Мольхо. Наконец, слуге это удалось. На его несчастье.

Ужасная судьба, постигшая его единственного верного спутника, сильнее надломила сара, чем ненависть соплеменника, которую он так остро почувствовал в беседе с Мантино. Это довершило крушение.

Воля его была исчерпана до конца. Им овладело какое-то странное спокойствие. Грусть по добром старику, охранявшем его в детстве, отгонявшем от него дерзких христианских мальчишек, когда он вместе с матерью выходил из гетто.

«Юность, мать, Прага, отчий дом—все сгорело на этом костре, превратилось в груды серого пепла. Все стало бессмысленным! И ничего мне так не будет недоставать, как твоего неодобрительного покачивания головой, Тувия. Ради такого конца ты, добрый, глупый, верный слуга, последовал за мною из Праги в Рим, а оттуда в Португалию и Авиньон на два года в тюрьму и потом один единственный сопровождал меня в Рим?! Для этого! Как все бессмысленно!

«И лишь одно, что раньше всегда казалось бессмысленным, получило оправдание: твой странный страх перед

Мольхо, которого ты всегда почитал, но к которому тем не менее не любил приближаться.

«Неужели ты чувствовал, что ожидало тебя из-за него?»

И Реубени тихо перебирал в памяти спутанные линии судьбы. «Какое странное сочетание обстоятельств, что Мольхо должен был отнять у меня еще и старого Тувию, как отнимал до сих пор все. Это был у меня последний остаток любви и поддержки. Жалкий остаток, но все же единственное утешение в это печальное время. Разумеется, Мольхо этого не хотел, так же, как не хотел разорвать мой победный венок в Португалии почти накануне последнего шага»...

Сару уже не было больно от этих мыслей, он примирился. Какая-то сверхестественная сила владела ими обоими и всегда решала не в его пользу, а в пользу Мольхо,—и теперь было ясно, что покоряться должен был он.

«Так возьми же меня совсем, мой друг! Будь ты вождем! А я буду повиноваться. Ведь все равно неправильно все, что я делаю. Я всегда оказывался неправ. А с тобою бог. Даже из огня он спас тебя и ввел в него моего слугу!—Так повелевай же ты. А я буду делать то, что ты велишь».

Мольхо пришел к Реубени в первую же ночь, когда он мог свободно выходить. Реубени задал ему вопрос—что теперь делать?

Мольхо полагал, что не следовало больше оставаться в Риме. Это значило бы—испытывать бога. Но Реубени требовал более точного решения и настаивал, чтобы его дал Мольхо. Тогда Мольхо признался в своем тайном желании, которое он уже давно лелеял.

Сар говорил с папой и с королем португальским и в обоих пробудил любовь к народу израильскому. Что

настоящая миссия Реубени потерпела крушение, этого Мольхо не признавал. Но в силу сложившихся обстоятельств имеется еще более мощный повелитель, нежели они, самый мощный из всех, непобедимый цезарь, ныне властитель Испании, Италии, Германии, Нидерландов и нового мира... А так как Реубени в сомнении опустил голову, то Мольхо еще настойчивее продолжал, что самое великое слово, которое сар сохранил еще в своем сердце, должно быть сказано перед ним, повелителем земли. Слово во славу божию—самая мощная весть от царя Хабора...

«С этим пойти к холодному, неумолимому императору, в котором еврейский народ видел «армила»—врага Мессии в борьбе страшного суда?..»

Мольхо, очевидно, угадал мысли Реубени. Именно потому, что император Карл является исконным врагом, сар должен выступить перед ним и до конца бороться за дело божие. А если он позволит, то Мольхо сподобится его славы и будет сопровождать его в этом подвиге.

Реубени все время кивал головой.

— И момент теперь очень благоприятный,—продолжал Мольхо, как бы желая еще сильнее закрепить уже принятое решение,—император Карл недавно прибыл в Регенсбург на открытие имперского сейма и чтобы призвать немцев против турок. Теперь там подходящее место, чтобы снова предложить союз и содействие еврейской армии из царства Хабор.

Юноша излагал еще многие другие соображения, в которых его собственные мистические надежды смешивались с холодными мыслями, в которых сар узнавал свои мысли. Только в этом соединении они становились ложью, нелепостью. Он ясно это видел, видел, что нет ничего более безнадёжного, нежели мысль заинтересо-

вать делом евреев католика Карла, который считал самого папу и католическую церковь недостаточно ревностными. Но противоречить Реубени сейчас не был в состоянии. Да и не хотел. Наоборот, так приятно было теперь, впервые после многих лет, не иметь своей собственной воли и дать увлечь себя течению. Однажды он уже испытал нечто подобное у кровати больного Мольхо. Тогда он не был достаточно силен для этого—или достаточно слаб. Только теперь он созрел. Наконец, он может сбросить с себя бремя своего властного Я, которое постоянно требует от него притворства, искусственных уловок. И как ему сразу стало легко, свободно. Все растворилось в приятной истоме. Не надо ходить, держаться прямо, можно падать, падать, без удержу, падать во тьму, как тот бургомистр Клюбоук, о котором ему рассказывали в детстве... Гуситы выбросили его из окна пражской ратуши; он судорожно держался за подоконник; его ударили молотком по руке... и тогда, наконец, он отказался от намерения жить—дал свалить себя. Какое наслаждение испытываешь, когда доходишь, наконец, до этого! Какое сладострастное ощущение, когда гибнешь и как будто по своей воле. Говорят, что только в этот момент семя вечности дает свои ростки в человеческих сердцах.

Так Реубени решился отправиться вместе со своим другом Мольхо из Рима к императорскому двору. Они поехали вместе. Была весна года «рацав», т.-е. 5292 года от сотворения мира и 1532 года по христианскому летоисчислению.

XXVI

Настоящий «крестовый поход»—так назвал Мольхо их путешествие через Флоренцию, Болонью, Верону, вверх по реке Эч, через Альпы. Их обоих видели на

Бренерском перевале. Мольхо нес свое знамя, темное знамя, испещренное стихами из псалмов.

Правда, бывали еще моменты, когда Реубени признавался перед самим собою, что он, в сущности, иначе представлял себе этот поход, но такие настроения быстро проходили, растворяясь в новом счастье, которое все сильнее овладевало им.

Ничего подобного он еще никогда не переживал. Ему казалось, что с него спали тесные путы, больно сжимавшие кровообращение, и новая жизнь пылко и бурливо разливалась по всем его членам. Он не испытывал больше боли, не ощущал тяжести в голове. Исчезла жуткая боязнь ответственности. Оказалось, что можно жить и без этой боязни и вообще без забот о завтрашнем дне. Только до сих пор он никогда этого не пробовал. Теперь он стал веселым, непринужденным. Он радостно шагал рядом с юным Мольхо, в каком-то детском благостном настроении, которое, как нечаянная радость, обвевала его в эти дни теплым благовонным ветерком и ароматом свободы. За всю свою жизнь он ни разу не был так счастлив, как теперь. Может быть—тогда, в первые дни после своего бегства из Праги, когда он тоже был в пути и с ним была прекрасная девушка. Тогда он переживал нечто подобное. Но тогда к счастью примешивалось еще достаточно мрачного, угрожающего. Теперь у него на сердце было впервые совершенно легко, и с каждым днем оно билось сильнее и любвеобильнее. С постаревшего рано лица стали исчезать морщины, и он внешне стал таким же молодым, каким был внутренне. Казалось даже, что с того момента, когда он подчинился воле Мольхо, он вместе с этой волей приобрел уравновешенную кротость своего друга и тем самым приобщался к благословию, которое явно лежало на всем существе Мольхо и кото-

рого он сам был лишен. И по мере того как он переставал заглядывать в свое мрачное, терзаемое грехом Я, перед ним раскрывали свою прелесть леса, луга, сады и живая природа.

Они уже спустились к Инсбруку. Южный ландшафт исчез вместе с кукурузой, виноградниками, пальмами и кипарисами, покрытыми до вершины дорожной пылью. Они уступили место беспредельной зелени темных и густых горных лесов и волнистых лугов, которые окутывали взор мягким и кротким светом.

А когда они вышли на баварскую равнину через Мюнхен к Фрейзингу и Ландсбургу, сара охватила радостная дрожь. Везде это весенний ландшафт Праги, ведь это—родина, страна детства, страна первой любви, это—приют, возвращение к вечному началу, не знающему конца.

Луга покрыты одуванчиками и другими весенними цветами, желтыми и белыми; у рек рядами выстроились низкие ивы с подрезанными ветвями. По лугам бродят коровы с телятами, а из-за холмов мелькают верхушки выкрашенных белой краской церквей. Правда, чернеющими отверстиями своих башен они похожи на черепа, но в них нет ничего страшного. А дальше—снова лес, лес, какого он не видал уже двадцать лет. Радостная тень, в которой свободно дышится. Нежная, почти желтоватая зелень молодых березок выглядывает кое-где среди темной чащи сосен и елей.

Для Мольхо этот край был чужим. Но он несколько не изменил своих привычек, при помощи жестов легко изъяснялся с людьми, язык которых он не понимал,¹ хорошо ладил со всеми, а по вечерам, когда не удавалось устроиться на ночлег, закутавшись в плащ, так же спокойно ложился на покрытую росой траву, как в итальянском амбаре. И немедленно засыпал, и ему

снились возвышенные видения, в которых посланцы бога сходили к нему и открывали ему волю Божию.

Реубени никогда раньше не жил с ним в такой близости. Только теперь он впервые до конца постиг всю чистоту души Мольхо, безупречную правдивость всех его слов и дел, ибо даже вблизи, при самом интимном общении он оставался таким же, каким был раньше. «Я же,—думал про-себя Реубени,—с моей хитростью и коварством, был для него приблизительно тем же, чем Маккиавелли и Аретино представлялись мне—фигурой поучительной, но весьма печальной».

И он благословлял судьбу, что злое время прошло и осталось позади. «Правда теперь и во мне, слава богу, теперь я не притворяюсь, я правдив. Правда объединяет меня со всей сладостью мира, с этими цветущими деревьями, которые так наивно и нежно растут на склонах гор, каждое—словно составляет предмет гордости сада, словно все окружающие смотрят на него и говорят: взгляните, это наша вишня, наша вишня».

И Реубени, который еще недавно считал себя недостойным дышать скверным воздухом в жалком переулке у театра Марцелла, теперь дышит полной грудью в сознании, что ему не нужно больше лгать, вдыхает доносящийся из фруктовых рощ аромат.

Какая мягкая земля! Тихо падает весенний дождик и смывает всю пыль. Можно подумать, что на дороге нет камней, он идет по ней, как по ковру, и белый отблеск деревьев поддерживает его, словно крыльями. Он совсем обезумел, опьянел от ликования, от беспрестанного ликования щебечущих птиц.

Есть ли какая-нибудь цель в их путешествии? Он не знает и не задумывается над этим. Он достаточно думал и размышлял всю свою жизнь, теперь он, как бы в награду за все свои муки, даже не хочет знать,

куда они идут. Всем распоряжается Мольхо, и он так нежен по отношению к нему, к любимому учителю, что отстраняет от него всякие неудобства во время их продолжительного странствования.

С уст Мольхо не сходят надежда и шутки, и странно, как воодушевление переплетается с шутками и остроты с воодушевлением. Мольхо такой веселый и оживленный. Им не скучно в пути. Он умеет так занятно рассказывать, изобразить, как примет их в Регенсбурге император Карл: поднимется с трона и со всеми курфюрстами пойдет им навстречу; если же он так не сделает, то, по крайней мере, выйдет к ним навстречу сенешала и выразит свое сожаление по поводу того что несколько лет тому назад изгнал евреев из Регенсбурга и потому теперь не может предоставить гостям «миньен»,—собрать десять мужчин, присутствие которых необходимо для совершения некоторых молитв.

Они подошли к Дунаю, и сразу перед ними поднялись обе колокольни огромного собора. Было воскресенье. В самый город упиралась равнина, мрачная и пустынная, местами болотистая и состоящая главным образом из невозделанных пастбищ.

Тяжелые облака свисали над темными грядами холмов. Издали доносились тихие грустные звуки регенсбургских колоколов. В этом похоронном звоне сар осознал всю нелепость их затей. Он почувствовал, что их ожидает в этом городе; в этой северной стране их встречала мрачная воля, узко устремленная на определенную цель, а не радостное искусство и не широкий размах Рима, не рыцарская предприимчивость и жажда завоеваний португальской знати.

И, тем не менее, друзья ни минуты не медлили, шли, не останавливаясь, бодрым шагом навстречу угрожающим соборным башням и глухому звону колоколов.

XXVII

Свободный имперский город Регенсбург уже несколько недель был переполнен депутациями всех сословий германской нации.

Католические и протестантские князья вели между собою переговоры, точно так же, как и городские советы, которые частью придерживались римского исповедания, частью лютеранского.

Огромная армия турок, в двести тысяч человек, вторглась в Венгрию. Фердинанд из Вены умолял брата о помощи. Император Карл стремился побудить имперские сословия как можно скорее мобилизовать армию. Другой его целью являлось уничтожение ереси в Германии, но при создавшемся положении он не мог добиваться этого с достаточной энергией. Протестанты соглашались дать субсидию не иначе как при условии, чтобы «королевское величество изменило направление своих мыслей».

Опираясь на победы, одержанные над Францией и папой, император с большим дипломатическим искусством сумел отклонить такое давление на свою совесть. Но в то же время ему нужно было выяснить свои отношения с папой, дружба которого казалась не вполне надежной. Этого же требовали и отношения с Францией, снова проявившей воинственные наклонности и даже стремившейся завербовать союзников среди германских князей.

В мемуарах императора, составленных им самим и притом, как сообщает один из придворных, по образцу «Комментариев» Юлия Цезаря, рассказывается, что во время рейхстага император страдал от ушиба ноги,

причиненного падением с лошади на охоте. А затем там сообщается еще о третьем припадке подагры.

В такой обстановке у императора не было охоты принять двух еврейских безумцев или авантюристов. На них не обращали внимания даже низшие придворные чины. Только раз им удалось видеть его издалека, когда он направлялся в собор на торжественную обедню приветствовать папского легата. С ним была многочисленная блестящая свита. Тысячи вооруженных людей составляли его кортеж. За ним следовало пятьдесят пажей в ливреях из бархата и шелка. В процессии участвовало также все духовенство, присутствовавшее на рейхстаге.

Балдахин, под которым император ехал на белом коне, несли городские советники. Властелин мира, одетый в простое черное платье, был человеком среднего роста, бледный, белокурый, с болезненным выражением лица, с холодными голубыми, устремленными в пространство глазами. Нижняя губа резко выпячивалась вперед. Лицо выражало упрямую волю, и в то же время на нем лежал отпечаток тревоги: император постоянно боялся, что его дела, когда они не посвящены всецело интересам веры, способны вызвать гнев божий. В своих комментариях он пишет: «Из-за таких дел бог нередко весьма гневался на меня, и я хотел бы не навлечь его гнева на себя этими записками. И без этого у него достаточно повода, чтобы гневаться на меня».

Это почитание бога, приправленное горечью, делало внука жизнерадостного Максимилиана мрачным, одиноким и упрямым.

Когда Реубени и Мольхо протискивались сквозь войска, стоявшие шпалерами, чтобы пробраться к императору, они были арестованы.

В свите кардинала Мольхо опознали как преступника, бежавшего от римской инквизиции.

Его снова предали суду. Казалось, что инквизиция выпустила его на время, только ради шутки, чтобы потом снова изловить свою жертву. На этот раз обвинение было предъявлено заодно и его спутнику Реубени.

Мольхо обвинялся в повторном еретичестве, Реубени—в совращении в иудейскую веру и в сговоре с еретиком. По обычаям священного судилища эти обвинительные пункты не были сообщены арестованным.

Всякое действие, исходившее от инквизиции, составляло тайну. Заключенных совершенно отрезали от внешнего мира. При аресте им только сообщалось, что священное судилище никого не привлекает к ответственности без достаточных на то оснований. Им предлагалось проверить свою память и самим указать, в чем они чувствуют себя виновными. За это им обещали соответствующую милость. Обвиняемым не сообщалось также ничего о показаниях свидетелей, им не называли даже главного свидетеля обвинения. Даже самый приговор оставался в тайне. За исключением «*relaxatio*», выдачи светским властям для сожжения, о чем сообщалось ночью накануне, осужденные после многих лет заточения только на лобном месте узнавали, к какому наказанию они приговорены—пожизненному тюремному заключению, конфискации имущества, ношению «санбенито», т.-е. страшного позорного одеяния, или же к какому-нибудь легкому наказанию.

Эта система, рассчитанная на запугивание и парализацию воли, создана была главным образом для того, чтобы открыть соучастников и раскрыть всю организацию еретиков. Путанные, мечтательные речи Мольхо при первом же допросе показали, что от него многого

узнать не удастся. Зато Реубени, который давал ясные ответы, был несколько раз подвергнут пыткам.

Но так как он оставался стойким, то от этого способа допроса временно отказались.

Смертный приговор, по крайней мере, для еврействующего еретика Мольхо был предreshен. В евангелии от Иоанна сказано: «Кто не останется во мне, тот будет отброшен, как виноградная лоза, и засохнет. Ее подберут и бросят в огонь, где она сгорит».

Ссылаясь на эти слова писания, в то время считали необходимым, чтобы смертный приговор над еретиком совершался посредством сожжения его живым.

Можно было апеллировать к папе, но они еще незадолго до своего ареста узнали, что папа, следуя желанию императора, издал буллу, которой, после многолетнего сопротивления, наконец, все-таки вводилась инквизиция в Португалии. После этого они оба, хотя им и не давали сообщаться друг с другом, пришли к одному заключению, что апелляция будет бесполезна. В Риме, под давлением Испании, заглохли последние ростки свободы.

В эти годы императору удавались все его начинания. Огромная турецкая армия отступила после непродолжительной борьбы. Турецкий флот потерпел поражение.

Из Регенсбурга Карл отправился в Вену, а оттуда, ввиду неожиданно скорого окончания войны, проследовал в Италию, чтобы снова встретиться с папой.

В Мантуе была сделана остановка. Герцог Гонзаго оказался гостеприимным хозяином, и император оставался у него в течение целого месяца, чтобы отдохнуть от всего пережитого за этот год.

Здесь император, которого однажды уже привели в восторг картины Тициана, снова увидал картину этого

великого мастера. Он выразил желание, чтобы Тициан написал его портрет. За художником были отправлены в Венецию гонцы. К императору явился также и Ариосто и поднес ему своего только что законченного «Нестового Роланда». Театральные представления, охоты и пышные празднества следовали одно за другим. Говорят, что Карл V состязался с герцогом, одетым в мавританский костюм, в испанской игре—метание копий и обнаружил большую ловкость. На турнире он напавился против него с десятью всадниками, одетыми в белое, герцог же предводительствовал отрядом, одетым в белый и желтый цвета. Два часа они ломали копья. Общее мнение было таково, что император превзошел всех в искусстве верховой езды и в ловкости, с которой он обращался с копьем.

В программу празднества по испанскому обычаю было включено также ауто да-фе—великий праздник веры, на котором объявлялись и совершались приговоры над узниками инквизиции. Это зрелище было в то же время благочестивым делом, за которое всем присутствующим на нем отпускались грехи на сорок дней. Чтобы сделать более внушительной эту церемонию, прославлявшую чистоту религии и власть священного судилища, обыкновенно из соседних судебных округов собирали как можно больше еретиков и вероотступников и заразы исполняли над ними приговор. Нередко исполнение приговора откладывалось только для того, чтобы приурочить его к такому ауто да-фэ, хотя процесс был закончен раньше.

Это и было причиной, почему Реубени и Мольхо, закованных в кандалы, привезли обратно в свите императора через Альпы и доставили в Мантую. Вместе со многими другими они являлись действующими лицами этого праздника веры.

Оставшись один, без Мольхо, Реубени еще в городской тюрьме в Регенсбурге скоро пришел в себя. Он понял, что совершилась роковая ошибка, которую нельзя уже поправить. Радостное, счастливое путешествие с Мольхо—именно это счастье и было ошибочным шагом, после чего правильный путь оказался навсегда покинутым.

Мрачные стены тюрьмы нашептывали ему: «Ты должен был грешить,—таков был закон твоей жизни»,—и он отвечал на все эти голоса: «Да, это так, действительно, так, а когда я один только раз захотел быть безгрешным и жить легко, мне оказалась уготована гибель. Мне нельзя было этого делать. Я должен был оставаться осторожным, старательным, заботливым, должен был предостерегать, потому что я понимал, что это обращение к наиболее недоступному из всех монархов было настоящим безумием. Но меня манило хоть раз послушаться своего сердца и ринуться в опасность, не задумываясь. Это было так соблазнительно и прекрасно, что у меня не было сил противостоять этому. Ведь все, все объединилось для того, чтобы ослабить меня».

И он выдерживает суд этих нашептывающих голосов, он жмется в темный угол тюремной камеры, словно бросается в объятия.

Он больше уже не стыдится. Нет, теперь он видит все отчетливее, чем раньше, и грех кажется ему любимой дочерью бога, к которой он склоняется с шуткой, с приятной насмешкой и которую можно любить и, лаская, поучать.



Однажды вечером, во время остановки в одной из долин южных Альп, к нему явился молодой человек

Алькобез, поэт, с поручением от мудрецов в Софед, в святой земле. Они послали его, и он уже в течение нескольких месяцев находится в пути. Он ищет сара, напал на его след в Риме, оттуда поехал в Германию, где узнал о несчастьи, постигшем обоих, и теперь уже давно следует за кортежем императора.

Наконец, представился случай поговорить наедине. Во время путешествия охрана постепенно ослабла: солдаты начальника тюрьмы сидят в кабачке. Кругом тьма, скоро наступит ночь.

Сар сначала думает, что посланец явился, чтобы смелым подвигом спасти его вместе с Мольхо. Это соответствовало бы его вновь окрепшей воле. Но об этом не может быть и речи.

«Это не мой путь. И все-таки, может быть, путь. Или, по крайней мере, переход?»

Алькобез привез ему копию первого тома «Шулхан Аруха». Это было произведение, над которым работал Иосиф Каро. Мольхо рассказывал о нем, но Реубени тогда не придавал этой работе большого значения. Теперь же он неожиданно видит ее перед собой.

«Накрытый стол» хочет усадить весь народ за стол, на котором поданы божественные законы, так что остается лишь протянуть руку, и, протягивая руку, народ становится единым, однородным, железным, нескрушимым телом.

— Из-за любви к тебе и Мольхо пишет эту книгу Каро, и этим только занята душа его.

Руками, звенящими в кандалах, Реубени берет книгу. Столько ненависти встретил он у своего народа, а теперь, незадолго перед концом, этот привет любви.

— Прочитай что-нибудь,— с начала!

И он слушает. Кругом притих лес, не слышно даже ветерка, не слышно, как режут звери в горах. И он

внимает вести древнего предания, которую слушал когда-то от своего отца: «Утром праведник встает, как лев, навстречу своему господину. Нетерпеливый, полный огня и сил, словно желает разбудить утреннюю зарю». Странно звучит такой привет здесь, в горной долине, никогда не выдавшей льва, но все же это привет духа и любви, действительный повсюду.

И снова следуют странные слова, придавленные, согнутые, искривленные.—«Не мой это путь»,—думает про себя Реубени, но только одно он ясно видит: «Не надо бояться. Эта книга, по крайней мере, сплотит мой народ и сохранит его, пока не придет другой, который будет сильнее меня».

— Есть у тебя еще какая-нибудь весть ко мне, Алькобез?

— Ничего, кроме этой книги.

— Достаточно, более чем достаточно. Скажи своему учителю—пускай растут его силы и пускай он закончит то, чем утешил меня перед смертью.

На душе у него становится радостно. Его яростное, напряжение, казавшееся совершенно бесплодным, все же не было напрасным. За морем, в Софеде, оно разыскало человека, который построит мост к отдаленным поколениям. И только тогда—в должное время—путь будет пройден до конца.



В Мантуе Реубени удалось снова побеседовать с Мольхо. До этого времени их держали в строгой одиночке.

Только в ночь накануне казни исполнили их желание и разрешили им свидеться.

Когда Реубени ввели в камеру Мольхо, тот лежал

на тюремной койке, прекрасный, бледный. Продолжительное путешествие в оковах обессилило юношу.

— Таким же я видел тебя однажды, когда ты лежал без сознания, и тогда я хотел умереть с тобой. Теперь мое желание исполнилось.

Огромные глаза Мольхо горят безумным огнем.

— Сгорим жертвою, принесенною всевышнему.

— Ты всегда этого желал.

— Теперь скоро, скоро!

Реубени садится возле Мольхо, целует его, словно хочет успокоить ребенка, слишком возбужденного от радости. Потом он улыбается странной улыбкой и говорит:

— Если бы ты только знал, Мольхо, какую роковую роль сыграл ты в моей жизни!

Мольхо испуганно приподнимается.

— Учитель!

— Нет, теперь все уже хорошо. Но разве я не был прав, когда вначале отшатнулся от тебя и ни за что не хотел общаться с тобою? Потом ты становился все сильнее и сильнее и в конце концов ты захватил власть над нами обоими.

Он мог шутить совсем нежно, шутливо угрожать пальцем,—так далеко позади лежала вся его горечь против друга, и завистливая переоценка тоже оставалась далеко позади. Его спокойный взор указывал теперь каждому из них надлежащее место, на котором он был незаменим; оба делали свое дело, и нельзя было заместить одного другим. И казалось, только этим спокойным взорам возможна свободная от страсти добрая любовь, с которой он кротко успокаивал пытавшегося возражать Мольхо.

— Нет—не власть,—словно в бреду твердил Мольхо. Вы властелин, я всего только слуга помазанного царя.

— Этого нельзя с такой точностью утверждать,— нежно возражал Реубени.— Если хочешь, так оставайся при этом, что ты был мой слуга, но кто господин и кто слуга, кто выше, кто ниже — это можно постигнуть только в мире вечности, тогда только становится известным подлинное взаимоотношение всего сущего. Меня часто смешило, когда я представлял себе, как изумлены были бы люди, если бы им уже здесь, на земле случайно показали их действительное место. Многих из тех, кого мы почитали, мы совсем не сумели бы найти, потому что они скромно стояли бы где-нибудь внизу. То, что представлялось нам славой, оказалось бы позором, то, что для нас было грехом, оказалось бы необходимым и правдивым. Это все лишь слова. Подлинное значение станет ясным только в будущем мире. И наверху мы, быть может, встретим совсем незаметных людей, т.-е. тех, которые казались нам незаметными, но которые имеют право на это место благодаря какому-нибудь деянию, известному только богу.

— Вот, быть может, тот мальчик,— взволнованным тоном перебил его Мольхо,— взволнованным тоном перебил его Мольхо,— который сегодня через начальника тюрьмы прислал мне свою вышитую золотом шапочку для того, чтобы она завтра была сожжена вместе со мною. А может быть, поэт Алькобез, который в течение месяца не жалел сил для того, чтобы показать мне книгу, принести утешение раньше чем я умру.

И Реубени рассказывает внимательно слушающему Мольхо, как подвигается труд Каро в обетованной земле.

— Или сам Каро? — возбужденно восклицает Мольхо.— А где же очутится император?

Эта игра дала пищу фантазии Мольхо. Реубени был рад, что он выдумал ее, но в то же время он испытывал

волнение, когда он, отвлекаясь от придуманного им образа, обозревал все загадочное разнообразие человеческих стремлений, частицей которых он был и сам. Где-то в глубине сознания он почувствовал уверенность, что это разнообразие действует в направлении неизвестной цели, но что оно не пропадет даром...

Утомленный всем этим, Мольхо, среди разговора заснул на час, как маленький ребенок. Реубени бодрствовал у его ложа. Он усыпил его словно сказкой и песнями.

Потом застучали барабаны.

Празднество «публичного и всеобщего ауто да-фе»—Auto publico generale—начиналось с того, что в зале заседаний инквизиции еще до рассвета читалась месса. Затем выстраивалась процессия, окруженная сильным военным эскортом. Улицы были переполнены, и путь ограждался барьерами. На площадях, через которые проходила процессия, были устроены возвышения. Все окна в домах прилегающих улиц за много дней раньше были распроданы по высоким ценам. На площади, предназначенной для оглашения приговора, была воздвигнута главная трибуна с ложей для императора, для герцога Мантуи и для инквизиторов.

Процессия медленно приближалась к площади. Впереди шли солдаты, затем несли крест городской церкви, который был закутан. С ним шел церковный мальчик, звеневший колокольчиками. Затем шествовали покаявшиеся грешники, каждый в сопровождении двух дворян, добровольно взявших на себя эту почетную роль, и двух монахов. На осужденных была надета «корроца»—высокая, закругленная сверху шапочка и желтый, доходящий до колен «санбенито», на который был наброшен длинный кусок полотна с указанием имени, сословия и преступления осужденного.

Корроца и санбенито приговоренных к сожжению на костре были помечены огненными язычками.

В руках у них были зеленые кресты. Монахи во время шествия убеждали их, стараясь заставить покаяться, при чем обещали в виде милости, что они будут задушены у столба на костре, прежде чем их охватит огонь.

В черных гробах везли кости еретиков, которые были изобличены только после смерти. Эти кости тоже подлежали сожжению на костре, равно как и куклы в половину человеческого роста, которых несли на шестах в позорных митрах, как живых грешников; это были изображения еретиков, спасшихся от инквизиции бегством. Процессию замыкали инквизитор и судейские чиновники, фамилиары, на лошадях, с знаменем суда.

На площади дворянство и духовенство разместилось в определенном порядке на специально устроенных скамьях. Несколько часов длилась проповедь. Потом император принес присягу и снова, пользуясь торжественным случаем, обещал хранить веру, ловить и наказывать еретиков, как того требуют святые каноны.

Наконец, началось чтение приговора, по-очереди с двух кафедр. Миловали покаявшихся, уводили приговоренных к тюремному заключению, и, наконец, происходила «передача» светским властям вернувшихся в ересь и тех, кто отказался покаяться, при чем светскому судье давалось напутствие действовать «снисходительно и милостиво».

Формальность эта проделывалась в силу заведенного обычая, ибо, по церковным правилам, клирик не должен был произносить смертного приговора или принимать в нем участие под страхом «иррегулярности». Но эти ласково звучащие слова, в сущности, были приказом светским властям немедленно предать еретиков

сожжению на костре, при чем в случае неисполнения светские власти сами подлежали церковному наказанию за поощрение еретиков и за противодействие инквизиции.

Передаанные светским властям по окончании аутода-фе отводились за город, где были разложены костры.

Мольхо был связан: опасались, как бы он вновь, как это уже было однажды в Риме, не произнес какого-нибудь заклинания и не учинил бы побега.

Когда он был уже привязан к столбу, у него вынули изо рта тряпку и спросили, не хочет ли он покаяться и отречься от своих убеждений.

Сохранились его последние слова:

— Я раскаиваюсь только в том, что в юности моей я исповедывал эту религию. Душа моя возвращается в дом отца, где ей приятнее, чем здесь.

Тогда затрещали в огне пучки хвороста, сложенные на костре.

Летописец, Иосиф Гакоген, пишет: «Бог принял к себе его чистую душу и берег ее, как оберегают играющего ребенка». Далее он сообщает, что все были уверены, что огонь не будет иметь власти над Мольхо и что он спасется и на этот раз. И какой-то еврей в Риме публично, под присягой, заявил, что восемь дней спустя после этой казни Соломон Мольхо пришел к нему в дом живым, а потом ушел дальше и исчез. Летописец отмечает также слухи, что Мольхо каждую субботу посещает свою невесту, которую он оставил в Галилее. И он заканчивает этот отдел своего исторического труда словами: «Один бог знает это. Пусть же бог поможет мне написать, правда ли это или неправда».

Такова судьба Мольхо.

Сара Реубени ожидало последнее жестокое разоча-

рование. Ему была суждена не мученическая смерть вместе с Мольхо, а нечто худшее. Совершенно неожиданно он был выделен из массового приговора, произнесенного в Мантуе. В последний момент возникли сомнения, так как все же в точности не было известно: может быть, он действительно князь иудейский, принадлежащий к суверенному царствующему дому. Император увез своего пленника с собой в Испанию и там бросил его в инквизиционную тюрьму, где он, быть может, вскоре или же несколько лет спустя умер.

О тюрьме этой рассказывают вещи, которых нельзя передать. В ужасе опускает перед ними свой взор повествователь.

Путевые заметки Реубени дошли до нас в виде манускрипта на древне-еврейском языке и за последнее время перепечатывались несколько раз.

Трудами исследователей многое уже выяснено в этих заметках, но кое-что остается и по сей день окутанным тайной. Молитвенная мантия Мольхо и его знамя со стихами из псалмов были доставлены из Регенсбурга в Прагу и здесь, в синагоге Пинкаса, автор этой книги видел их собственными глазами. Рассказы, связанные с этими священными реликвиями, уже давно возбудили в нем желание рассказать о жизни обоих друзей. Это он и сделал теперь, при чем многое заимствовал из старых хроник и из описаний сведущих историков, многое же добавил от себя, повинувшись внушению духовного и кровного родства.

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис: **ЭКСОДУС**
3. Др. А. И. Кауфман: **ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ**
4. Сарра Нешамит: **ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ**
5. Арие (Лева) Элиав: **НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ**
6. Др. Е. Хисин: **ДНЕВНИК БИЛУИЦА**